

Тадеуш
ДОЛЕНГА-МОСТОВИЧ

Братья Далч и К^о

Роман
Том первый

Глава 1

Уже с утра что-то недоброе витало в воздухе. Швейцар Моленда, который помнил ещё времена самого покойного Франца, который большинство этих рабочих знал с детства, исподлобья наблюдал, как всё более густыми группами они просачивались на вахту, как кивали ему головой, прикасаясь рукой к козырьку кепки, как ежедневным безошибочным движением поворачивали рукоятки табельных часов и под звуки коротких звонков выбивали свой номер.

Кажется, всё как обычно, и всё же не так. Старый Моленда слишком сросся с жизнью звода, чтобы не почувствовать какого-то странного настроения, таящегося в чём-то неуловимом, и угрожающего сюрпризами. Как последнее колесо в администрации Заводов братьев Далч и Компании, Моленда сознавал важность и ответственность своих обязанностей. Он, несомненно, пошёл бы прямо к генеральному директору, если бы мог объяснить, на чём основываются его опасения.

Однако подтверждение не заставило себя ждать.

В полдень, ещё до того как стрелка остановилась на двенадцати, начали перекликаться заводские гудки. Первым отозвался «Лилпопа» (там всегда спешат), затем «Урсуса», следом «Воля», потом «Рудзкого», «Герлаха», Газового завода, наконец зазвучал хрипловатый баритон «Далчей». В то время когда Васек, помощник Моленды, отворял двери, сам он выглянул на улицу. Как обычно, вдоль заводской стены по противоположной стороне под оградой и дальше, возле железнодорожного переезда, расположились кучки женщин и детей с горшочками и узелками — обед для своих. Тотчас в коридоре, соединяющем двор с вахтой, раздался топот сотен ног. Одновременно зазвонились табельные часы... Всё как обычно. Сегодня, однако, что-то должно было случиться. Моленда подбежал к окну: на дворе перед кабинетами администрации множилась толпа. Спокойная, неподвижная, казалось даже — весёлая, ибо раз за разом в ней раздавались смех и фривольные выкрики.

И вдруг пошла кутерьма у самого края, возле дверей отдела кадров. Над головами затрепетала чёрная громадина большого угольного мешка. Ропот перешёл в гул, в мощный рёв, в оглушительный крик. Тол-

па большой колышущейся волной ринулась к воротам. Из окон вахты хорошо было видно, как она клубилась и перекатывалась вокруг толкаемой в середине тачки, на которой смешно и бесформенно метался чёрный куль.

— Долой Лебеда! — долетали из общего воя отдельные выкрики. — За ворота!... Не бить его!... Лебедь мой!... По толстой морде его!... Пусть идёт петить!.. Кати сукина сына!... Хоть бы пнули его!... Не бить!... Не бить его!...

Смех, крики и припевка «Лебедь мой» смешивались с топотом сотен тяжёлых сапог по мостовой. В этом шуме старый Моленда не слышал топота в коридоре, а когда бросился к шкафу, чтобы защитить ключи, было уже поздно. Несколько рабочих и несколько десятков работниц окружили его плотной толпой, а другие тем временем выломали дверцы у шкафа и украли ключи. Вскоре вахта опустела. Зато протяжный визг открываемых ворот свидетельствовал, что ключи захвачены.

Толпа расступилась. Те, что толкали тачку, разогнались и тачка с яростью выехала на улицу, подскакивая на булыжной мостовой. В какой-то миг она накренилась и выбросила своё содержимое в сточную канаву, полную мутной и разноцветно-маслянистой воды. Радостный, триумфальный вой наполнил воздух. Тачка вернулась и ворота закрылись с глухим шумом, а люди двинулись во двор. Вскоре, как ни в чём не бывало, они переполнили вахту, вызванивая на табельных часах выход.

Тем временем Моленда выбежал, чтобы спасти вывезенного в мешке. Он знал его. «Лебедем» с самого начала называли не только здесь, но и во всей Воле пана Здислава Далча, директора по кадрам. Моленда тоже не испытывал к нему ни малейших симпатий, но руководствовался обязанностью выручить члена правления из ужасающей ситуации. Это было не легко. Куль с мечущимся внутри директором окружили женщины, среди писка, брани и насмешек осыпая его комьями грязи и небольшими камнями. Верх мешка был плотно затянут проволокой, и Моленда порядочно помучался, прежде чем сумел освободить пана директора. В мокром и невероятно испачканном одеянии его округлая фигура, над которой сопело красное, измазанное сажей лицо и громоздилась растрёпанная шевелюра, производили такое смешное впечатление, что даже старый швейцар не мог сохранить надлежащей серьёзности. Пострадавший начал кричать, топтать ногами и грозить кулаками рабочим, которые миновали его сейчас, вполголоса бросая чувствительные шутки.

Никогда они его не боялись, а сейчас знали, что избавились от него раз и навсегда. Однажды вывезенный на тачке, никогда не осмелиться вернуться на завод. Так было всегда, и казалось им, что иначе быть не может.

Когда вывозили молодого пана Далча, в здании заводоуправления никто ни о чём не знал. Здание стояло в стороне, а его окна выходили на улицу Угольную. Впрочем, вместе с первыми звуками гудка служащие

встали из-за столов. Громкие разговоры и стук отодвигаемых стульев заглушили отголоски происшествия. Если же в кабинете генерального директора, несмотря на господствующую там тишину, не расслышали отдалённого шума, то это потому, что здесь проходило необычайно важное совещание, определяющее, возможно, само существование завода. Работавший в соседней комнате секретарь Холдер догадывался об этом и, оценив важность ситуации, не захотел беспокоить владельца известием о том, что перед кабинетами администрации собираются рабочие. Только когда из управления движения его известили по телефону о нападении на молодого Далча и о приготовленной тачке, после минутного колебания он отважился войти в кабинет и произнести:

— Извините, пан директор, что прерываю, но есть очень важное дело.

— Ну, что там, пан Холдер? — улыбнулся генеральный директор непринуждённо, хотя из-под седых кустистых бровей проглядывало беспокойство.

Секретарь догадался и тоже улыбнулся. У этих финансистов даже мысли такой не должно возникнуть, что на Заводах братьев Далч могло случиться что-то неожиданное и настолько опасное, что потребовалось беспокоить самого шефа.

— Разумеется пустяк, пан директор, — произнёс он, — Инженер Каминьский ждёт инструкций, а его поезд отправляется через тридцать минут. Поэтому я осмелился...

— Ах Каминьский, сколько же сейчас?.. Уже первый час? — удивился генеральный директор и, повернувшись к двум господам, сидевшим перед письменным столом, учтиво добавил, — С вами так приятно беседовать, что я забыл о времени. Вы позволите, если я на время оставлю вас одних?

— Пожалуйста, пан директор, — поспешили оба.

Они уселись только тогда, когда за Далчем закрылись двери. Они отлично знали, что он в них заинтересован, не наоборот, однако личность Вильгельма Далча попросту предписывала уважение. Этот превосходный старик, почти восьмидесятилетний и всё ещё такой бодрый и подвижный, не только своей безупречной репутацией, не только широкими связями и влиянием, но и повсеместно ценимым умом импонировал людям, с которыми сталкивался. Сама его высокая, немного сутулая фигура, сухое породистое лицо с высоким ясным лбом, спокойным взглядом и парой седых как молоко типично шляхетских добродушных усов требовала почтения, доброжелательности и доверия. Поэтому неожиданный перерыв в конференции вовсе не обеспокоил обоих финансистов, в целом решившихся на пролонгацию кредитов, о которых так старался Далч.

Тем временем сам он стоял в секретариате с наушником телефона в руке и слушал доклад. Всё уже закончилось. Секретарь Холдер не мог прочитать на лице шефа ничего, что указывало бы на то, как он намерен поступить. Он промолвил короткое «благодарю» и, положив трубку, произнёс с обычной любезностью:

— Извольте, пан Холдер, проводить моего сына сюда, в секретариат. Тотчас.

— Хорошо, пан директор.

— На два часа пригласите ко мне фабричных делегатов.

— Слушаюсь, пан директор.

Вильгельм Далч вернулся к ожидавшим его господам и с присущей ему непосредственностью возобновил разговор. Для него было действительно очень важным незамедлительное финансирование дела. В особенности для него. В случае затягивания переговоров он снова был бы вынужден обратиться к брату за новыми вкладами, а это было бы равносильно исключению собственной родни из числа пайщиков. После этого Карл, не терпевший братьев, очевидно тотчас же удалил бы с фабрики Здислава... Особенно после сегодняшней компрометации.

На счастье дело было в основном улажено. Речь шла только об ускорении сроков и упорядочении бухгалтерии перед приездом из Бельгии Кшиштофа, которого нужно будет вводить в правление предприятия. Какой должности, какого положения Карл потребует для своего сына — Вильгельм Далч ещё не знал. Зная здравый рассудок брата, он не допускал, что тот пожелает сразу доверить Кшиштофу какое-нибудь руководство. Окончание политехнического института и два года практики на заграничных предприятиях — этого ещё мало. В любом случае Карл с помощью сына приобретёт выгоду в контроле за экономикой предприятия. Разумеется, Вильгельм Далч ничего не имел против такого контроля. Если он чего и опасался, то только вероятных конфликтов Здислава и Яхимовского с Кшиштофом, которого он совсем не знал и который, несомненно, будет отцом недоброжелательно к ним настроен. Из случайных сообщений, которые Вильгельм Далч имел о своем племяннике, следовало, что это спокойный и холодный молодой человек, но в то же время неплохой специалист в деле строительства машин. Сам он не знал его совершенно. Отношения, сложившиеся между домами обоих братьев, благодаря истерикам Жозефины, сделали то, что за пределами предприятия всякие контакты исчезли ещё до появлением на свет Кшиштофа. Вильгельм Далч видел его несколько раз, к тому же мимоходом, во время визитов к брату, когда тот оказался парализованным и не покидал дома. В памяти дядюшки племянник запечатлелся чернявым смуглым мальчиком достаточно хилого телосложения и с большими глазами. Это всё.

Размышления директора Далча прервал вошедший секретарь.

— Сын пана директора ожидает, — произнёс он. — Можно пригласить?

— Пусть войдёт.

Через минуту на пороге показался Здислав. На испачканную одежду он набросил чьё-то длинное, узкое ему пальто и выглядел почти отталкивающе.

— Садись, — коротко сказал ему отец.

— Это страшно! Это большевизм! Я тотчас же уведомя полицию! — разразился Здислав.

— Замолчи, — поднял на него суровый взгляд отец. — Не для того я вызвал тебя, чтобы выслушивать твои нелепые угрозы. Прошу мне коротко и чётко ответить, что было причиной происшествия?

— А чёрт их знает, это быдло! В самом деле, нервов не хватает на это хамство...

— Здислав, или ты немедленно успокоишься, или выйдешь.

— Ну, началось с бригадира Доминика. Я его уволил. Болван позволял себе наглые ругательства в мой адрес и ещё других подзуживал. Сколько прохожу через инструментальный, всякий раз какой-нибудь...

— Подожди, — прервал пан Вильгельм, — а зачем, собственно, ты ходишь в мастерские, с какой целью?

— А что, может, мне нельзя по собственному заводу ходить? Извините, отец, но, кажется, я имею право!

— Ты имеешь обязанность обрести достаточно разума, чтобы не провоцировать своей персоной инцидентов, которые вредят производству. Ты знаешь, что не пользуешься среди рабочих популярностью...

— К чёрту всю эту популярность! Плевал я на это быдло! Вам этого не понять, потому что в вас нет крови великих панов, которые нагайками учили чернь повиновению. А во мне есть кровь Корневицких!..

— Дурак, — произнёс отчётливо Вильгельм Далч.

Здислав открыл рот, но, посмотрев в глаза отцу, промолчал.

— Я следовало бы убрать тебя с завода. Однако я попробую тебя оставить. Инженер Турский займёт твою должность, а ты примешь заведывание складами.

— Шутите, отец? Из-за того, что не соизволил понравиться этим хамам, я должен перейти на низшую должность?

— Если предпочитаешь остаться, — спокойно произнёс пан Далч, — остаться и получить шарик в лоб... Должно быть, ты знаешь, как расправляются с теми, кого однажды уже вывозили на тачке?.. Итак, я сказал, что попытаюсь перевести тебя на склады. Разумеется, это зависит от согласия делегатов. Я не намерен терпеть новых авантюр. Что касается руководства складами, оно и без того для тебя слишком трудно. Увы, ты ничего не умеешь и ни к одной работе не пригоден...

— Я являюсь совладельцем предприятия и, кажется, имею в нём некоторые права?

— Это тебе только кажется? — усмехнулся Вильгельм Далч. — Так знай, что на днях приезжает Кшиштоф. И может так случиться, что собственность твоя и Галины, и... моя окажется слишком мала, чтобы дать нам какие-либо права... Ступай. Прикажи отвезти тебя домой на моём автомобиле и отошли экипаж обратно. Вечером будь дома. Я объявлю тебе окончательное решение об оставлении тебя на заводе.

— Отец, о нашей ситуации вы говорили всерьёз?

Вильгельм Далч молчал.

— Хорошо же нас отец обогатил! — разразился Здислав.

— Выходи, — в полголоса ответил отец.

Когда двери за Здиславом захлопнулись, он поднял руки к вискам и какое-то время стоял так без движения... Нажал кнопку звонка. На пороге показался секретарь.

— Делегаты уже здесь?

— Да, пан директор.

— Пусть войдут.

Вошли трое рабочих. Пан Далч знал их хорошо. Их выбирали уже три года. Стало быть, они пользовались не только популярностью среди рабочих, но и признанием дирекции за свой такт и умение улаживать конфликты, в которых, как и на любом предприятии, не было недостатка.

— Добрый день, панове, — приветствовал их директор, подавая по очереди руку. — Пожалуйста, садитесь.

Молча кончиками пальцев они пожимали ладонь начальника и усаживались в стоявшие перед письменным столом кресла. Не чересчур свободно, но и не на краешек. Словом, привычно. Ближе всех сел самый большой из них, токарь Мадейчик, узловатый мужичок с косоватыми глазами и изъеденным оспой лицом. Как делегат он первым и обмолвился:

— Мы, конечно, как бы догадываемся, пан директор, по какому поводу вы нас вызвали. Что ж... мы не виноваты.

— Разумеется, — подхватил сидевший за ним щуплый блондин, слесарь из модельной мастерской. — Они сами сговорились. Мы ни о чём не знали.

— Вы нанесли мне большую обиду, — покачал головой директор Далч. — Не ожидал, что заслужил от работников такого поступка.

— Что вы говорите, пан Далч, — произнёс третий делегат, литейщик Чепель, пожимая плечами. — Вас никто бы и пальцем не тронул.

— Однако, пан Чепель, тронули моего сына. А куда бы проще: коль скоро признали, что мой сын несправедливо уволил Доминика, надо было прийти ко мне и сказать, вместо того, чтобы доводить до такого скандала. Не ожидал я, что на старости лет дождусь от вас таких выражений признательности.

— Пан директор, тут не в Доминике дело, — прервал Мадейчик успокаивающим тоном. — Доминика, известно, он уволил несправедливо, но буквально всех ваш сын до живого доел. За пять минут опоздания приказал списывать полчаса, в больничную кассу справок не давал, а с человеком — ну как с собакой разговаривал. Стоит ли удивляться, что нервы не выдержали?..

Мы сами не раз хотели к вам идти, но на родного сына как-то так.., хотя, если правду сказать и не погрешить, вы тоже от него, извините, не сильно защитите можете. Поначалу ещё ничего, но позднее как начал к каждому цепляться, как начал каждого потчевать, как начал выражаться, это людям не понравилось. А узнали, что, значит, ваш сын, извините, в оперном театре пел, за лебедя что ли был, или как там...

— За лебедя, а как же, — убеждённо подтвердил блондин и все трое тихонько захихикали.

— Да и пусть бы, — продолжал Мадейчик, — хотя и не годится, чтобы директор по кадрам и... такие дела, а поскольку его не любили, то, бывало, и крикнет кто-нибудь, когда ваш сын по цеху идёт: — Тю, Лебедь идёт! Ну-ка, кыш, в Лазинку¹! Пустите лебедя в воду! Кукареку! И прочие такие слова. Люди как люди, пошутить любят. Был бы он поумней, пропускать бы мимо ушей, а он цеплялся и если кого приметит, тому уже не уйти от мести. Так и с Домиником было. Разве можно: парень женатый, трое детей, и мастер (пан директор знает) первоклассный, да за то, что случилось за воротами... Разве он виноват, что пану директору по кадрам нравилось лебедя представлять?

Вильгельм Далч заговорил. Спокойно, чётко, убедительно. Он полагал, что происшествия такого рода недопустимы, что им, не смотря ни на что, невозможно найти оправдания, что он не может поддаваться такому нажиму, однако ввиду того, что произошло и в убеждении, что это не повторится, он переведёт своего сына на должность управляющего складами.

Делегаты переглянулись. Блондин пожал плечами. Чепель откашлялся, а Мадейчик сказал:

— Если пан директор хочет рисковать...

— Я хочу получить от вас гарантию, что порядок не будет нарушен. Теперь мой сын не будет иметь никаких контактов с рабочими и думаю, что... ко мне, панове, тоже могли бы иметь какое-то расположение.

Чепель наклонился к Мадейчику и пробормотал:

— Да пусть...

— Пан директор, — заговорил рябой, — с вами мы бы нашли согласие, но как нам товарищам сказать?.. Вот, скажем, если бы так: вы принимаете обратно Доминика, тогда и согласие будет.

Однако пан Далч из соображений престижа не мог на это пойти. После кратких переговоров всё же дошли до уговора: — Здислав получает гарантированную безопасность, Доминик же на три месяца получит работу у «Лилопа», а потом будет принят обратно.

После выхода делегации вскоре явился вызванный по телефону инженер Турский, влетел в кабинет зять директора Далча доктор Яхимовский, коммерческий директор заводов.

— Отец, подпишите, — застрекотал он своим трескучим голосом, подсовывая розовый бланк кассовой квитанции. — Я должен тотчас ехать в министерство и сунуть эти восемь тысяч в лапу Пучковскому. Иначе пропадём на аукционе. Вот уж показал себя наш любимый Здзих? А?.. Однако, это большевизм. Мне говорили, что главным заводилой был тот любимый вами Чепель. Следовало бы в полиции поговорить потихоньку, чтобы его упрятали... Куда вы смотрите! Ради Бога, опоздаю и чехи нас опередят. Пучковский порядочный человек, если раньше от них на лапу возьмёт, то со мной и говорить не захочет. Подписывайте быстрее, отец!

¹ Лазинка — дословно название реки или водоёма переводится как Купальня. — Прим. пер.

Пан Далч прикусил седые усы и в раздумье присматривался к квадратику розовой бумаги, нервно дрожавшему в наманикюренных пальцах зятя. Он медленно поднял взгляд на его худое землистое лицо и произнёс:

— Не подпишу.

— О Иезус, — замельтешил руками Яхимовский, — о чём вы думаете, что я положу деньги в собственный карман? Проверьте сами. С глазу на глаз Пучковский скрывать не станет. И говорит, что в противном случае весь заказ к черту пойдёт. Если вы находите, что в нашей ситуации нам по карману пожертвовать заказом на полтора миллиона, то мне интересно, что скажет на это пан Карл. Вы всё живёте прошлым столетием, но, чёрт, почему мы все должны от этого страдать? Позвоните в отдел продаж. Они раздобыли цены чехов. Почти на четырнадцать процентов ниже наших! Понимаете, отец?.. А впрочем, что ж мне, воевать с вами? Подпишете или нет?..

Старик ссутулился и тихо произнёс:

— Дай.

Неспешно, мешкая перед каждой буквой, подписал и без слов пододвинул квитанцию зятю.

— Вот и порядок, — улыбнулся Яхимовский, демонстрируя золотисто-чёрные зубы. — И что вы сделаете с этим идиотом Здзихом? Ага, Галина снова прислала мне какого-то олуха. Разумеется, я выставил его за дверь. К чёрту, что она себе вообразила, что я буду раздавать долги на заводе всем её ухажёрам и альфонсам? На самом деле вы могли бы немного унять свою доченьку. Здзих натолкал нам каких-то вышедших в тираж балерин, Галина — своих альфонсов, мало нам любимой родни, так мы ещё должны стать пенсионным приютом... Истинный дом сумасшедших... Что же ещё? — он почесал лысину. — Ага! Бюро расчётов нужно гнать взашей. Они нас зарежут ценами на рабочую силу! Считают например семнадцать часов на зажим «F» для тех больших фрезерных станков. Специально справлялся. Чёрт знает что. А на немецких фабриках, где рабочая сила на сто сорок процентов дороже, получается цена вполовину меньше. Просто инженер Каминьский уже стар и не умеет калькулировать. На ближайшем правлении я поставлю вопрос о его увольнении.

— Каминьский работает у нас тридцать пять лет, — словно самому себе сказал Вильгельм Далч.

— И этого достаточно, — иронично подытожил Яхимовский. — Ну, до встречи.

Разговор с Турским занял полчаса. Затем пришёл главный бухгалтер подписывать гарантийные векселя, Холдер с корреспонденцией, шеф бюро закупок, мастер с термического с просьбой о ссуде на свадьбу сына, заведующий военных автомастерских с претензиями по поводу постоянных поломок поставленных станков. Ганзер, представитель Далчев в Гданьске, юрисконсульт по поводу процесса с заводом Норди

о несоблюдении контракта... Как изо дня в день — сотни громоздящихся, самым запутанным и неожиданным образом взаимосвязанных вопросов, интересов, проблем.

Несмотря на свои семьдесят восемь лет, директор Вильгельм Далч не чувствовал физической усталости. Он сохранял невозмутимость и твёрдость в этой всё более быстро и все более зигзагообразно вьющейся массе событий. По крайней мере, никто из тех, кто когда-либо имел с ним дело, не сомневался в этом.

Как раз пробило четыре, и заводская сирена протяжным воем ознаменовала конец рабочего дня, вошёл швейцар, чтобы подать директору пальто, тут зазвонил телефон, предназначенный исключительно для личных нужд. Его номер был известен только нескольким лицам и, поскольку директор Далч знал, что пани Жозефина в это время ещё спит, он, ещё до того как поднёс к уху трубку и услышал голос Блумкевича, уже догадался, что звонят от Карла.

— Добрый день, пан Блумкевич, — произнёс он любезно. — Как чувствует себя мой брат?

— Нижайшее вам почтение, пан директор. Собственно, он поручил мне позвонить и спросить, не будет ли пан директор любезен зайти к нему либо после обеда, либо сейчас?

— Стало быть, приехал, — вырвалось у директора Далча.

— Да, пан директор, сегодня утром вместе с пани председательшей. Пан председатель безмерно доволен возвращением сына.

— Передайте моему брату, что я тотчас буду.

Он положил трубку, проворчал под нос что-то, чего швейцар не расслышал, и встал. Старый швейцар пододвинул ему калоши, и, помогая накинуть пальто, спросил:

— А это, должно быть, пан Кшиштоф приехал?

— Да, Юзеф, приехал. Будь здоров и скажи шофёру, чтобы заехал за мной на Швирскую улицу.

Заводской двор уже опустел. Вильгельм Далч шёл своим спокойным широким шагом по чёрной от угля, утрамбованной, тут и там сверкающей лужами земле вдоль огромного цеха столярных верстаков, вплоть до высокого штакетника, отделяющего территорию завода от старого сада, в котором стоял особняк, построенный ещё его отцом. Он знал тут каждое дерево и каждый куст. Он и сам тут жил, до того как женился на Жозефине. Узкая дорожка была густо покрыта мокрыми от недавнего дождя жёлтыми и красными листьями. Уже совершенно голые ветви деревьев торчали неподвижно под серым нахмуренным небом. Разбуженный его шагами, забрежал огромный цепной пёс, но сразу успокоился и замахал хвостом. Вильгельм Далч не был здесь частым гостем, но всё же дворняга знала его достаточно хорошо, чтобы без опаски позволить ему ступить на веранду.

Навстречу выбежал невысокий, подвижный Блумкевич и, униженно склоняя огромную доминиканскую лысину, проводил гостя через

небольшую, тёмную и тесную прихожую в огромный бидермайеровский¹ салон с мебелью, драпированной белыми тканями. Тут только он помог пану Вильгельму снять пальто.

— Пан председатель ждёт.

В соседней комнате, служившей одновременно кабинетом и спальней, шторы были опущены. Перед высокой кроватью красного дерева горела небольшая лампа, бросающая круг желтоватого света на подушку и седую бородатую голову с чёрными глазами.

— Как чувствуешь себя, Карл?

— Благодарю тебя, Вили, — больной протянул брату левую руку, — сегодня лучше. Пожалуйста, сядь. Пан Блумкевич, пододвиньте кресло... Спасибо и... вы можете идти. Когда понадобится, я позвоню.

Они остались одни. Карл хотел немного подняться на подушках, но ему не хватило сил и Вильгельм должен был поддерживать парализованное плечо, чтобы помочь ему.

— Спасибо тебе, — простонал больной. — Сегодня приехал Кшиштоф.

— Я догадался об этом. Хочешь созвать заседание правления?

— Нет, пока что в правлении меня по-прежнему будет замещать Блумкевич. Кшиш пока не хочет вообще входить в дела. Очевидно, через какое-то время он станет председателем, а я подам в отставку.

— Не кажется ли тебе, Карл, что он ещё слишком молод? Всего лишь двадцать семь лет. Мог бы ещё год, два...

— Нет, — решительно возразил Карл Далч, — Я просто не чувствую себя вправе и дальше распоряжаться его имуществом. Никогда не говорил тебе, Вили, об этом, но ты и сам знаешь, что все деньги, которые я вкладываю в завод, составляют личную собственность Кшиштофа. Наследство от его приёмного отца, покойного Вызбоша.

Вильгельм не знал об этом. Он полагал, что брат, ведя такой экономный и обособлённый образ жизни, сам располагал значительными средствами и черпал из них, выкупая доли племянников. О том, что старый скупец Вызбор, дядюшка супруги Карла, умирая, когда она ждала ребёнка, оставил усыновление и завещание в пользу её ребёнка в том случае, если родится мальчик — это было общеизвестно. Однако приученный к скрупулёзности брата, Вильгельм не допускал, чтобы тот тратил капиталы сына, поскольку Кшиштоф сам войдёт в активную жизнь и сам решит о размещении.

— Ну, — бросил он легко, — если ты чувствуешь его готовым распоряжаться...

Младший брат смерил его выразительным взглядом:

— Это был единственный способ обеспечить Кшиштофу мою часть предприятия.

Вильгельм не отвечал, и Карл закончил почти шёпотом:

— Иначе всё было бы погублено твоими детьми и разными чужаками вроде Яхимовского... или другими протеже твоей пани Ядвиги...

¹ Бидермайеровский — Здесь: стиль, отвечавший тенденциям первой половины XIX века. — Прим. пер.

барскими дармоедами, лодырями, крестинами, всеми этими паразитами, которые обступили твой дом, и которых я бы вытурил, как...

Он закашлялся, пергаментное лицо покрылось лёгким румянцем, в глазах засверкали слёзы.

— Успокойся, Карл, — холодно произнёс Вильгельм, — несправедливые упреки не становятся справедливыми от того, что произносятся с ненавистью.

— Да?... Несправедливые?... Побойся Бога, не убеждай меня в том, что сам себя сумеешь оклеветать! Не притворяйся передо мной! Даже Блумкевич видит, что ты только мучаешься!

— Оставь в покое своих призраков, Карл. Ты хотел говорить со мной о Кшиштофе.

Больной минуту сопел и кусал губы. Наконец овладел собой и начал говорить:

— Да. Кшиш закончил производство машин, закончил с золотой медалью. От заводов, в которых он проходил практику, имеет самые лучшие характеристики. Он способный, даже очень способный. Поэтому я считаю, что он будет полезен. Сам, впрочем, в этом убедишься. Я думал над тем, какую должность ему доверить, и решил что, согласно его собственному желанию, он станет техническим директором.

— А как поступим с инженером Вайдлем?

— Как? Пока что он останется в должности главного инженера. Это ему никакого ущерба не принесёт. Техническая дирекция кроме его участка охватывает ряд иных, но об этих подробностях ты договоришься уже с самим Кшиштофом. Не сомневаюсь, что ты сделаешь всё, чтобы облегчить ему работу...

— Можешь быть в этом уверен.

— Благодарю тебя, никогда ни на минуту не ставил под сомнение двух черт твоего характера: порядочности и благородства. Поэтому у меня к тебе ещё просьба. Не хотел бы тебя обидеть, но был бы благодарен тебе за возможность как можно меньших контактов Кшиштофа с Яхимовским, Здиславом и всем твоим семейством.

— Как хочешь...

— Не обижайся. Кшиш немного нелюдим. С людьми и с жизнью вообще сталкивался мало. Ты знаешь, что он был воспитан матерью, а Терения всегда избегала людей.

— Однако, если ты хочешь, чтобы он стал техническим директором, он должен будет постоянно иметь дело со всеми подчинёнными.

— Потому и прошу, чтобы ты помог ему, познакомил с условиями, с окружением, ну и особенно ввёл в дело.

— Можешь на меня рассчитывать.

— Именно. Я знаю, что и у тебя сердце болит о судьбе завода, хотя бы в память о нашем отце, который верил, что ещё его правнуки и правнучки удержаться в этом предприятии... Ну, а кто же после нас возглавит? После тебя и меня?... Здислав?... Разве ты сам не сомневаешься? Поэтому только Кшиш. И мы обязаны приготовить его к этому, если не хотим, чтобы завод попал в чужие руки. Правда, остаётся ещё твой

старший сын, но он человек совершенно свихнувшийся... Жаль, когда он был ещё маленьким мальчиком, я надеялся, что из него вырастет приличный парень. Что на него обопрётся со временем вся фирма... Вместо этого счастливая ручка твоей жены так его направила, что он даже гимназии не закончил, вырастила из него бездельника и гуляку...

— Оставь, — печально покачал головой Вильгельм Далч, — не будем о Павле. Я вычеркнул его из своей памяти и каких-либо расчётов. Ты совершенно прав. Остаётся только Кшиштоф. Дай Бог, чтобы...

Он не закончил, когда постучали в дверь и, не дожидаясь разрешения, открыли её, на пороге показалась невысокая, худая щуплая старушка в белом фартуке.

— О, добрый день, пан Вильгельм.

— Добрый день, Терения, — он с галантностью вскочил и поцеловал ей руку, — ты выглядишь молодо и бодро.

— Шутишь, пан Вильгельм. Однако, я помешала вам? Хотела напомнить Карлу, чтобы он принял порошок. Всегда забывает.

Старушка налила в кружечку воды и подала мужу лекарство.

— Будь так добра, — сказал больной, возвращая кружку, — скажи Кшишу, что он может прийти поприветствовать дядюшку Вильгельма.

— Хорошо, золотце.

Они ждали в молчании.

Прошло добрых пять минут, прежде чем они услышали быстрые, твёрдые шаги, и в комнату вошёл Кшиштоф. Пан Вильгельм, не поднимаясь с места, обвёл его внимательным взглядом. Перед ним стоял молодой человек среднего роста, скорее худой, с поднятой головой. Смуглое лицо гладко выбрито, небольшой прямой нос, красиво очерченные губы, большие, чёрные вдумчивые глаза и коротко стриженные, зачёсанные назад, чёрные как смоль волосы производили впечатление серьёзное и привлекательное.

— Рад приветствовать тебя, Кшиштоф, — наконец произнёс он и протянул руку.

— Следует признаться, — улыбнулся молодой человек, — как-то так сложилось, что мы не виделись с дядюшкой.

Пан Вильгельм пожал небольшую, но сильную ладонь племянника. В целом он понравился ему, только мягкий и излишне юношеский голос несколько коробил. В то же время свободное и естественное поведение создавало благоприятное впечатление. Кшиштоф пододвинул себе кресло и сел напротив дядюшки. Он выглядел младше своих лет, но уже после минуты разговора пан Вильгельм убедился, что имеет дело со зрелым и уравновешенным мужчиной.

Кшиштов рассказывал о бельгийских и немецких металлургических заводах, в которых проходил практику, о разнообразных применяемых там административных системах, о достижениях научной организации труда, о новых методах регулирования производства.

Он говорил толково, без любования знанием дела, без щеголяния эрудицией, что свидетельствовало об основательном знании предмета и о собственных зрелых суждениях в обсуждаемых вопросах.

Пан Карл Далч с нескрываемым удовольствием переводил взгляд с лица сына на лицо брата, который очевидно не скрывал своей симпатии к молодому инженеру. Уже сам способ, с которым он обращался к нему с вопросами, несмотря на то, что имел некий привкус экзамена, свидетельствовал, что пан Вильгельм относится к племяннику очень уважительно.

Снова вошла пани Тереза с предложением приготовить кофе, однако пан Вильгельм поблагодарил.

— Как мой сын, пан Вильгельм? — спросила она со скрытым беспокойством.

— Должен поблагодарить тебя, Терения. Насколько я разбираюсь в людях, из него будет настоящий Далч.

— Дядюшка ещё разочаруется, — улыбнулся Кшиштоф, демонстрируя белые и словно хищные зубы. — А почему дядюшка так странно величается с матушкой?

— Видишь ли, Кшиштоф, я знал твою мать, когда она была ещё в том возрасте, когда не только называют девушек по именам, но и носят их на руках.

— Что ты хочешь, — улыбнулась пани Тереза, — пан Вильгельм тогда был уже студентом.

Несмотря на эти воспоминания, настроение до конца было холодным. При прощании было определено, что Кшиштоф завтра утром появится у пана Вильгельма и будет сопровождён по заводу. Назначение получит тотчас, а через несколько недель и после более близкого знакомства с предприятием приступит к организации своего отдела.

Директор Вильгельм Далч поехал домой. Уже опустились сумерки, и когда автомобиль добрался до центрального района города, на влажном асфальте отражались мутные отблески освещённых магазинных витрин.

В огромной квартире на Уяздовской Аллее царили большое оживление и шум. Была пятница, день приёма у пани Жозефины. Вильгельм Далч торопливо снял пальто, промелькнул меж суетящихся слугами через гостиную и боковой коридор в свою спальню. Из соседнего кабинета долетали шумный смех и выкрики. Повернув на всякий случай ключ в замке, он снял пиджак, накинул старый, изношенный шлафрок и позвонил. После долгого ожидания вошла горничная. Он приказал ей принести обед. Однако вместо обеда явилась пани Жозефина и, поднимая руки над своей величественной фигурой, разразилась возмущением: он ей весь дом дезорганизует, он приходит на обед тогда, когда ему вздумается, вносит хаос, отрывает слуг от их обязанностей, если Галина до сих пор не вышла замуж, то всё это благодаря ему, сам пальцем не пошевелил, а она, вместо того, чтобы развлекать гостей и следить за порядком, должна идти сюда, хорошо, пусть сейчас он сам идёт, она с места не сдвинется, сегодня первый раз пришёл тот венгерский граф, и этот так называемый хозяин дома даже не спешит показаться,

бедная Галина, она до гроба не забудет преступному отцу, который вечно притворяется уставшим, лишь бы не выполнять своих священных обязанностей...

Пан Далч какое-то время смотрел на жену безразличным взглядом, после чего без слова лёг на софу и смежил веки. Пани Жозефина, хлопнув дверями, вышла из комнаты.

Глава II

В комнату машинисток вошёл секретарь Холдер с выражением лица, обещающим новость.

— Ну, пани мои, — произнёс он, потирая руки, — с одной из вас я должен расстаться.

В одну секунду умолкли «Роялы» и «Ремингтоны», а панна Климашевская, которая не далее как вчера в письме самого директора допустила две орфографические ошибки, смертельно побледнела. Однако Холдер остановился возле столика панны Яршувны и откашлялся:

— Что вы об этом думаете, панна Марихна?

— Но за что? — испугалась Яршувна. — Кажется я, пан Холдер, ни в чём не провинилась?

— Ну, не бойтесь, пани, — он улыбнулся. — С вами расстаёмся мы, то есть секретариат, а пани получает повышение и хм... перспективы!..

— Перспективы?

— Да ещё какие! Пани становится личной секретаршей директора Кшиштофа Далча. Скажите Юзефу, чтобы перенёс вашу машинку в кабинет технической дирекции.

— Почему Марихна? Это «старик» так решил? Она получит прибавку? — посыпались вопросы.

— Ну, если бы «старик». Сам пан Кшиштоф сказал: прошу мне назначить ту блондинку, которая сидит у окна, она мне безумно нравится.

— Вы шутите, — покраснела Яршувна, — Этого не может быть!

— Он действительно так сказал?

Холдер стоял, улыбаясь, и наслаждался произведённым впечатлением:

— Ну, о том, что нравится, не говорил, но коль скоро выбрал её, очевидно что-то в этом есть.

— Он мне совсем не понравился, — произнесла панна Климашевская, — такой какой-то...

— Ха-ха, на вид хорош, да зелен!

— И когда я должна к нему идти? С завтрашнего дня?

— Зачем откладывать счастье? — с шутливым пафосом отвечал Холдер. — Идите тотчас.

— Но я не могу сейчас! — вскочила Яршувна, — сами посмотрите! У меня совершенно вытертые локти и вообще это старое платье! И воло-

сы совершенно растрепались. О, мой Бог, почему вы не сказали мне об этом вчера? Я так не пойду ни за какие сокровища!

Она лихорадочно пудрила носик и отряхивала с платья пыль. Яркий румянец и разгоревшиеся от эмоций голубые глаза вместе с несколько взлохмаченной шевелюрой цвета льна производили впечатление крайнего возбуждения. Полные большие груди вздымались от частого неритмичного дыхания. Беспорядочно взмахивая гребнем, она вырывала себе целые пряди волос.

— Что ты так волнуешься, Марихна? — пожала плечами панна Вречковская и надула привядшие щёки. — Думаешь, что он на тебе сразу женится? Или может пошлёт тебя в фотографию?

— она думает, что Господа Бога за бороду поймала, — добавила вторая.

— Вообще я слышала, что он уже обручён и оставил свою наречённую за границей. Чуть ли не каждый день ей письма пишет.

— Ну, — язвительно заметила панна Климашевская, — теперь Марихна будет ему на машинке письма отстукивать.

— Говорите, говорите, — заметил секретарь, — но любая из вас до небес подскочила бы, окажись она на месте панны Марихны.

— О, только не я.

— И не я.

— И не я.

— Мне он вообще не нравится. Брюнет и такой поскрёбыш¹. У мужчины должен быть рост, плечи...

— И весь такой важный, словно палку проглотил.

— Сама вчера говорила, что таких глаз ещё не видела, — распетушилась панна Яршувна.

— Фи... ну, красивые глаза. Но он ещё сопляк. Что это за возраст для мужчины — двадцать восемь лет.

— Для тебя действительно слишком мало, — отбивалась Марихна, — досадно иметь дело с мужчиной на шесть лет моложе тебя.

— Врёшь! Мне нет тридцати шести лет!

— Тише, девушки, — прервал Холдер, — не то ещё «старик» войдёт. Ну, панна Марихна, поспешите, ибо там есть что-то важное для диктовки.

Юзеф забрал машинку, а минуту спустя Марихна, перекрестившись украдкой, вышла в коридор.

Кабинет её нового шефа размещался в конце коридора на первом этаже. На больших чёрных дверях висела табличка:

«Инж. Кшиштоф Вызбор-Далч — Технический директор».

Она постучалась и, услышав коротко, но мелодичным голосом брошенное «прошу», вошла.

Он сидел за столом, однако встал её поприветствовать и, откладывая папиросу, произнёс:

¹ Поскрёбыш — буквально — хлебец, испечённый из остатков муки; здесь — низкорослый, тщедушный, слабый мужчина. — Прим. ред.

— Ждал вас. Я Далч.

Рукопожатие было мягким, но сильным, а выражение лица скорее серьёзным и только случайно вежливым.

— Как давно вы у нас работаете? — спросил он, указывая на стул.

— Два года, пан директор.

— Стало быть, вы уже достаточно освоились с технической терминологией. Во всяком случае, каждый раз, когда я буду вам диктовать, если у вас возникнуть какие-нибудь сомнения, касающиеся правописания, пожалуйста спрашивайте.

— Хорошо, пан директор.

Он кивнул головой, что означало окончание беседы. Она встала и заняла место за машинкой, которая была установлена таким образом, что Марихна должна была сидеть, повернувшись спиной к столу. Однако на стене перед ней висел огромный остеклённый план завода и в этом стекле она видела отражение своей так скверно причёсанной головы, а далее — контуры стола и сидевшего за ним шефа. Он перелистывал какие-то бумаги, раскладывал большие листы, сортировал маленькие карточки, на которых время от времени что-то записывал. Это правда, что она предпочитала мужчин высоких, но этот был такой интересный и так ладно сложен. Очевидно, коллеги из секретариата критиковали его только от досады на то, что он выбрал именно её. Было бы глупо, если бы она из за этого стала себе что-то воображать, и всё же... Они даже подходят друг к другу, ибо он — худой брюнет, а она — довольно полная блондинка! Промышленник и стенографистка... во множестве очень хороших фильмов встречались такие ситуации. Она понимает, она не настолько наивна, чтобы раз мечтаться на эту тему, но во всяком случае это повышение. В обеденный перерыв она пойдёт в чёртёжную похвастаться отчиму.

— Пожалуйста, пишем, — раздался за её спиной мягкий но звучный голос. — Вы готовы?

— Пожалуйста, пан директор.

— Заголовок: Организация технической дирекции Заводов Братьев Далч и Компании... Готово?

— Так точно.

— Стало быть, с новой строки: «С первого января текущего года вводится следующая структура администрации...»

Быстрый, чёткий стук машинки смешивался с плавным, выразительным голосом диктующего. Марихна не поднимала глаз от клавиатуры. Она не понимала ни слова из того, что отстукивали её пальцы, всё внимание сосредоточила на том, чтобы не пропустить ни одной буквы, чтобы не наделать ошибок. Работа должна быть выполнена без изъяна. Директор Кшиштоф Далч размеренным шагом ходил по кабинету и диктовал «из головы». В крохотные перерывы она видела отражение его фигуры в стекле перед собой: одну руку он держал в кармане, в другой держал записки, в которые изредка заглядывал. Такой элегантный... Кшиштоф... Это очень красивое имя. Того студента, с которым она познакомилась в вагоне, звали Станислав. Вообще каждый

второй парень — Станислав или Ян, или Юрек. Простонародье. Иное дело Кшиштоф... Кшиш, Кших, а можно и из второй половины имени: например Тоффи — словно конфетки!

— «...с учётом выше приведённых рубрик должны быть составлены ежедневные отчёты складских расходов в трёх экземплярах, и это в целях взаимного контроля...»

Действительно ли он помолвлен? Во всяком случае, до сей поры ни на одну из служащих он не обращал внимания, а всё же на заводе уже три недели. В бухгалтерии говорили, что он всё время сидит в мастерских либо совещается с руководителями отдельных бюро и отделов. Интересное дело, будет ли он теперь больше просиживать в кабинете? Иначе зачем бы приказал выделить себе секретаршу?

Время от времени, не прерывая диктовки, он задерживался возле неё и наклонялся над машинкой, чтобы проверить, что написано.

«Какое счастье — думала Марихна, — что вчера я сделала маникюр!»

Чего-чего, а своих рук ей не придётся стыдиться. Дай Бог каждой. Завтра наденет гранатовое платье с белым воротничком и те блестящие чулки.

Часы в коридоре начали отбивать двенадцать часов и почти одновременно хрипло отозвалась сирена.

— Вы обедаете на заводе? — прервал директор.

— Нет, пан директор, дома. Здесь только завтрак.

— А вы сильно голодны?

— Терпимо, нисколько.

— Ну, стало быть, пишем дальше. Мне нужно ещё сегодня закончить эту записку. Вы не устали?

— О, нет, — соврала Марихна и рискнула слегка улыбнуться, но он совершенно этого не заметил.

«Это ничего, — думала она под треск машинки. — Всё же это только первый день. За неделю—две раскрахмалится и не будет таким официальным.

Писать закончили около трёх. Он взял машинопись и, сев за стол, погрузился в чтение. Установилась тишина. Марихна слегка растирала уставшие пальцы, поглядывая на начальника. Какой у него красивый овал лица, какая гладкая смуглая кожа...

— Извините, — он поднял на неё глаза, — вы уверены, что «металлургический» пишется через два «л».

— Ну... да, пан директор, — ответила она поспешно и теперь уже сама не знала, не следует ли писать через одно «л».

— Не удивляйтесь, — он улыбнулся, бесспорно улыбнулся ей, — не удивляйтесь, что я слаб в орфографии. Среднюю школу, как и политехнический институт, я заканчивал за границей, а в польской грамматике я всего лишь самоучка, и то, как видите, скверный.

Она хотела что-то ответить, однако в голову не приходило ничего подходящего. Тем временем он закончил читать и взял в руку трубку внутреннего телефона. Попросил соединить с генеральным директором и произнёс:

— Это говорит Кшиштоф, может ли дядюшка сейчас принять меня?.. Хорошо, я сейчас приду.

Без суеты он сложил бумаги и, позвякивая ключами, запирает ящики стола.

— Во сколько вы приходите на работу? — спросил он.

— В восемь, пан директор.

— Хм... Я попросил бы, чтобы вы приходили к семи, за это, разумеется, уже в три будете свободны. Вам это не составит разницы?

— Нет, пан директор, вот только живу я в Зелонце и... чтобы вовремя успеть, должна буду вставать гораздо раньше... в пять...

— Ну да, — он задумался, — Трудно вас к этому принуждать. Какая у вас зарплата?

— Двести десять злотых.

— Стало быть, получите прибавку, но нужно будет жить в Варшаве. Хотите?

Разумеется, она хотела. Она живёт у отчима в Зелонце, и сейчас же отправится в город и снимет комнату, если это необходимо. Директор Далч сказал, что даже обязательно, поскольку время от времени будет её вызывать и в неурочные часы, за которые, разумеется, ей заплатят дополнительно. Пока что зарплата будет повышена до трёхсот пятидесяти злотых.

— Большое спасибо, пан директор, — она покраснела и неожиданно для самой себя сделала реверанс.

Это его видимо позабавило, поскольку он усмехнулся, демонстрируя красивые мелкие и очень белые зубы.

— Сколько вам лет? — спросил он.

— Двадцать один, то есть, двадцать второй идёт, — сконфузилась она.

— Вы ещё очень молоды. Ну, стало быть, договор заключён?.. Я дам соответствующее распоряжение пану Холдеру. Теперь ещё одно. Прошу вас, чтобы всё, что я диктую, оставалось в строгой тайне. Это необходимое условие. До свидания, пани.

Он подал ей руку и вышел из кабинета. Она была необыкновенно возбуждена. Столько перемен! Боже, у неё будет такая большая зарплата, и наконец-то она поселится в Варшаве! Уже завтра начнёт искать себе комнату. Что-то скажет на это отчим?

Она лихорадочно собирала свою сумочку и заперла машинку. Её подмывало тотчас побежать в секретариат и похвастаться подругам, но она выдержала до звонка. Теперь надо было спешить на поезд. Быстро выбежала на улицу. Она не переносила этой части пути до остановки трамвая. Летом или зимой, всегда здесь было много грязи, а осенью нужно было буквально применять эквилибристику, чтобы по наброшанным тут и там кирпичам добраться до улицы Вольской, где уже были тротуары. Однако сегодня она просто не обратила на это внимания. На остановке уже собралось несколько человек, в основном из конструкторского бюро и из расчётного. Все уже знали, что она стала секретаршей Кшиштова Далча, и поздравляли её с повышением. Личность мо-

лодого директора очень интересовала всех с точки зрения перемен, которые он хотел провести на заводе, а кроме того в силу того, что все, что касается семьи хозяев, было одной из самых популярных тем в разговорах между работниками. Они любили и побаивались Вильгельма Далча, с насмешкой говорили о Здиславе, с уважением о Карле, у Яхимовского была кличка «Пройдоха», а о Кшиштофе Далче ещё не сформировали себе мнения.

Отчим Марихны Яршувны, пан Озерко как один из самых старых работников фирмы был досконально знаком с этими обстоятельствами. Сразу после того, как вместе с патчерицей они разместились в третьем классе поезда до Зелонки и Марихна сообщила о предложении шефа, он заявил, что ничего против не имеет, поскольку Далчи — это солидное семейство, и они не позволят нанести обиду своему человеку. Так повелось ещё от старого Франца.

Поскольку теперь Марихна тоже ощущала себя своим человеком для Далчев, она стала расспрашивать отчима об их истории. Правда, она уже слышала её много раз, рассказываемую разным случайным слушателям, но никогда не обращала на неё особенного внимания, даже тогда, когда после окончания гимназии получила должность на заводе. Однако сейчас было совсем по-другому. Любая информация, любое слово имели свой глубокий актуальный смысл.

— Старому Францу, — рассказывал отчим, — не было и трёх десятков, когда он приехал в Варшаву, однако ремесленником был уже первоклассным и, как оказалось, имел голову на плечах. Он приехал на собаках, которые тянули возок со всеми пожитками, и звался не Далч, а Далтц. Но поскольку людям это трудно выговорить, то все и говорили: отнеси замок в ремонт Далчу, пусть Далч починит петли, ведь он открыл скромную мастерскую на Бонифратерской, которую называли также «Под Псами», поскольку приехал он якобы на собаках. Однако человеком он был честным, работающим, и вот в Праге жил тогда один зажиточный мельник, Бауэром звался. Тоже из немцев. Вот Франц делал то одно, то другое на мельнице и через два года женился на дочке Бауэра. Похоже, в приданое он получил пять тысяч рублей или больше. И поскольку человеком он был бережливым, трудолюбивым и неглупым, сразу заложил себе небольшую котельную мастерскую, со временем купил участок за Вольской рогаткой и стал строиться. Отчасти на свои, отчасти на приданое, да на взятое займы, ведь был он честным и люди собственную душу ему доверили бы. Получилось неплохо. Сначала сельскохозяйственные инструменты изготавливал, потом от Венской железной дороги различные заказы пришли. А когда сыновья школу закончили и пришли отцу помогать, на заводе уже работало более двухсот рабочих.

— Стало быть, этом на том самом заводе, где мы сейчас работаем? — спросила Марихна.

— На этом самом. Только после смерти старого Франца оба сына сразу завод расширили, оставили мелкие заказы, перешли на изготовление машин. Старший, Вильгельм, тот более интересный и эlegant-

ный был, женился на графине, на пани Корниевской. Обедневший род, ютились на маленьком фольварке, но всё же графиня есть графиня. Вот только благополучия она ему не принесла. Сильно нос задирала, а началось с того, что с младшим братом Вильгельма, с Карлом, поругалась и похоже даже за дверь его выставила. А речь шла о женитьбе Карла.

— Нашего председателя?

— Именно. Влюбился он в одну из Грушковских, дочку купца пряностями. Это графине, очевидно, пришлось не по вкусу. А девушка красивая была, маленькая такая, ну и пан Карл как упёрся, так и женился назло брату. Отсюда и разрыв произошёл. И как мать, так и дети держались подальше от супруги Карла. У Вильгельма через год после свадьбы родился первый сын, Павел. Тот, видимо, в мать пошёл, ибо никакого учения не закончил и то ли гуляет по миру, то ли сидит в материнском фольварке и, как говорят, с родственниками никаких отношений не поддерживает. Потом родилась дочь Людвика — та, что замужем за директором Яхимовским; потом Здислав — тот, которого недавно на тачке вывезли, тоже не удался; а потом дочь Галина.

— Это та, что приезжает иногда на завод в таком зелёном автомобиле с собакой, — кивнула головой Марихна.

— Да Бог её знает, но и о ней люди, как водится, хорошего не говорят.

— А Кшиштоф?

— Кшиштоф — это, как известно, сын председателя Далча. Рассказывали, что он потому и учился за границей, чтобы не встречаться тут с детьми своего дядюшки, вот такая неприязнь была между матерями. И поскольку Карл был бережливый, а Вильгельма и жена, и дети разоряли, Кшиштов владеет большей частью завода. Ты там смотри, чтобы чем-нибудь не восстановить его против себя, ибо у него решающий голос. Даже сегодня слышал от инженера Ласоцкого, что Кшиштоф, пожалуй, после Вильгельма главным будет.

— Я вовсе не думаю восстанавливать его против себя, — страстно заверила Марихна.

— Меня уже не выгонят, с мальчишек на заводе работаю, но ты смотри. Могут быть большие перемены, если Кшиштоф высадит дядюшку из дирекции.

— А почему все они называются просто Далчами, а этот — Вызбор-Далч?

— Потому что адаптированный. Видишь ли, у матери Кшиштофа, из рода Грушковских, был дядюшка — тоже шляхтич, но бездетный, поэтому были у него большие опасения, что на нём род закончится. Он, собственно, и сказал супруге Карла: когда у вас родится сын, я его адаптирую, пусть и мою фамилию носит, и всё моё состояние ему отпишу. И написал такое завещание. Вот потому он и зовётся Вызбор-Далч.

По приезде в Зелонки Марихна тотчас занялась сбором своих вещей. Правда ей было немного жаль покидать отчима, но поскольку и без того в доме жили две его дочери, об удобствах старика незачем было беспокоиться.

На следующий день утром в пять она была уже на ногах, а в семь — на заводе. Очень радовалась, что сумела прийти в кабинет прежде, чем появился её шеф. Выбрала случай, чтобы появиться в секретариате и похвастаться переменами, которые происходят в её жизни. Панна Климашевская тотчас предложила ей поселиться вместе.

— Э-э-э, ты так далеко живёшь, — уклончиво ответила Марихна.

— Ну, это можно исправить. Найдём комнату где-нибудь поближе.

— Оставь её в покое, — вставила панна Прошиньская, — неужели не видишь, что Марихна хочет жить одна.

— Ага!

— Иначе зачем бы она перебиралась из Зелонки, — язвительно добавила другая.

— Глупые вы, — обиделась Яршувна и выбежала в коридор.

Она как раз успела войти в кабинет шефа, когда он явился. Вошёл своим таким характерным лёгким, эластичным шагом и приветствовал её весёлым замечанием:

— Как это любезно с вашей стороны, что уже сегодня вы прибыли в семь.

— Выполнила желание пана директора...

— Благодарю вас. А комната уже есть?

— Ещё нет.

— Быть может у панны есть в городе родственники, у которых она могла бы поселиться?

— Нет, пан директор. Я сниму комнату.

— Тем лучше, — сказал он.

Она не поняла, почему это должно быть лучше, и спросила:

— Как это... лучше?

Кшиштоф Далч рассмеялся:

— Ну... я имел в виду, что пани будет чувствовать себя свободнее...

— Ах так...

— Должно быть, у вас есть возлюбленный, который сможет вас навещать, — сказал он после минутного колебания.

Щёки Марихны зарделись предательским румянцем, а сердце стало биться сильно и быстро.

Ведь это было совсем не двусмысленно!

Далч достал из кармана большую серебряную папиросницу и закурил.

— Довольны ли вы новой работой? — спросил он, всё ещё стоя возле неё и делая вид, что не замечает смущения...

— Очень, — произнесла она с сильным акцентом искренности.

Ей хотелось бы убедить его, что она восхищена, что будет стараться как никто, лишь бы только он был ею доволен, что сделает всё, что в её силах, чтобы снискать его благорасположение...

Должно быть мысли Далча шли близкой дорогой, поскольку он сказал:

— Я надеюсь, что мы оба будем довольны. Я просил бы вас доверять мне и излишне не делиться с приятельницами о том, что мы делаем и о чём меж собой говорим.

— Ну, пан директор, это ясно!

— Вот и отлично.

— Впрочем, у меня нет приятельниц, — добавила она.

Он улыбнулся как-то странно:

— Поэтому мы оба в одинаковом положении: у меня тоже нет приятелей... Да... Но, однако, принимаемся за работу.

Он сел за стол, минуту перебирал записки и начал диктовать. Если вчера Марихна не понимала того, что печатала, то сегодня она была настолько захвачена воображением, что сама себе удивлялась, как может писать, не слыша отдельных слов, а только мелодию этого бодрого юношеского голоса. Неоднократно их работу прерывали. Входил курьер с какими-то бумагами, инженер Вайдел и другие. Марихна заметила, что с ними он разговаривает иначе, чем с ней. Правда голос был тот же самый, но интонация сухая, строгая, предложения отрывистые. Наблюдение это обрадовало её безмерно... Она боялась дать слишком много воли фантастическим мечтаниям, но как могла она справиться с этим, если ей всего двадцать один год, а мечты такие непослушные.

Диктовка продолжалась до двенадцати.

— Ну, теперь распорядитесь, чтобы вам подали чай, — прервал Далч, — и желаю вам приятного аппетита. Я же пойду на завтрак, потом немного развлекусь в мастерской. Вы можете заняться приготовлением трёх циркуляров на основании этих вот заметок, однако с учётом изменений, внесённых мною карандашом на полях.

Он кивнул ей и вышел.

С какой радостью собиралась теперь на работу Марихна, с какой заботой выполняла все его указания. Завод перестал быть местом ежедневной серой барщины, а сделался сущностью дня. Свободные часы, проведённые вне кабинета, как бы превратились всего лишь в дополнение суток, стали как бы временем, оставленным для того, чтобы она могла подготовиться к той минуте, когда он войдёт и окинет её милым, тёплым взглядом своих прекрасных глаз. Он был таким любезным и таким внимательным. Всегда замечал каждую новую деталь в её одежде, иногда даже давал ей советы: «вам лучше в зелёном» или «попробуйте причесаться иначе, более гладко, думаю, что получится в вашем стиле».

Марихне даже удивительно было, что мужчина, — к тому же её начальник, такой значительный человек, — так уважителен, доброжелателен и вполне очевидно заинтересован ею. Это свидетельствовало о его действительно благородном воспитании и о большой деликатности. Прежние опыты Маихны в общении с мужчинами, в целом небольшие, не выходили из её круга, включая нескольких знакомых служащих, студентов или молодых офицеров. Она не влюблялась никогда. Тот или другой иногда нравился ей, но более близкий контакт с ними закрывали подсознательные мечты о большой любви к какому-нибудь необыкновенному человеку, экзотичному махарадже, прославленному лётчику, кинозвезде или олимпийскому чемпиону. Очевидно, директор Кшиштоф Далч не был ни одной из этих фигур, он был чем-то значительно меньшим, но и чем-то значительно большим. Почему? —

она и сама не знала. Впрочем, и не стремилась это выяснить. Слишком поглощало её переживание действительности и возвышение над этой действительностью фантастических мечтаний о будущем.

Повседневность становилась уже как бы порогом к нему. Марихна сняла небольшую, но очень хорошенькую комнатку на улице Лешно. Проезд оттуда до фабрики занимал не полных четверть часа, поэтому вставала она так же как и раньше, в шесть, а в три была уже свободна. Этот распорядок дня повлиял также на ослабление отношений с коллегами. Она не встречала их в трамвае и, подчиняясь просьбе начальника, не стремилась увидеться с ними в свободный обеденный час. Поначалу немного раздражали замечания бывших приятельниц по поводу её так называемого «задирания носа», но с течением времени она перестала на них реагировать, тем более, что в конечном счёте имела право считаться в заводской иерархии чем-то более высоким, чем они. Определялось это не только зарплатой, но и тем, как относился к ней директор Кшиштоф Далч.

Она не могла не замечать того, что каждый раз когда кто-либо входил в кабинет, Далч, обращаясь к ней, был исключительно вежлив, преувеличенно любезен, демонстративно приятен при одновременном подчёркнуто-официальном отношении к пришедшему. Контраст этот доставлял Марихне не поддающуюся определению радость. Возможно она меньше радовалась бы этому, если бы знала, какой эффект это вызвало во многих отделах предприятия. Для неё этот эффект выразился только в том, что теперь все, не исключая инженеров и начальников отделов, приветствовали её с большим почтением, вставали со стула когда разговаривали, кланялись издалека и не позволяли себе при ней шуточек.

Теперь она уже довольно часто по поручению шефа улаживала различные вопросы в отделах и в конторах цехов. Иногда её даже посылали в город, чтобы купить какие-нибудь технические книги либо выписать какие-нибудь данные из больших энциклопедий в библиотеке Кошиковой. Каждый раз, когда дело было срочным, пан Кшиштоф приказывал ей ехать на его автомобиле. Уже начинались первые заморозки, и поездки в открытом экипаже не доставляли слишком большого удовольствия, если бы не факт, что это была его машина, ну и что из окон бухгалтерии было отлично видно, как она садилась и как шофёр укутывал её ноги директорским пледом. И какое же это было торжество, когда из тех же окон увидели, как садились оба: она и пан Кшиштоф Далч.

Случилось это при следующих обстоятельствах: к двум она закончила раскладывать по ячейкам рапорта из цехов, как вдруг зазвонил телефон. Говорила мать пана Кшиштофа. Марихна, которая теперь всегда отвечала на звонки, узнала, что пан Карл Далч почувствовал себя хуже и просит сына, чтобы тот поехал за доктором или послал за ним машину. Марихна тотчас позвонила в инструментальный цех, где, как она знала, должен был находиться пан Кшиштоф. Он тотчас пришёл и сказал:

— Ну, коль скоро вы закончили с рапортами, по дороге я завезу вас до дому. Где вы живёте?

— На Лешне, извините, но зачем вы будете беспокоиться?

— О? А вы не думаете, что это доставит мне удовольствие? — и он посмотрел на неё значительно.

Она залилась румянцем и опустила глаза. Вскоре уже сидела в машине рядом с ним. Шофёр остался, поскольку пан Кшиштоф сам хотел управлять машиной. Он управлял спокойно и легко, с той деликатностью, которая характеризовала все его поступки в отношениях с ней. А ведь она знала, что он умеет быть строгим, да, даже грубым. Не так давно, когда она искала его в закалочном цеху, собственными ушами слышала, как он «распекал» инженера Воньковского. Тогда он навешал на него всех чертей и сказал, что такая работа... Тут он произнёс такое слово, которого она от него никак не ожидала. Просто не подходило оно ему. В других устах прозвучало бы даже оригинально, и не коробило бы так сильно, как в его — таких красивых и так нежно очерченных. Впрочем, Марихна не умела этого себе объяснить, но ей казалось, что это святотатство, хотя от нескольких человек она слышала, что пан Кшиштоф «не церемонится и ругает напропалую». Возможно это его поза, чтобы внушать подчинённым больше страха, а может попросту плохая привычка. Она решила вовсе о том не вспоминать, и это удавалось тем легче, что, зная о её присутствии, он никогда такого не допускал.

Автомобиль остановился возле её дома. Он отворил дверцу и помог ей выйти.

— Очень, очень вас благодарю, пан директор, — Она протянула ему руку.

— Это я вас благодарю, — произнёс он с улыбкой, на секунду задержал её руку, отодвинул рукавичку и поцеловал тут же возле кисти.

Она влетела в дом словно сумасшедшая. Едва не бросилась на шею пану Вечоркову, отцу её хозяйки, когда тот открыл ей дверь. Поскольку обед подавали в половине четвёртого, у неё было достаточно времени для припоминания этого важного происшествия: он поцеловал ей руку!

С того момента, как она стала его секретаршей, миновало всего лишь три недели, и она уже знала, что это просто так не кончится. И ежели она так старательно украшала и приводила в порядок свою комнату, то не без мысли о том, что всё же может так случиться, что когда-нибудь он в неё войдёт. Без каких-либо намерений, но просто так...

И это случилось, случилось совершенно неожиданно.

Марихна всегда довольно тяжело переносила обыкновенную слабость. Прежде, когда ещё работала в секретариате, обычно брала отпуск на два дня. Однако теперь решила не прерывать работы. Во-первых, она скучала... по заводу, а во-вторых, опасалась, чтобы пан Кшиштоф на время её отсутствия не взял бы кого-нибудь другого, например ту же Климашевскую, которая кокетничает с каждым мужчиной.

Поэтому она пошла. Однако выглядела такой бледной и так скверно, что он сам это заметил и приказал ей вернуться домой, а завтра, сохрани Боже, не приходить, поскольку, впрочем, никакой работы как раз и не будет. Двухдневное же отставание легко отработается. У него всё же есть теперь целый отдел, и мир не рухнет, если она два дня отдохнёт. При этом он был так деликатен, что не выпытывал, что с ней. Очевидно догадался. Что ж, ничего удивительного, верно уже имел не одну возлюбленную (тут сердце Марыси сжалось), не одну, и имеет представление о женских слабостях.

Так назавтра она не пошла на завод. Лежала в постели и вышивала цикломены на коврике, который был предназначен для украшения столика перед зеркалом. Было примерно пять либо четверть шестого, когда в прихожей раздался длинный звонок. Должно быть какая-нибудь из приятельниц хозяйки, Марихна слышала её шаги, когда она шла открывать дверь, звяканье цепочки и внезапный стук в её дверь. Стало быть, к ней. Кто это может быть?

Вошла хозяйка и сказала, что пришёл какой-то мужчина и спрашивает, сможет ли панна Яршувна его принять?

— Какой пан? Ведь я лежу в кровати.

— Такой брюнет, элегантный, говорит, что знает о вашей болезни и, собственно, пришёл провести.

— Милый Боже! — у Марихны перехватило дыхание, — Неужели! Мамочки! Я сама не знаю... Ну, пожалуй пригласите... Сейчас, я не слишком растрёпанная?

— Нет, нет, и рубашечка красивая, как я посмотрю, смело можете его принять.

С этими словами хозяйка выбежала, а секунду спустя в комнату вошёл Кшиштоф Далч. Он был не в повседневном толстом сером костюме, но в чёрной визитке, в которой выглядел ещё красивее и ещё утончённее. В руке держал большой свёрток.

— День добрый, пани, как вы себя чувствуете? — сказал он так свободно, словно в его визите не было ничего чрезвычайного.

— Ох, пан директор, — прошептала она с трудом.

— Я счёл для себя приятной обязанностью провести вас. Ну, вы со мной не поздороваетесь?

Она протянула руку, которая заметно дрожала. Он склонился и слегка коснулся её очень горячими губами, задержав в своей ладони.

— Я принёс в утешение шоколадки, — сказал он, размещая пакет на заставленном всякими пустяковинами прикроватном столике и поддвигая себе стул.

— Пан директор... в самом деле... я страшно благодарна...

— Вы позволите распаковать? Видите ли, поскольку сам я лакомка, вот и подумал, что вы захотите меня угостить.

— О, я сама, — Она сорвалась с места, но резкое движение внезапно вызвало сильную боль, так что она упала на подушку и побледнела с выражением страдания на лице.

Далч, не говоря ни слова, встал, налил в стаканчик немного воды, вынул из кармана жилетки небольшую серебряную коробочку и подал ей белую пастилку:

— Примите, — произнёс он тоном не терпящим возражений, — это успокаивает любые боли.

Марихна проглотила лекарство.

— Горькое, — улыбнулась она.

— Через четверть часа боль пройдёт, — заверил он, пряча коробочку в карман.

Теперь она вспомнила, что уже видела её у него на заводе. Однажды, после возвращения из мастерских, он принял такую пастилку, объясняя, что у него частые мигрени и что только это ему помогает. Действительно, тогда он выглядел сильно побледневшим и под его прекрасными глазами были синие тени.

— Пан директор так добр ко мне, — Она вздохнула.

Он минуту молчал и словно в раздумье произнёс, растягивая слова:

— Вы преувеличиваете... Впрочем, пожалуй необходимо иметь на свете кого-нибудь, для кого можно быть добрым...

И вдруг, словно для того, чтобы переменить тему разговора, начал другим тоном:

— Сегодня я должен был вместе с дядюшкой Вильгельмом представлять завод на похоронах председателя Генвайна. Погребение длилось более двух часов и я несколько замёрз...

— Это тот Генвайн?.. — спросила Марихна.

— Да. С завода Сшер и Генвайн... В прошлом школьный товарищ Вильгельма. Застрелился. Вы, должно быть, читали в газетах.

Марихна вовсе не читала газет. Раньше, когда ещё работала в секретариате и жила в Зилонце, о всех важнейших происшествиях она узнавала от коллег, либо от отчима, который при каждом подобном случае рассказывал о карьере и родстве упомянутой особы. Это было его пристрастие. Поэтому Марихна хорошо знала, кто такой этот Генвайн. Если отчим говорил о ком-нибудь с добавлением слова «тот» — это означало, что говорится об известном и богатом человеке.

— Застрелился? Он же был уже старым человеком, — заметила она.

— Старым. У стариков тоже бывают причины для самоубийства. Кажется, фирма его стояла на пороге банкротства.

— Однако, пан директор, чаще приходится слышать о самоубийствах людей молодых. Чаще всего от любви...

— О, не говорите об этом. Мы оба молоды, — сказал он с улыбкой, — и вовсе не думаем о... самоубийстве. Ну, вам не лучше?

— Немного.

— И сильно недовольны, что я пришёл вам докучать?

— Пан директор, — воскликнула она с такой сердечностью и упрёком в голосе, что даже сама спохватилась, что это неудобно.

— Красиво тут у вас, — сказал он, осматриваясь. — Видно, что у вас есть эстетические увлечения. Что же вы вышивали?

— Это коврик на столик.

Он взял в руки работу и стал её внимательно рассматривать:

— Цикламены. Вы это делаете с большим умением. Красивая вышивка и тема счастливо придумана. Вы сами составляете эти рисунки?

— Сама. О, если пану директору угодно, гляньте туда, на эту подушку с папоротником, это тоже я сама придумала.

Он встал и внимательно присмотрелся к подушке.

— Интересная композиция, — сказал он, — у вас талант.

— Но я растяпа, — она улыбнулась, — утомляю пана директора женскими безделушками. Очень извиняюсь! Вы верно подумали, что я немножко глупа.

— Ни чуть, вы естественны, а это большое достоинство. Ну, может, теперь съедим шоколадки?

Он сам распаковал свёрток и подал ей. Разговор перешёл на тему добротности разнообразных кондитерских изделий, причём Марихна заметила, что пан Кшиштоф действительно любит шоколад. Он ел его много и со вкусом. Не раз она слышала, что мужчин, любящих сладости, отличает доброта характера. Разве он не был очень добрым? По крайней мере, к ней? Какой бы директор пожелал проводить свою секретаршу во время болезни? Если бы он был старым и некрасивым, тогда понятно, но такой как он, на него, верно, женщины сотнями слетаются. И тем не менее она ему понравилась. Точно понравилась. Иначе зачем бы он пришёл?..

Марихна действительно пользовалась большим успехом у мужчин. На улице, в трамвае или поезде на неё оглядывались и делали ей томные глаза. В многочисленном кругу знакомых подскакивал к ней то один, то другой. Как-то один студент медик даже расцеловал её в углу. Она излишне не упиралась, поскольку хотела попробовать, насколько это приятно, но неприятно вовсе. И он сказал ей тогда, что она не разбужена. Идиот! В другой раз жених Зоси, её единоутробной сестры, по пьянке начал Марихну тискать и целовать, после чего у неё осталось только не поддающееся выражению отвращение. Губы у него были синие и липкие. Брр... Какие же красивые губы у Кшиштофа Далча... Они должны быть такими сочными, как она читала об этом в романах...

Он осмотрелся в комнате и сказал:

— У вас нет никаких фотографий.

— Нет, да и чьи мне хранить? Отчим не фотографируется, а больше у меня никого нет.

— Как это, и вы никогда не влюблялись? Никогда в вас никто не влюблялся, кто бы оставил на память свой портрет с нежной надписью?

— Никогда, — она покачала головой.

— Почему?

— Не знаю... Может я... неразбуженная...

Он разразился долгим, даже немного неприятным смехом. Очевидно она сказала что-то очень глупое. Рассердилась на себя. Глупая гусыня! Что он теперь о ней подумает! Мой Боже, вырвалось же у неё что-то такое нелепое!

Он всё ещё смеялся, а у неё из-под век заскользили слёзы. Лучше бы она сейчас провалилась сквозь землю! Стыдилась просто посмотреть на него, стыдилась, что он заметит её слёзы. Она закрыла глаза и отвернулась.

Он перестал смеяться и ничего не говорил. Какой же он безжалостный, как издевается над ней. Должно быть, смотрит на её щёки, по которым ползут эти несчастные слёзы, и улыбается иронично... Что за истязание...

Вдруг она почувствовала на лице мягкое, нежное прикосновение его ладони, мягкое как бархат, и у неё даже дыхание в груди перехватило. Ладонь двигалась по мокрой щеке с такой тёплой, сердечной нежностью, отодвинула волосы со лба, гладила спокойными, равномерными движениями голову и снова щеки, и вот с другой стороны лица ощутила его вторую руку и вдруг на губах лёгкий, едва ощутимый поцелуй, потом более сильный, ещё более сильный, аж раздвигающий её неподвижные губы... Они падали на неё неторопливо, горячие, проникновенные, невыразимо удивительные... Она лежала без движения и только сердце стучалось неистово. Она не знала почему, но в тех поцелуях было что-то очень грешное, что-то очень распутное, что не могла себе представить. Она не считала себя святошей, давно мечтала о его устах, но сейчас сквозь наслаждение, которое вызывали эти поцелуи, сквозь трепет, который охватывал её от прикосновения этих горячих губ, было ещё что-то, что стояло на границе между желанием и отвращением... Она хотела, чтобы это продолжалось как можно дольше и в то же время её охватывал огромный стыд, не перед ним, которого она так желала, но перед чем-то, что можно было сравнить только с отвращением, которое вызывает вид увечья.

А он целовал медленно, с перерывами, словно после каждого поцелуя вспоминал и изучал его вкус... Понемногу его рука двинулась по шее, по плечу, до самой груди и гладкие длинные пальцы накрыли её выпуклость такой мучительной, такой упоительной лаской...

Марихна подняла веки и увидела над собой бледное, сосредоточенное лицо, нежно раздутые ноздри и огромные чёрные глаза, в которых горело любопытство, да, любопытство, непонятное, ужасающее любопытство...

Она тихо вскрикнула, дёрнулась и закрыла лицо руками.

Он выпрямился, встал и отошёл к окну. Только спустя продолжительное время она отважилась посмотреть на него. Он стоял спиной, всматриваясь в чёрное стекло, с высоко поднятой головой и с руками в карманах. В комнате царила полная тишина, только с третьего этажа долетал отдалённый, приглушённый звук фортепиано, повторяющего гаммы.

«Что теперь будет, — думала Марихна, — Скажет ли он, что любит её, извинится ли за минуту забвения, насколько она знала по фильмам, потом всегда извиняются... Как он странно на неё смотрел... А может, обиделся на то, что она вырвалась? Какая же она дура, так ждала этого момента, а когда он наступил, повела себя словно гусыня... Если бы не

стыд, позвала бы его сейчас самыми нежными словами... Мой чудный, мой прелестный, мой любимый...

— Ваше имя, пани Марихна, — произнёс он не поворачивая головы, — такое мягкое, такое женственное. Вы очень женственны...

— Вы на меня не сердитесь? — прошептала она тихонечко.

Он приблизился к кровати и глаза его были очень печальны.

— Пан директор, мне так не хотелось бы, чтобы вы на меня сердились. Извините, прошу вас, — она протянула ему руки.

Он взял их, поцеловал каждую и сложил в своих не очень больших, таких красивых, каких она ещё никогда ни у кого не видела.

— Вы меня любите хоть немного? — спросила он с неуверенной улыбкой.

— О-о-о! — воскликнула она и всем телом подалась к нему.

Он обнял её за плечи, а она забросила руки ему на шею.

Сквозь тоненькую рубашку она чувствовала на коже его сильное и мягкое давление, на устах, на глазах, на щеках снова точно такие же поцелуи, дивные, ошеломляющие, и всё же имеющие в себе что-то, чего она не могла сразу высказать, но что однако укрощала с трудом. Её уста блуждали по его гладко выбритому лицу, мягкому словно атлас... по его сильным губам, упругим и горячим...

Вдруг он отступил и застыл выпрямившись, впиваясь в неё пылающим и невыносимо любопытным взглядом. Оба дышали глубоко, учащённо.

— Панна Марихна, — сказал он, — не стоит, не нужно меня любить. Я этого не заслуживаю. Прошу помнить, что я вам это сказал. Возможно... возможно я ничего, кроме сочувствия, не заслуживаю... Прошу помнить!

В его голосе прозвучала как бы угроза и такая безбрежная печаль, что у Марихны сжалось сердце:

— Я вас люблю, — шепнула она, закрывая глаза. — Я вас очень люблю...

— Что вы сказали? — спросил он словно в испуге.

— Разве вы не видите, что я вас люблю? Разве возможно этого не видеть!

Он схватил её за кисть и, нервно потряхивая её руку, спрашивал сквозь стиснутые зубы:

— Вы меня любите? Любите?... Нонсенс! Это невозможно! И вы меня желаете?... Что? Вы меня жаждете? Хотели бы принадлежать мне? Ну, прошу, отвечайте!

Она молчала, дрожа всем телом. Её поразил его тон, его высокий и свистящий голос, его исступление.

Её молчание отрезвило его. Он вытер ладонью лоб и сказал уже совершенно спокойно:

— Извините меня. Я сегодня так эмоционально утомлён... Видите ли, вы ещё очень молоды, и надо иметь немного снисхождения к людям... Не следует всё принимать дословно... Не надо на всё смотреть слишком просто... Различные переживания оставляют порой человеку

болезненные шрамы... Не обижайтесь на меня, панна Марихна, хорошо?

— Я на вас не обижаюсь, — заверила она страстно и подумала, что любит его ещё больше, чем ей казалось.

— Стало быть, мы останемся добрыми приятелями?

— О да!

— Очень рад. И забудьте о тех досадных словах. Хорошо? Очень прошу. Ну и пора мне. Я очень долго надоедал вам. До свидания, панна Марихна. Если завтра будете чувствовать себя совсем хорошо, мне будет приятно увидеть вас на заводе. До свидания.

Он поцеловал ей обе руки и ещё от дверей бросил вполголоса.

— Забудьте обо всём неприятном...

Марихна не забыла. Не могла забыть. Самые странные предположения беспокоили ее на протяжении последующих дней. Может быть он тайно женатый, а может у него есть невеста, иначе зачем бы он говорил, что заслуживает только сочувствия и недостоин любви?.. Может бросил где-то за границей свою жену с детьми?.. А может страдает какой-нибудь страшной болезнью?..

Во всяком случае в нём была мучительная тайна, о которой никто не знал, о которой никто даже не догадывался, краешек которой он обнажил только перед ней. Перед ней, поскольку и он к ней испытывает какие-то чувства. Марихна не обольщалась, что с его стороны это любовь, но не сомневалась в том, что там есть сердечная дружба и симпатия. Он сам сказал, что необходимо иметь на свете кого-то, ради кого стоит быть добрым, и не вызывало сомнений, что этим кем-то для него стала Марихна.

Это явно просматривалось во всём его поведении. Теперь уже и при посторонних он называл её «панна Марихна» и целовал ей руку. Очень часто отвозил её домой в автомобиле, несколько раз водил её в кондитерскую на пирожные, а однажды даже в театр и потом на ужин в шикарный ресторан.

На заводе уже говорили о них настолько открыто, что наконец это должно было дойти и до ушей Марихны, а за то, что дошло в форме настолько возмутительной и оскорбительной, она должна была благодарить собственную рассеянность.

То есть, отдел расчётов часто не заботился присоединять к ежедневным бюллетеням копии рапортов некоторых отделов. И вот однажды, бегло просмотрев присланные бумаги, Марихна не заметила их и пошла к начальнику расчётного инженеру Белниковичу с претензией о задержке её работы. Белникович проверил и оказалось, что рапорта были отосланы. И поскольку он был человеком вспыльчивым и желчным, отыгрался на Марихне, сказав:

— Вы слишком заняты особой своего шефа, отсюда и упущения в работе.

— Как вы смеете! — возмутилась Марихна.

— Что значит «смею»? — пожал он плечами. — Это вы забываетесь. Вы здесь всего лишь служащая, и я не обязан каким-то особенным об-

разом относиться к каждой служащей, которая станет любовницей пана Далча.

Марихна расплакалась и долго не могла взять себя в руки. В таком состоянии застал ей пан Кшиштоф. Сначала она не хотела рассказывать о нанесённой обиде, но в конечном счёте рассказала всё. Он выслушал спокойно и, не говоря ни слова, вышел. Она подумала, что он пошёл к Белниковичу, и дрожала от волнения. Однако оказалось, что он пошёл к пану Вильгельму Далчу, с которым — как сообщил Холдер, — имел бурный разговор. В результате этого разговора в течение часа инженер Белникович был уволен с завода.

Известие об этом распространилось быстро, и следствием его стало то, что с этих пор ещё ниже кланялись пани Яршувне и ещё больше говорили о её романе с техническим директором. Произошли даже чрезвычайно неприятные для Марихны случаи, когда разные работницы обращались к ней с просьбой о протекции. Разумеется, она никогда даже не обмолвилась о них Кшиштофу. Впрочем, во время работы они виделись теперь мало, а говорили исключительно о заводских делах. За пределами кабинета в их разговорах никогда не было ничего, что касалось бы завода. И сами эти разговоры были странными. Собственно, они состояли в том, что он расспрашивал её о разных вещах, о её школьных годах, о семейных отношениях, о впечатлениях, о многих прочитанных книгах и множестве просмотренных фильмов. О себе он никогда не говорил, а манера, с которой прерывал разговор, как только она начинала спрашивать, смущала её до такой степени, что к расспросам она уже не возвращалась.

И всё же с течением времени, чем дольше она его знала, тем он казался ей более таинственным, замкнутым в себе и несчастным, и этим интересным. Однажды в воскресенье она поехала в Зелонки. Было это спустя два дня после скандала с Белниковичем и, разумеется, она должна была объяснить отчиму обстоятельства происшествия. На её сетования пан Озерко покачал головой:

— Что ты хочешь? Я-то верю тебе, что между вами ничего не было, но любой другой уж конечно подумал, что ты его любовница. Иначе зачем бы он скакал перед тобой? Ты молода, красива, он кавалер... Все обстоятельства против тебя.

— Люди отвратительны и судят по себе.

— И что? Иное дело, если бы он был юношей и мог жениться на тебе, — вздохнул пан Озерко, — Тогда говорили бы, что он жених...

— А почему бы и в самом деле ему не быть моим женихом? — возмутилась Марихна.

— Почему? Шутишь что ли? Он же как есть господин. Буржуй. Миллионер.

— Миллионеры тоже женятся, — неуверенно сказала Марихна.

— Но на ком? Что ж ты себе думаешь, мало у него было таких девчат как ты? Вот, поразвлекается, поразвлекается и бросит. Поэтому правильно делаешь, что ничего такого не позволяешь. Жениться! Хороша для него партия. Твой отец был всего лишь слесарем, а я чертёжником

на его заводе. Высоковат порожек. И голову себе не забивай, иначе душой будешь на посмешище людям. Ухаживает, ну и пусть себе ухаживает, а ты будь рассудительной.

Одного не сказала Марихна отчиму: что ей эта рассудительность уже надоела. И надоела тем более, что раз уж все и так подозревают, то пусть по крайней мере она знает, ради чего терпит. Пусть уж случится.

Однако — не случилось. Кшиштоф Далч действительно проводил с Марихной много времени, даже часто её навещал, но до поцелуев доходило редко, и ни на шаг далее он не продвигался. Марихна не раз строила целые стратегические планы, чтобы придать ему смелости, однако когда что-то складывалось, ей самой не хватало смелости, когда он вдруг становился хмурым и раздражённым, иногда неприятно ироничным.

Однажды на какое-то изменение ситуации повлиял алкоголь. Они были в кино, а потом ужинали. Кшиштоф, который никогда не пил, на этот раз заказал коньяк, а потом вино. После нескольких рюмок у Марыси стала кружиться голова, и хотя она знала, что он пропускает очередь, не возражала против наполнения своей рюмки. Когда он отвозил её домой, она была сильно захмелевшей, а он, как она заметила, хотя и пил меньше, тоже был немного навеселе — вопреки своему правилу, не простился с ней в воротах, но поднялся наверх. В квартире уже все спали. Тепло комнаты Марихны окружило их атмосферой интимной и возбуждающей.

— Мне хочется целоваться и спать, и сама не знаю, чего больше, — прильнула к нему Марихна.

Он молча осыпал её поцелуями.

— Пан Кшиштоф, — шептала она. — Кшисю мой единственный, мой самый дорогой, ты не сердись на меня, что я вам так говорю... Я так ужасно тебя люблю... Твои губы такие горячие... Ты мой самый прекрасный... Ты меня совсем не хочешь... Ты меня не любишь. Почему не хочешь меня?.. Скажи, Кшисю, золотце моё... Почему ты такой странный и так не похож на других мужчин? Скажи?.. Целуешь меня, а выглядит это так, словно ты мною брезгуешь...

— Тихо, тихо, маленькая глупышка, — целовал он её, задыхаясь.

— Но вы не сердитесь на меня? Я действительно бог знает что говорю, голова так кружится... О мой Боже... Кшисю, Кшисенька... Я пьяна, зачем ты позволил мне пить... Любимый... Я такая сонная...

— Иди, я уложу тебя спать, — сказал он сквозь стиснутые зубы и потянул её к кровати.

Она не сопротивлялась, когда он снимал с неё платье, туфельки, когда дрожащими руками отстёгивал пояс от подвязок и снимал чулки, поглаживая её кожу своими горячими и гладкими как атлас руками...

Глаза её были закрыты, а в голове кружилось, бешеный круговорот и шум. Она не вполне отдавала себе отчёт в том, что происходит, не была уверена в том, что это не сон, что лежит нагая в объятиях Кшиштофа, что его уста и ладони покрывают её всю горячей жадной лаской. Почти бессознательно она вытянула руки и, нащупав шероховатый матери-

ал его костюма, напомнила себе, что так хотела бы прижаться к нему и что препятствием являются эти пуговики жилета. Непроизвольно она стала их расстёгивать, но вскоре его руки, крепко сковывая, стиснули её пальцы.

— Нет, нет, — услышала она, — время спать, любимая...

Потом она почувствовала как старательно он укутал её одеялом, как лёгким поцелуем коснулся её губ, ей показалось, что скрипнула дверь, и она уснула...

А завтра снова все было как обычно. С привычной искренней улыбкой он вошёл в свой кабинет, поцеловал ей руку, спросил, не болит ли у неё голова, и начал диктовать.

Вечером, что было заранее оговорено, они должны были идти на премьеру в один из театров. Марихне хотелось пойти не столько на представление, сколько в новом платье — исключительно красивом, и сшитом по рисунку Кшиштофа. Она должна была первый раз надеть его.

В семь она была уже готова и ждала его. Он вскоре пришёл, но был в рабочем костюме, в котором, разумеется, не мог идти в театр. Отговорился тем, что у него сегодня мигрень и что вообще он плохо себя чувствует. Сходят в другой раз. Потом с большим интересом он осмотрел её в новом платье и заявил, что она восхитительна, только необходимо немного, примерно на полтора сантиметра выпустить складку в талии. Потом заметил, что ожерелье из стразов не очень подходит и что видел в одном магазине что-то, что будет лучше соответствовать.

— Видишь, Марихна, что может быть и к лучшему отложить этот театр. К тому же я припомнил, что уже видел эту пьесу в Берлине. Это очень грустная вещь. Если хочешь, могу тебе рассказать.

— Если грустная, то зачем? Мне вовсе не нужен театр, лишь бы вы... лишь бы ты был со мной.

— Именно, посидим и поговорим. Хм... однако расскажу тебе эту пьесу...

— Она интересная?

— Очень, хотя повторяю, что печальная. Так вот, жил такой приличный молодой человек. Звали его Курт. И была молодая красивая девушка, звали её Эмма. Они любили друг друга, поженились, но спустя месяц после свадьбы началась война и Курт пошёл на фронт...

— Это очень печально, — вздохнула Марихна.

— Получилось ещё хуже. Курт был ранен и после долгого лечения вернулся домой инвалидом... Разрыв шрапнели искалечил его на всю жизнь... таким образом, что Курт... перестал быть мужчиной... Понимаешь? По-прежнему был красивым и смелым парнем, по-прежнему горячо любил Эмму, по-прежнему желал её ласк, но не был мужчиной... Понимаешь?

— Понимаю, — шепнула Марихна.

— Курт был трезвым парнем и пришёл к убеждению, что Эмма не может более его любить, что он должен исчезнуть с её пути, что он для неё обуза, что Эмма его возненавидит, что у неё к нему отвращение...

— Но она же не была такой подлой! — разразилась Марихна.

Кшиштоф побледнел и спросил дрожащим голосом:

— Думаешь, что она должна была и дальше любить его?

— Ну, естественно!

— И что могла его любить?

— Почему же нет? Естественно! Разве любовь заключается только в этих делах? Она была бы бесстыдной, низкой, подлой... Разве... разве она?

Кшиштоф отвернулся и произнёс тихо:

— Она думала так же, как и ты, Марихна... Но он не мог в это поверить и совершил самоубийство.

Марихна сидела бледная и вся дрожала, её пальцы судорожно сжимались, наконец она не вытерпела и, вскочив, стала повторять раз за разом:

— Глупый, глупый, жестокий, глупый!...

Он сидел молча и кусал губы. От верхней лампы свет падал на его приподнятое лицо и на полуприкрытые веки, от которых длинные красивые ресницы бросали тень на смуглые неестественного цвета щёки... Марихна оперлась спиной о дверь и смотрела на него как замороженная, стараясь проникнуть в его мысли.

Она знала, что он был в армии, он даже показывал ей свою армейскую книжку, но он проходил службу в мирное время, впрочем, она хорошо помнила, что там была записана категория «А», значит... значит он не был калекой... Тогда зачем именно сегодня и именно после вчерашнего он рассказал ей об этом, зачем рассказывал таким странным образом? Зачем так задолго говорил об этой премьере, а сейчас не хотел на неё идти? Что все это могло бы значить?..

Нет, долее его молчание она не вынесет, это выше её сил:

— Кшисю, — начала она и смолкла, поскольку он вдруг встал.

— Я должен уже идти, — сказал он.

— Кшисю!

Он посмотрел на неё словно в рассеянности и пожал плечами:

— Знаю, ты хочешь спросить меня, не связана ли эта история как-нибудь с нами... со мной? Нисколько. Слышишь? Абсолютно нет...

— Тогда зачем?..

— Не спрашивай, Марихна. Я только хотел узнать твоё мнение... по другим причинам. Если любишь меня, если меня хотя бы немножко любишь... не возвращайся к этой теме. Придёт время, я сам расскажу тебе обо всём... Хорошо, любимая?

Он мягко обнял её за плечи и легонько поцеловал в глаза.

— Хорошо, Кшисю, хорошо, — прижималась она к нему доверчиво.

Для себя она решила не думать об этом, однако почти всю ночь глаз не могла сомкнуть.

Утром в трамвае она встретила, как обычно, несколько человек из технического персонала, всегда державшихся от неё поодаль, и молодого заводского химика, инженера Оттмана, который, согласно с кружившими по отделах сплетнями, был ею увлечён. Марихна никогда не

принимала всерьёз его печальных ухаживаний, на любезности отвечала безобидным кокетством, однако любила его прежде всего за то, что Оттман никогда не упускал случая поговорить с ней и высказать ей несколько милых комплиментов. Пожалуй, только он один на всём заводе не изменил к ней отношения после того, как она стала секретаршей Кшиштофа, и по-прежнему улыбался ей своими голубыми глазами.

Они стояли на площадке и он как раз с увлечением рассказывал ей о каком-то феноменальном аппарате для экспериментов, недавно приобретённом для заводской лаборатории, когда в трамвай вскочил секретарь Холдер.

— О, вы уже на работу — удивилась Марихна. — Что так рано?

Холдер был необычайно возбуждён.

— Как это, — произнёс он не здороваясь, — вы ни о чём не знаете?

— А что случилось? — спокойно спросил Оттман.

— Директора Вильгельма Далч нет среди живых!

— Иезус, Мария! Умер?..

Холдер осмотрелся, лицо его скривилось и он сделал неопределённое движение рукой:

— Как будто... естественной смертью...

Глава III

От почты в Казенишках до якутовской усадьбы было не более четырёх километров, однако поднялась такая непогода, что старый Марциёнек, хоть и знал тут каждое придорожное дерево и каждый камень, одолел ещё не менее двух, прежде чем сквозь снежную пелену заметил первые огни.

Впрочем, в усадьбе только два окна были освещены, и то слабо, поскольку большая часть стёкол была заклеена газетами. Двери главного входа много лет были не отремонтированы и заколочены досками, от кухонных же сеней снег завалил калитку выше пояса, так что посланец с трудом, ругаясь и сопя, добрался до ручки. Двери были не заперты. В сенях, где завывания ветра были уже не такими громкими, слышался звук гармоники, на которой в глубине дома кто-то наигрывал трепака.

Марциёнек вошёл в тёмную кухню, не спеша развязал башлык, верёвку, которой был затянут кожух, отряхнулся и, достав из-за пазухи телеграмму, постучал в двери, а не услышав ответа, вошёл в комнату, которая давно, ещё при жизни стариков господ Корневицких, была буфетом. На полу лежало несколько сломанных стульев, какой-то разбитый горшок и бутылки. Спотыкаясь, он добрался до столовой, заваленной соломой и также давно избавленной от мебели. Запах квашеной капусты смешивался тут с затхлым подвальным воздухом.

Из соседней комнаты долетали смешанные пискливые голоса.

— Тьфу, — сплюнул Марциёнек, — стыда у людей нет.

Бесцеремонно он постучал кулаком в дверь. Хриплый звук гармоники и писк внезапно смолкли, вместо них раздался рассерженный голос:

— Кого там черти принесли?

— Телеграмма.

— Что?

— Говорю: телеграмма.

— Ну так входи, дубина!

Марциёнек, мешкая, открыл дверь и произнёс:

— Незачем мне входить и на такие вещи смотреть, чтобы грех на старые плечи брать.

В ответ он услышал пискливый смех и несколько громких проклятий. Сквозь щели увидел небольшую комнату, освещённую коптящей керосиновой лампой, стол, густо уставленный бутылками, и сидящих за ним обеих Парашковых, тех «бесстыжих девок», о которых сам пробощ¹ сказал с амвона, что они позор всей округи и рассадник разврата. Из комнаты бил горячий запах пива, водки и лука.

— Ступай, Ванька, и возьми телеграмму, — раздался из угла низкий голос.

По полу лениво застучали тяжёлые сапоги и перед Марциёнеком появился Ванька, пятнадцатилетний подросток, со своей гармонью, висящей на ремне через плечо. Глаза у него были красные словно у кролика, лицо вспотевшее и блестящее.

— Давайте, — он пошатнулся, протягивая руку.

— С вас «злотувка»², — буркнул Марциёнек и подал ему депешу.

— Прочитай, — гаркнул голос из угла.

Паренёк бесцеремонно смахнул со стола несколько пустых бутылок, разложил депешу, задумался и, очевидно придя к убеждению, что гармонь будет ему мешать при чтении, отставил её на окно. Передвигаясь, он шлёпал огромными сапожищами, голенищи которых достигали ему почти до половины худых бёдер.

— Ну, быстрее, — сердился голос в углу.

— Сейчас, панночку, сейчас... «Ясновельможный пан Павел Далч. Приезжай немедленно... Отец трагически скончался...» написано «трагически»... что это значит?

— Читай, — прогремел голос мужчины и одновременно затрещали пружины кровати.

— «Грозит разорение... Все мы потеряли головы... В тебе спасение... Мать». Вот и всё, панночку.

— Это чей же отец? — спросила одна из Парашковых, стягивая на плечах распахнутую блузку.

— Ну, дура! Его. Павла, — пожала плечами вторая.

— «Злотувка» с вас причитается, — сердито напомнил Марциёнек.

¹ Пробощ — приходской священник. — Прим. пер.

² «Злотувка» — здесь, монета достоинством в один злотый. — Прим. пер.

Тем временем с постели поднялся сам хозяин. Он был в одной рубаше и кальсонах, крупный, широкоплечий, шёл со склонённой головой, покачиваясь и пошатываясь. Когда голова его оказалась в круге света, Марциёнек увидел заросшее, много дней не бритое лицо, взъерошенные волосы и грязные руки, в которых дрожал листок депеши. Рубашка тоже была грязная и во многих местах порвана.

Он поднял голову и пытался сосредоточиться. Брови его сделали несколько движений.

— Ванька! — позвал он, — беги к Лейбе и скажи, чтобы одолжил коня. Если не захочет дать тебе, то пусть сам отвезёт меня на станцию... Пстой... и чтобы взял для меня пятьдесят злотых.

— Он не даст, — смиренно заметил Ванька.

— Должен дать! Скажи ему, что мой отец умер и оставил мне большое наследство. Да. И скажи, что согласен на тот сад. Даже на три года, как ему хочется, лишь бы дал деньги и одолжил коня. Понимаешь?

— Не даст...

— Не твоё дело, паршивый щенок! Марш, и если не даст, то все зубы тебе выбью! Ну, давай!

Ванька не спеша натянул залатанный кофух, надвинул на глаза шапку и вышел.

— «Злотувка» причитается, — откашлялся Марциёнек.

— Какая «злотувка»? — потянулся Павел Далч.

— За телеграмму.

— Буду тебе должен.

— Вы уж заплатите, я человек бедный. Такая завируха, блудил...

— Заплатил бы, да нету, — он остановился. — Впрочем, подожди, это тебе пригодится?

Он снял со стены охотничью сумку и подал старику.

— Пожалуй, что пригодится, благодарю.

— О, какой умный! — вмешалась младшая из девушек, — А ну, отдай! Ей цена десять злотых. Павел, не отдавай ему это!

— Отцепись, шантропа, — отпихнул её Марциёнек.

— Не твоё дело, — крикнул Далч, — ступай, принеси мне воды. Я должен умыться и побриться. А ты, Сашка, поищи в шкафу, не найдётся ли какой-нибудь рубашки, и те сапоги надо почистить.

Посланец вышел, а девушки молча собирались выполнять поручения. Павел тем временем устроил осмотр гардероба. Единственный наряд, который он мог надеть, был запятнан и не имел пуговиц. Это мерзавец Ванька должно быть пообрывал. Впрочем, можно подсобить булавками, и тогда под шубой не будет видно... Вдруг он вспомнил, что вчера послал шубу Лейбе обменять на полушубок, оставалась только бурка, поскольку ехать в Варшаву в кофухе неприлично. И бурка, впрочем, слишком лёгкая для такого мороза, выглядела неважно. На правом рукаве виднелась большая дыра, которую он прожёл папиросой, когда напился в местечке...

— Саша! — крикнул он. — Глянь сюда, не удастся ли залатать?

После длительного осмотра Сашка заключила, что нечем, поскольку «таких больших кантов не найдёшь».

Наконец кое-как гардероб был укомплектован. Он умылся холодной как лёд водой и это его несколько отрезвило, по крайней мере настолько, что он мог бриться без опасения порезаться. Поезд из Вармишек отправлялся в час ночи, сейчас же, как завершила старшая из Парашковых, не могло быть более одиннадцати. Часов в доме давно уже и в помине не было.

«Если Лейба не согласится, сам к нему пойду, — думал Павел. — Завтра я должен быть в Варшаве».

Однако неожиданно Лейба согласился. Он услышал звук колокольчика его санок, а вскоре и сам он явился вместе с Ванькой.

— Ну, Лейба, — приветствовал его Павел, — принёс пятьдесят злотых?

— Зачем вельможному пану пятьдесят? Билет до Варшавы стоит только двадцать семь.

— Что ж ты думаешь, я в третьем классе поеду?

— Кое у кого и на третий нет... — засмеялся ехидно еврей. — А разве вельможный пан не ездил третьим?

— Ездил, но сейчас не тот случай. Не говорил тебе Ванька? Большое наследство я получил.

— Дай Бог, на здоровье... Батюшка умер?

— Умер. Целый завод мне оставил. Понимаешь? Знаешь, что это за фирма — «Братья Далч и Копания»?.. Миллионы...

— Почему же не знать? Разумеется, знаем. Вельможному пану на несколько лет хватит.

Павел рассмеялся.

— Думаешь, не дольше? Дурак ты.

— Дай Бог до смерти.

— Ну, давай эти пятьдесят злотых, уже пора ехать.

Еврей сунул руку в карман и положил на стол шесть монет по пять злотых.

— Да это всего лишь тридцать, — выразил удивление Павел.

— Больше не могу, нету, — попятился Лейба и запахнул полушубок.

Павел Далч хотел что-то сказать, однако махнул рукой и сгрёб деньги в карман. Накинул бурку, потрепал девушек по щекам. Ваньке наказал, чтобы за всем при сматривал, и вышел к санкам.

Старая костлявая кляча с трудом сдвинула «розвальни», низкие санки, застеленные соломой, наполовину уже засыпанной снегом. Пелена сгустилась ещё больше, а мороз крепчал. Поэтому пока добрались до станции, Павел промёрз до костей, и так как в нетопленном станционном здании согреться было трудно, утешился тем, что вскоре пришёл поезд. В вагоне третьего класса было грязно и тесно, зато тут царило блаженное тепло.

Павел с трудом нашёл сидячее место между каким-то мужиком, с лицом укутанным красным клетчатым платком, и молодой красивой евреечкой. Он втиснулся, сунул руки в рукава и погрузился в осмысле-

ние ситуации. Вспомнил слова депеши: отец трагически скончался... Очевидно, либо убили его рабочие, либо совершил самоубийство... Скорее так, ибо это стыковалось с сообщением о грозящем разорении... Ну и зачем вообще мать его вызывала?... С какой целью? Наверное не для того, чтобы помогал при погребении...

Павла никогда не соединяла дружба с отцом. Годами они не поддерживали никаких отношений. С тех пор как отец выплатил ему его часть, они вовсе не виделись. Павел уехал в Париж и сидел там до тех пор, пока не истратил всё. Если бы не мать, которая отдала ему свою усадьбу, он просто умер бы от голода, впрочем, и та жизнь, которую он вёл, не сильно отличалась от умирания, во всяком случае от прозябания.

Как-то, лет пятнадцать назад, Павел действительно пытался работать вместе с отцом, но вскоре отступился, не в силах вынести того, что по горячим следам называл ревностью из-за власти, а сейчас безапелляционностью и скрупулёзностью. Закончилось тогда большой бурей, в которой с обеих сторон было нагромождено столько упрёков и оскорблений, что их хватило, чтобы между отцом и сыном воздвиглась несокрушимая баррикада. Так двадцатидвухлетним юношей Павел тотчас же выехал в Париж с ненавистью в сердце и упрямым желанием победы.

Его молодую грудь просто разрывал избыток инициативы, изобретательности, энергии. Он верил, что завоюет мир, более того, был в этом убеждён. Почти тотчас по прибытию во Францию он организовал большой дом посредничества, основанный на тогда ещё неорганизованной продаже в кредит. Вложил в это весь капитал, которым родня заплатила ему за долю в предприятии. Однако этого было слишком мало, а он не сумел вовремя найти необходимые кредиты. После банкротства сумел сохранить всего лишь несколько тысяч, ну и всю живучесть своей страсти к прибыли. Метался от одного замысла к другому, пытался найти партнёров для своих широких планов. Те восхищались им, качали головами и предпочитали не рисковать.

В течение трёх лет он потерял всё. Сначала охватило его отчаяние, потом он впал в полную апатию, почти год не вставая с кровати и живя за счёт случайной возлюбленной, даже имени которой сейчас не мог вспомнить. Он оборвал все контакты с семьёй. На письма матери перестал отвечать, а с родственниками его никогда ничего не связывало. Несколько раз в нём снова поднималось желание активной, достойной жизни. Он тотчас срывался, хватался за реализацию больших прибыльных дел, исполинских проектов, которые никогда не доходили до результата. Павел объяснял это невезением, другие — просто фантастичностью планов.

Об этом длительном периоде жизни Павла ничего не знали в Варшаве. Через четыре года мать нашла его пьяного до бесчувствия в убогой портовой гостинице в Марселе. Тогда он согласился вернуться на родину при условии, что мать отдаст ему свой фольварк. Как же много надежд он связывал с этим небольшим кусочком земли, который дол-

жен был стать исходным пунктом великолепных планов, основанием для фантастического здания ненасытных амбиций, и под давлением серой, чудовищно ленивой реки повседневности превратился в берлогу загнанного зверя, в последний — казалось — этап прозябания «бывшего человека».

И вдруг эта депеша... Трагическая смерть... Грозящее разорение... Вызывают его... размеренный ритм разогнавшихся колёс. Вагон дрожит от спешки... Стало быть, ещё есть куда спешить! Стало быть, последняя ставка ещё не проиграна! Стало быть, ещё раз он окунёт руки в гущу жизни!.. Стоит ли?

— Стоит, стоит, стоит, стоит, — отвечали разогнавшиеся колёса.

Он почувствовал в груди обжигающий жар и напряг руки так, что затрещали суставы. Он не мог усидеть на месте. Встал и вышел в коридор. За окнами безумствовала метель. Путь будет засыпан и поезд застрянет... Нет! Нет!.. Не задумываясь, он открыл окно и высунул голову. В разгорячённое лицо ударил морозный вихрь, голову окружил вихрь мелких хлопьев снега. Поезд как раз выгибался по крутой дуге, из локомотива вырывалось набухшее заревом искр облако дыма... Нет, ничто его не задержит, ничто не замедлит этой поспешности! Победоносно зарычал гудок паровоза, и Павел вторил ему диким, бессмысленным криком... Кричал в ночь и пустоту, кричал всей силой широких плеч, так, что жилы на висках набухли, так, что пальцы судорожно впились в фрамугу окна...

Его возвращение к действительности разбудило евреечку.

— Это были Сувалки? — спросила она, протирая заспанные глаза.

— Нет.

— Вы весь мокрый, — заметила она, — выходили на какой-то станции?

— Нет, открывал окно.

Она широко зевнула, поправила шляпку и спросила:

— Вы, должно быть, в Варшаву?

— Да, а вы?

— Я тоже в Варшаву.

Он присмотрелся к ней: она была прехорошенькая и ещё очень молодая.

— Должно быть, к родным? — спросил он.

— Нет, искать заработок. В Варшаве как будто легче. А вы по делу?

— Почему вы думаете, что я по делу? Может тоже ради заработка, — произнёс он шутливо.

— Таким не нужен заработок. — Она окинула его испытующим взглядом.

— Если имеют.

— У таких не бывает заработка, он им не нужен. У них есть доходы, — рассудила она.

Павел рассмеялся:

— Как вы это определили, не по этой ли старой и дырявой бурке, не потому ли, что еду третьим классом?

— Откуда мне знать? — Она пожала плечами. — Может, вы из бережливости. Может, из осторожности. Вы не выглядите так, чтобы вынуждены были...

— Слишком высоко вы меня оцениваете. Кем же я выгляжу?

— Откуда я могу знать? Может помещик, а может купец, а может кто-нибудь очень важный?... Настоящего пана всегда можно узнать, как бы он ни оделся.

— Вы ошибаетесь, — покачал он головой и умолк.

Он припомнил сколько раз в жизни терпел неудачи только по той причине, что ему не доставало соответствующей экипировки. Знал, что находясь в хорошей форме, обладал внешностью, вызывающей доверие, однако для того, чтобы это доверие сохранить, обязательно нужна оправа. Выезжая, он не подумал о том, как покажется в доме родственников в таком виде? Речь не о матери, которая видела его ещё в худшем виде, и по поводу которой он не беспокоился. Но все прочие, вся эта чужая и совершенно незнакомая родня? Этот какой-то Яхимовский? Мать в своём глупом снобизме очевидно не напоминала им никогда о его упадке и так называемом падении. Им он не может показаться таким оборванным.

Он действительно не строил никаких планов, однако знал, что должен произвести благоприятное впечатление. После длительных размышлений пришёл к выводу, что лучше всего будет заехать в какую-нибудь маленькую гостиницу и оттуда позвонить матери. Разорение, не разорение, но несколько сотен злотых на костюм и пальто для него найдутся. Пусть даже в кредит.

Поезд прибыл в Варшаву в восемь с минутами. Павел выпил на вокзале чашечку кофе и двинулся пешком через Прагу. В каком-то молочном магазинчике его внимание привлекла вывешенная в витрине надпись: «Телефон исправен». Он изменил намерение и вошёл. В каталоге с лёгкостью отыскал номер и позвонил. Ответил слуга, который сообщил, что госпожа больна и к аппарату не подходит.

— Передайте пани, что звонит сын.

— Сын?... Это вы, пан Здислав? Что-то голос не узнаю... — медлил лакей.

— Не Здислав, олух, а Павел.

— Извините, но тут, наверное, ошибка. Это квартира господ Далч.

— Скажи госпоже, что звонит Павел. Долго мне ещё с тобой разговаривать? — закричал он уже сердитым голосом.

«Слуги даже не знают о моём существовании», — подумал он с каким-то болезненным удовлетворением.

Тотчас услышал в телефоне голос матери: она разразилась потоком экзальтированной радости. Какой он хороший, что приехал, какой любимый, что не оставил их в несчастье. Что она бедная делала бы без него!

— Мама, — прервал он сухо, — во-первых, говори по-английски или по-французски. Во-вторых, я без гроша и у меня нет приличной одеж-

ды. Прийти к тебе не могу, поскольку не хочу в таком виде представляться всей твоей родне и слугам...

— Но я дома одна, а слуг могу выпроводить. Лично открою тебе дверь, только срочно, молю тебя, приезжай.

— Как это одна? Там должна быть толпа. Что, тело ещё в доме?

— Нет, к счастью нет. Я умерла бы от страха, ты же знаешь, как я боюсь трупов. Забрали в прозекторскую. Какая компрометация! Какой скандал! Никогда ему этого не прощу. Чтобы человек его возраста мог допустить такую бестактность и совершить самоубийство, да ещё таким отвратительным способом...

— Ах, стало быть это самоубийство?

— Да, вообрази себе, повесился. Выглядел ужасно!

— Я сейчас приеду, — сказал Павел и положил трубку.

Двери открыла сама пани Жозефина и бросилась ему на шею. Он отодвинул её достаточно мягко но решительно:

— Прежде всего присядем где-нибудь и поговорим об одежде для меня. Видишь, как я выгляжу.

— Иезус, Мария!.. Нужно срочно к портному, а пока может быть оденешься в какой-нибудь костюм отца, если не брезгуешь, ибо у меня просто органичное отвращение ко всем предметам, принадлежавших умершим...

— У меня нет отвращения, и нет времени на пустую болтовню. Где комната отца?

Она проводила его в угловую комнату, но сама не захотела входить.

— Тут он повесился, на том крюке... Ужасно... — она сжимала плечо сына.

— А одежда в этом шкафу? — спросил он равнодушно.

— Да. Ты, может быть, искупаешься? Я сама приготовлю тебе ванну.

Павел кивнул головой и, пока пани Жозефина занялась ванной, выбрал себе чёрный визитный костюм. Он был крепче отца, но одинаковый рост исправлял это, так что костюм лежал без изъянов. Старую одежду скрутил в комок и запер в одном из ящичков на ключ. Без церемоний он достал чистое бельё и воротничок. Менее чем через час в бу-дуар, где ожидала его мать, он вошёл посвежевшим и приодетым.

Пани Жозефина разразилась серией восхищений его видом. Он встал перед зеркалом и подтвердил, что действительно его внешность немного оставляет для улучшения. Правда образ жизни, который он вёл, не остался без следа в его облике, правда морщины вокруг его серых выразительных глаз и около узких решительных усов складывались в неуловимую гримасу издёвки, а густые каштановые волосы были сильно присыпаны сединой, в целом однако вместе с прямой и пружинистой в движениях фигурой он выглядел почтенно, свежо и энергично.

— Ну, порядок, — он сел и закурил папиросу, — Теперь слушаю.

Мать начала рассказывать. Всё случилось так неожиданно. Отец вернулся с завода в обычное время, пообедал и заперся в своей комнате. Она как раз принимала гостей, потому, как и Галина, не могла найти время, чтобы заняться отцом, ведь кто бы мог предположить! Только

около часу, когда все уже разошлись, слуга заметил ей, что тщетно стучался в комнату хозяина и опасается, не в обмороке ли он, коль скоро совсем не отвечает. Тогда открыли дверь кабинета и нашли его висющим на шнуре от шлафрока. Немедленно вызвали скорую, однако врач мог только засвидетельствовать смерть. Скандал не удалось скрыть, поскольку и прислуга видела, и лекарь уведомил полицию.

— Он не оставил никакого письма?

— Конечно. Оставил на столе заклеенный пакет, адресованный Карлу. К счастью, я успела спрятать его до приезда полиции.

— Надеюсь, вы не отослали его дядюшке?

— Боже сохрани! Кто может знать, что этот безумец там написал? Может завещание, может нас всех лишает наследства в пользу этого Кшиштофа? Мой дорогой, человек совершающий самоубийство в таком возрасте и в таких обстоятельствах должен быть не вполне в уме, ты только вообрази себе...

— Где этот пакет?.. — прервал её Павел.

— У меня здесь, в столике, — сорвалась с места пани Жозефина. — Я никому о нём не упоминала, ибо была уверена, что приедешь ты, мой самый дорогой сын, и будешь лучше знать, как всё разрешить. Здишу, сам знаешь, ни до чего нет дела, а Галя порядочная девушка, но в делах понятия не имеет. Людка же и её муж... я никогда ему не доверяла. Впрочем, все они голову потеряли...

— Они знают, что вы мне телеграфировали?

— Боже упаси!

— А сейчас, мама, только хорошо над этим подумай: они, ну и дядюшка, могут предполагать, что я находился где-то за границей?

— Ну, не знаю, — заколебалась она. — Думаю, что вовсе о тебе ничего не знают. Они совершенно тобой не интересовались.

Павел встал и принялся ходить по комнате. Она сопровождала его взглядом, стараясь по нахмуренным бровям прочесть если не его мысли, то по крайней мере знак для себя и для всех. Она одна всё время верила в него, и всё же сам факт самоубийства Вильгельма достаточно красноречиво свидетельствовал, что они разорены, что их ждёт нищета, вероятно — голод, и в любом случае — потеря положения среди приятелей и в обществе. Если откуда и можно было ожидать спасения, то только от Павла.

— Слушай, мама, — он остановился перед ней, — прежде всего, мой приезд был для тебя неожиданностью. Понимаешь?.. Ты ничего ни о чём не знала. Припоминаешь только, что в последние часы отец переписывался о чем-то со мной по каким-то важным делам. Отправил письма ко мне за границу. Понимаешь?

— Как это? — удивилась пани Жозефина.

— Постарайся быть подогадливей, — произнёс он с ироничным нажимом.

— Ах, понимаю, — успокоилась она. — Я должна им так говорить!

— Именно. Можешь даже припомнить, что отец в последнее время нервничал, поскольку я не прислал какого-то представителя, которого он ждал. Понимаешь?

— Да, да, но зачем это всё?

Павел всплеснул руками:

— Затем, что ты хотела, как мне кажется, чтобы я попытался спасти. Вот... дай тот пакет.

Она отперла письменный столик и подала ему большой опечатанный конверт. Он осмотрел печати, они были не нарушены.

— Даже совсем не заглядывала? — удивился он.

— Я просто боялась.

— Хм... Это хорошо. Не упоминай никому о существовании этого конверта. Это необходимо. А теперь постарайся, чтобы мне никто не помешал. Я должен это изучить.

Он кивнул головой, вошёл в комнату покойного и запер за собой дверь, сквозь которую его ещё догнал вопрос матери:

— Твой приезд и дальше должен оставаться тайной?

— Нет. Я даже хотел бы, чтобы ты известила об этом свою любимую дочь.

Он сел и разрезал край конверта. Внутри было полно бумаг, исписанных множеством цифр и записок, а сверху лежало письмо, начинавшееся словами «Любимый Карл». Павел начал читать.

«Я отдаю себе отчёт в том, что моё самоубийство будет вредно для дел фирмы. Ты сам подумаешь, что я сумел скрыть от тебя приближающееся банкротство, что совершил какие-нибудь злоупотребления, которые не сумел вовремя исправить, и что не оставалось мне ничего другого, как расстаться с жизнью. Всё не так. Всё оставляю в полном порядке, заводу никакая опасность не угрожает. Для твоего сведения прилагаю здесь полную и исчерпывающую информацию о состоянии дел. Это пригодится Кишиитофу при вступлении в должность генерального директора. Для него также оставляю своего рода инструкции и мои суждения о некоторых работниках.

Как видишь, я схожу со сцены совершенно честным способом. Через несколько дней наш торговый и банковский мир сориентируется, что фирме ничего не грозит и что моё самоубийство не состоит ни в какой связи с её материальным положением. Не оставляю никаких писем к Жозефине, к своим детям и к полиции, ибо ни перед кем не желаю и не имею обязанности объяснять свой шаг. Однако тебе, Карл, обязан дать объяснение.

Я давно уже вынашивал это намерение. Давно убедился, что собственно ничто меня с жизнью, которую я веду, не соединяет, ничто не связывает. Какое-то время я хотел понимать её как обязанность перед моей семьёй. Впрочем, не мог слишком долго заблуждаться. Я им не нужен, чужд, совершенно безразличен, за исключением тех случаев, когда встаю на их дороге со своей нелепой довоенной этикой и своим анахроническим характером. В это время меня ненавидят так, как и я их ненавижу, понимая, что это они правы, они плывут по течению, а я далеко отстал от нашего времени, от сегодняшней жизни. Я пытался за ним поспеть и тогда становился сам себе противен, словно

приблудный, бессильный. Не сумею выдержать темпа и не сумею смириться с сущностью сегодняшнего мира. Я всегда считал жизнь полем приложения усилий и стремлений к верным целям. Для сегодняшнего человека жизнь стала целью самой жизни. Место идей и принципов заняли идеи и принципы «прикладные», как существует «прикладное искусство». Догматы, на которые опирались прошлые поколения, оказались выброшенными на свалку, а новых не создано, ибо они были бы только помехой.

Более не могу этого выносить. Современная жизнь не даёт мне своих соков, которые, впрочем, для меня — отравы. Стало быть, я отпадаю от ствола как старая ветвь, приговорённая к гибели в климате новой эпохи. Я не первый и не последний. Из нашего поколения таким же способом ушли уже многие. Холтцер, Беренговский, Сорнитович, Вайсблум... Януш Генвайн был двенадцатым. Время и мне.

Была ещё одна обязанность: обязанность перед памятью нашего отца и основанной им фирмы. Я её исполнил. После моей смерти прикажи Кишиштофу открыть огнеупорный сейф, стоящий в моём заводском кабинете. Там находятся акты, касающиеся займа двухсот тысяч долларов, совершенного мною без твоего ведома в банке «Ллойд анд Боуер» в Манчестере. Срок последнего платежа наступает через два месяца. Так вот присоединяю тут расписки на всю сумму. Я заплатил всё до последнего гроша. Использовал при этом всё, чем располагал, и всё, что составляло часть моих детей в фирме. Не имею в этой связи никаких сомнений. Я знаю, что ты не лишишь их содержания, которое они имеют. Жалования Здислава должно на это хватить. Кроме того Жозефина владеет кусочком земли на Крессах. Если хочешь, займись ими ближе. Я тебя, впрочем, об этом не прошу. Прощай, Карл, и знай, что я ухожу без сожаления.

Твой брат Вильгельм».

Павел потянулся и выпрямился. На его лице появилась улыбка. Он получил, что искал, он держал в руке спасательный конец, который достанет его со дна. В голове закружились мысли. Они бежали каждая как бы с другой стороны — хаотичные, неустойчивые, неуловимые, но с молниеносной скоростью сплетающиеся в сильные узлы сети, в логическую структуру плана.

Он ещё не знал его во всей полноте, но, ориентируясь в собственной экстренной ситуации с безошибочной уверенностью, он чувствовал, ощущал большие перспективы великолепной игры, в которую вступает не с какой попало ставкой и полный ненасытной воли к победе.

В начале у него слегка дрожали руки, когда он перебрасывал бумаги и записки. Однако когда нашёл пачку квитанций банка «Ллойд анд Боуер», он успокоился вполне. Уже в полном спокойствии он изучил остальные материалы, действительно подготовленные с такой ясностью, что без какого-либо труда ознакомился с материальным поло-

жением Заводов Братьев Далч и Компания, с тем фактом, что сейчас единственным собственником остался младший из братьев Далч, его дядюшка Карл, ну и его наследник, Кшиштоф.

О дядюшке Павел знал, что он парализован и не покидает кровати, о Кшиштофе — ничего, кроме факта передачи ему в наследство больших капиталов, отписанных ему покойным Вызбором. Двоюродного брата, младшего лет на одиннадцать, он видел два или три раза в жизни, когда тот был ещё мальчиком.

После этого в игру вступала семья. С матерью, очевидно, вовсе не было нужды считаться. Эта женщина слепо подчинится его желаниям. Галина не ориентируется ни в чём. Здислав дурак. Остаются Людвика и её муж, доктор Яхимовский, ну и кузен Яхимовского, известный нефтепромышленник, Вацлав Гант. О Ганте Павел знал, что он пребывает в Дрогобыче и следит за своими главными интересами, а управление долей в заводе Далчев доверил Яхимовскому. С ним Павел тоже мало сталкивался. Был ещё подростком, когда Яхимовский добивался руки Людвики, и помнил, что замужество состоялось вопреки воле матери, которая кривилась на происхождение и манеры галицийского доктора, однако не смогла сопротивляться упрямству дочери. Яхимовский тогда выглядел человеком ловким, оборотливым и имеющем нюх в делах. Женившись, он принёс в фирму свой небольшой капитал и привёл Ганта. Зато приданные доли Людвики по прежнему оставались в распоряжении тестя, ну а сейчас равнялись круглому нулю.

Павел старательно сложил все бумаги и засунул их в конверт. Он принялся осматривать ящики стола, но ничего достойного внимания там не нашёл. Как раз открывал последний, когда постучала пани Жозефина:

— Извини, Павел, может быть позавтракаешь?

— С удовольствием, — ответил он весело, — я сильно голоден.

— Тогда пошли. Я позвонила на завод и позвала Здислава. Вы сможете посоветоваться, ибо я уже совершенно потеряла голову.

— Что Здислав? — криво улыбнулся Павел, — сильно обрадовался моему приезду?

— Удивился, — уклончиво ответила пани Жозефина.

— Да?.. Удивится ещё больше, это я вам гарантирую. Но вы, надеюсь, сказали ему, что я приехал из-за границы? — обеспокоился он.

— Разумеется. Ты ясно меня об этом просил.

— И что в последнее время был в переписке с отцом?..

— Да, и это вызвало у него наибольшее удивление.

— Отлично. Так где же этот завтрак?

В столовой ждал Здислав, нервными шагами расхаживая вокруг стола. Его внешность свидетельствовала об угнетённости и беспокойстве. Вошедшего брата он приветствовал взглядом, которым смотрят на непрощенного гостя, от которого кроме того следует ожидать необоснованных претензий, на расточительного брата, который в самый тяжёлый момент жизни явился словно новое бремя.

Павел это вполне прочувствовал и потому, не шагнув ни шагу вперёд, покровительственным жестом протянул руку и произнёс тоном почти ласковым:

— Как ты поживаешь, Здислав?

Несколько этим озадаченный, Здислав неуверенно приблизился и пожал ладонь брата, проворчав:

— Приехал?..

— Увы, на два дня позже. Не предполагал, что отец совершит этот шаг, пока не будут испробованы все шансы спасения.

— Извини меня, какого спасения?

— Какого? — Павел окинул его пренебрежительным взглядом, — Стало быть, вы даже не дали себе труда выяснить, что отец потерял всё своё и ваше состояние?

— Боже! Это невозможно! — схватился за голову Здислав. — Собственно, откуда ты об этом знаешь! Откуда вообще можешь знать! Отец мог совершить самоубийство по любому другому поводу!..

— Разумеется, — отрезал Павел. — Например, любовь без взаимности. Мама, прикажи подавать завтрак, поскольку действительно нет времени. Я должен побывать в нескольких банках и у дядюшки.

Пани Жозефина нажала кнопку звонка, а Здислав схватил брата за локоть:

— Мать говорила, что отец писал к тебе за границу. Ну, сделай милость, перестань же в конце концов быть Пифией дельфийской. О чём, чёрт возьми, идёт речь? Отец играл на бирже или что? Мы уже ничего не понимаем!

— Прежде всего успокойся и, если это тебя не затруднит, перестань сжимать мой локоть. По твоим словам я вижу, что отец не оставил никакого объяснения, а сами вы не интересовались состоянием ваших дел.

— Но, Павел! Слово ты не знал отца, — заламывал руки Здислав. — Ведь этот деспот никому не позволял контролировать, что он делает. Всё до последней минуты так ревниво держал в руках, что никто, даже дядюшка, не знает, что случилось!

— Ты разговаривал с дядюшкой? — равнодушно спросил Павел.

— Разговаривал с этим его Блумкевичем. Там настоящая паника.

— Ну, там для паники нет оснований.

— То есть ты хочешь сказать, что тут есть?..

Павел спокойно положил себе на тарелку ветчины и искоса посмотрел на брата:

— Соответственно. Не буду всем по отдельности объяснять всё дело. Не имею для этого ни времени, ни желания. Лично я ещё вижу возможность спасения, если не всего, то существенной части вашего состояния. Представлю это сам, когда вы соберётесь вместе. Договорись, прошу, с Галинкой и с Людвигой, чтобы пришли сюда. Желательно, чтобы присутствовал Яхимовский. У него у одного, кажется, голова в порядке. Мы должны посоветоваться.

— Людка нездорова и не выходит из дома, — заметила пани Жозефина. — Может, соберёмся у них?

— Это безразлично, лишь бы не терять время.

— Да, да, — подтвердил Здислав и выбежал из комнаты, чтобы позвонить.

— Я тоже вам потребуюсь? — спросила пани Жозефина.

— Разумеется. Вы даже раньше поезжайте к Яхимовским и повторите им то, что я говорил вам о моем пребывании за границей, конкретно в Лондоне, и о переписке с отцом.

— Павлик милый, неужели и правда удастся что-то сохранить в этой катастрофе?

— Если они захотят следовать моим указаниям, то можешь быть спокойной.

Часом позже он ехал в такси в Колонию Сташица, где у его шурина Яхимовского была своя вилла. В холл встретить его вышел юноша в спортивном костюме, которому было не более шестнадцати лет, но выглядел он как взрослый мужчина.

— Пан Павел Далч? — спросил он. — Разрешите представиться, Ян Яхимовский.

— Здоровый ты парень, — мимоходом произнёс Павел и похлопал его по плечу.

— Мама сейчас спустится. Бабушка тоже у мамы, а папа позвонил, что скоро приедет вместе с дядюшкой Здишем. Прошу, не хотите ли закурить папиросу? — он указал на кресло и пододвинул латунную папиросницу. — Вы постоянно жили в Лондоне?

— Нет. Живу там, где того требует дело. В последнее время в Лондоне.

— Нита летом выезжала в Англию. Наверное будет надоедать вам расспросами.

— Нита? Это твоя сестра?

— Ну, да, — с удивлением подтвердил Янек.

— Мог и забыть, — с улыбкой оправдывался Павел, — Когда я её видел, она только-только училась ходить. Ей наверное уже семнадцать?

— Восемнадцать, и она не только ходит, но и лучшая легкоатлетка в беге на длинные дистанции, — ответил он не без хвастовства.

На лестнице показалась горничная:

— Хозяйка приглашает вас наверх.

В небольшой зале он застал мать и сестру, которая не вставая подала ему руку и оправдывалась болезненным голосом:

— Извини, Павел, но я расхворалась. Как превосходно ты ещё выглядишь! Так и брызжешь здоровьем.

— Но сильно поседел, — сказала пани Жозефина.

— Лихорадочная работа на западе, дела, биржа, всё, что способно довести человека до седины, — покачал он головой и сел напротив сестры.

— Извини, Павел, но я думала, что ты не занимаешься никакими серьёзными делами. До нас доходили слухи, что ты вовсе ничего не делаешь и что тебе не везёт.

— Ты права. Несколько лет мне не очень-то везло. И видишь ли, Людка, люди таковы, что чужие неудачи всегда готовы поставить им в упрёк, точно так же как успехи — в заслугу. Именно поэтому, — он улыбнулся, — я не ободряюсь тем, что меня одаряют доверием и в каждом самом невинном моём слове усматривают мою большую мудрость.

Он закурил и, заложив ногу за ногу, добавил:

— Когда доберусь до миллиона, меня признают оракулом, а если всё потеряю, назовут растяпой.

Установилось молчание, и пани Людвика присмотрелась к нему с любопытством:

— Стало быть, сейчас ты преуспеваешь? — спросила она.

— Кто сейчас преуспевает, — пожал он плечами. — Я тем уже благодарен судьбе, что удалось избежать тех потерь, которые постигли более крупных и более опытных текстильщиков. Ну, когда же они придут? — он посмотрел на часы, которые забрал из ящика отца. — Здесь, вижу, люди ещё не научились ценить время.

— Сейчас будут, — обеспокоилась пани Людвика. — Может быть, чаю?

— Лучше кофе.

После того как принесли кофе, пришли Яхимовский и Здислав. Яхимовский смущение и беспокойство маскировал любезностью. Здислав был хмур. Одновременно с кофе явилась и Галина. Наверх она поднялась в шубе и ботах. Очень сердечно приветствовала брата, хотя он поздоровался с нею равнодушно и даже демонстративно вытер щеку, на которой её поцелуй оставил красное пятно.

— Минуточку, — трещала Галина, отдавая верхнюю одежду прислуге и поправляя перед зеркалом платье, — сейчас я к вашим услугам. Павличек! Выглядишь импозантно. Знаешь, что это гадко с твоей стороны столько лет не показываться к нам... Сейчас, сейчас, только должна ещё позвонить портнихе, иначе она этот несчастный траур к сроку не закончит. Знаешь, мама, я решилась на коронки. Извините...

— Галина, — твёрдым голосом произнёс Павел, — портниха может подождать, а я нет. Прошу тебя, сядь. В моём распоряжении ровно двадцать три минуты.

— Сейчас, — подхватился Яхимовский, — позакрываю двери.

Павел кашлянул и пододвинул своё кресло. Он видел, что интуиция его не подвела. На лицах всех присутствующих было заметно ожидание известий важных, грозных, решающих, которые только он мог предоставить, и которые значили в их судьбе столько и в такой степени, в какой ему заблагорассудится. Он чувствовал, что завладел их воображением, что имеет готовую почву для овладения ситуацией.

Он начал говорить. Короткими, сухими предложениями представил суть дела. Отец два года назад тайно от имени фирмы взял ссуду в «Ллойд анд Боуер Банке» в Манчестере в размере двухсот тысяч долларов. Он не имел на это права. Сделка не была проведена через книги. Отец сам лично вёл корреспонденцию и переговоры. Все документы, касающиеся этого дела, по крайней мере относительно того, о чём

отец писал Павлу, находятся в несгорающем сейфе в заводском кабинете отца.

— Неслыханно! — выпалил Яхимовский.

— У кого есть ключ от этого сейфа? — спросил Павел.

— У меня, — успокоила его пани Жозефина.

— В этом ваше счастье, — печально улыбнулся Павел. — Так вот, как вы догадываетесь, отцу нечем было оплатить ссуду, а срок приближался. Он заложил доли — свою, мамы, Здислава, Людки и Галины, чтобы попробовать счастья в биржевых спекуляциях в Париже и Лондоне. Не имея в этом отношении никакого опыта, он попал в руки недобросовестных маклеров и проиграл. Тогда он продал ваши части при условии, что факт продажи останется тайной до середины февраля, то есть до дня заседания правления.

— Но это обыкновенная кража! — вскочил Здислав. — Это преступление!

— Не прерывай меня, прошу, — холодно произнёс Павел. — Так вот, полученную в этой повторной сделке сумму отец снова бросил на биржу и снова потеря всё до гроша. Поскольку я, как и большинство текстильщиков, нахожусь в деловых отношениях с банком «Ллойд и Бравер», я случайно узнал, что там опасаются недополучения ссуды, взятой варшавской фирмой с таким же названием, как моё. Очевидно, они тотчас же узнали, в чём дело. Коммерческая разведка дала знать банку, что ссуда не фигурирует в книгах фирмы и, следовательно, Вильгельм Далч совершил злоупотребление, что он ведёт неудачные биржевые спекуляции и стоит на грани разорения, в связи с чем банк намеревался направить сообщение в варшавскую прокуратуру.

— Ужасно! — сложила руки пани Жозефина, которая была так захвачена словами сына, что просто упустила из памяти события сегодняшнего утра.

— Тогда, — продолжал Павел, — я взялся за посредничество. К счастью, как я уже сказал, именно с этим банком меня связывали отношения, и там имели ко мне столько доверия, разумеется, опирающегося на мой текущий счёт, что согласились на это. Слава Богу, — Павел иронично усмехнулся, — я не чувствовал за собой никакого долга благодарности ни по отношению к отцу, ни по отношению к вам, мои любимые... Вы никогда не давали мне для этого какого-либо повода... Хм...

Он обвёл взглядом насушенные лица.

— Но, довольно об этом. Я написал отцу. В ответ получил умоляющее письмо, — Павел сделал жест, словно хотел достать это письмо из кармана, — Однако,.. — продолжал он далее, — дело шло с трудом. Впрочем, я сумел добиться прекращения уголовного преследования. Отец прислал мне подробные данные, касающиеся положения фирмы. Оно вполне удовлетворительное, что я сейчас вам представлю.

На этот раз он действительно достал из кармана пачку листочков, исписанных всем знакомым, привычным почерком пана Вильгельма. Начал зачитывать некоторые позиции и комментарии, после чего, спрятав бумаги, добавил:

— Как видите, фирма ссуду уплатить может и находится в хорошем состоянии. К сожалению, в ней не осталось ничего вашего. Всё принадлежит дядюшке Карлу и Кшиштофу, не считая, разумеется, долей Ганта и Яхимовского, которые остались нетронутыми.

Установилась тишина.

— Мы нищие, — тихо произнёс Здислав и отвернулся, чтобы скрыть слёзы.

— И... и нет никакого спасения? — дрожащим голосом спросила Галина.

Павел в глубокой задумчивости минуту покусывал губы.

— Отец многое испортил своим самоубийством, — произнёс он. — Спасение было ещё возможно. Я, собственно, сообщал отцу, что банк склоняется к мнению, что сможет на определённых условиях пролонгировать ссуду. Окончательный ответ я должен был привезти через два дня. Увы, мои собственные интересы на два дня дольше задержали меня по дороге в Гамбург. И нервы отца не выдержали. Случилось...

— И когда следует ожидать скандала? — спросил Яхимовский.

— Какого скандала?

— Ну, всё же банк, узнав о самоубийстве...

— Ах, это, думаю, как-то удастся уладить. Я уже сообщил в Манчестер, а тут должен буду договориться с дядюшкой. Думаю, что обойдётся без скандала.

— Но нам-то что с того! — отчаянно буркнул Здислав.

— Это важно, — сдержанно подчеркнул Павел.

— Да говори ты, бога ради, ибо я тут ничего не понимаю!

— У вас есть одно преимущество над дядюшкой и над Кшиштофом.

— Какое преимущество?

— То, что вы знаете, а они нет.

Установилась тишина.

— Не понимаю тебя, Павел, — спокойно произнесла Людвика, — какая нам выгода в том, что узнаем об этом раньше?

— Действительно, — подхватил её муж, — ведь несгораемый сейф откроют в кабинете, тот банк даст о себе знать, ну и пан Карл будет так же хорошо обо всём проинформирован, как и мы.

— Собственно, нам следует постараться, чтобы он не узнал, чтобы у вас оставалось как можно больше времени для поиска спасения.

— Если эти поиски хоть в чём-то помогут.

— Ну, если вы хотите полностью отказаться...

— Но я не вижу способа сохранить дело в тайне, — сказала Людвика.

— Есть один способ, только один, — сделал паузу Павел. — А именно — занять в фирме должность генерального директора.

Все молчали, и в этом молчании было какое-то разочарование. Павел продолжал:

— Если один из вас хотя бы на короткое время получит эту должность, в его руках окажутся большие средства, которыми он мог бы распорядиться по-разному. Со своей стороны могу обещать, что по-

способствую решению проблемы возвращения ссуды таким образом, что вы не останетесь на мели.

— Да... Я вижу здесь некоторую возможность, — покачал головой Яхимовский, — и мы очень благодарны тебе за твою заботу, но, увы, концепция нереальна.

— Почему?

— Ни одному из нас пан Карл не отдаст должность генерального директора.

— Разве кто-то её уже занял?

— Нет. Должен занять Кшиштоф. Сейчас царят хаос и безначалие.

Павел усмехнулся:

— Всегда есть две дороги обретения власти: дорога права и дорога... узурпации.

— Как это узурпации?

Он стал им объяснять. Сами говорят, что пока ещё царят хаос и дезорганизация. За десятки лет все привыкли к власти Вильгельма Далча, и окажется делом естественным, если после его внезапной смерти кто-то из его детей эту власть унаследует, по крайней мере на время упорядочения дел, оставленных отцом в беспорядке и запутанными. Тут можно даже воспользоваться возвышенными и патетическими словами, как то реабилитация памяти умершего, моральный долг детей привести в порядок его явные упущения. Дядюшка Карл будет не в состоянии при ещё открытой могиле отказать в справедливости этим аргументам, особенно когда обладание властью окажется уже осуществлено и без скандала некрасиво будет нового директора, и как-никак члена семьи, устранить.

— Я даже обдумал это в мельчайших подробностях. — с какой-то суровостью в голосе говорил Павел. — Предвижу, что всё может принять ожидаемое положение. Только одно необходимое условие: тот из вас двоих должен стать генеральным директором, кто пользуется большим авторитетом, большим уважением, *vox populi*¹ которого, мнение всех работников признаёт его имеющим право занять эту должность. Извините, но столько лет не видел вас обоих, я не ориентируюсь, у кого из вас более сильная рука, больший авторитет у рабочих, более сильный голос у дядюшки и лучшее знание заводских дел. Повторяю: вы должны решиться немедленно, ибо тут даже час играет огромную роль. С тем из вас, кого вы назначите, я обговорю дело подробно и уверяю, что вблизи оно будет выглядеть более лёгким, чем кажется сейчас. Разумеется, если вы не намерены защищать свое состояние, то не стоит и возиться. Со своей стороны вижу просто вашу обязанность взять ход дел в свои руки, да и мне это не безразлично, поскольку тогда я не останусь скомпрометированным перед манчестерским банком, ну и получу свои комиссионные. Теперь решайте, только быстро.

¹ *Vox populi* (лат.) — дословно «голос народа». Общественное мнение, с которым необходимо считаться. — Прим. пер.

Он встал и перешёл в другой угол комнаты. Здесь на столике разложил бумаги, достал карандаш и выглядел полностью погружённым в работу. После минутной тишины среди собравшейся родни поднялся шум.

Павел внимательно прислушивался, и ни одно слово не прошло мимо его уха. Он был доволен собой. Первую большую атаку он провёл с хладнокровием и необходимой осторожностью. Очевидно, они были в его руках. Он не сомневался, что результатом этого беспомощного совещания будет то, что он предвидел со всей очевидностью.

Ни Здислав, ни Яхимович не решаться принять на себя означенную роль. Ни один из них не обладает необходимой отвагой и достаточным авантюризмом. Они слабы и трусливы. Он презирал их, но не мог ими пренебрегать, по крайней мере до тех пор, пока они не перестали быть ступенью, которую невозможно перешагнуть.

— Ну, мои дорогие! — заговорил он, — мне уже пора. Что же решили?

Воцарилась тишина.

— Видишь ли, дорогой Павел, — заговорил Яхимовский, — это трудное задание...

Он начал перечислять препятствия, которые стоят у обоих из них на пути принятия руководства. Здислава недавно вывезли на тачке, к тому же он не знает совокупных заводских дел; Яхимовского же ненавидит пан Карл, у него много врагов в администрации, наконец ему докучает катар желудка...

— Стало быть вы отказываетесь...

— Хм... собственно мы говорили... не лучше было бы, если бы ты, любимый Павел, взвесив, что...

Он прервался, поскольку Павел Далч возмутился, а его лицо выразило как бы изумление и обиду.

— О чём вы? — спросил он язвительным тоном.

Якимовский, покашливая, потирая руки, заикаясь и раз за разом оборачиваясь к жене, словно ища её помощи, начал объяснять, что, собственно, это был бы единственный и самый лучший выход из ситуации, что Павел наиболее подходит для занятия этой должности, что всё же он хорошо знает состояние дел, что, впрочем, в его руках находится дело ссуды... Ну, а с другой стороны, что ему мешает? Другое дело он, Яхимовский, которого тут все знают, у которого есть в Варшаве различные дела. Если бы дошло до скандала, он потерял бы репутацию, тогда как Павел может на всё плевать, ибо его дела не связаны с Польшей, концентрируются за границей...

— Ты сильно ошибаешься, — прервал его Павел, — Я много хлопка продаю в Лодзи. Кроме того исполнение этого плана потребовало бы остаться в стране на несколько месяцев, а у меня попросту нет времени. Впрочем, думаю, что и так сделал для вас больше, чем требовал бы от меня так называемый долг признательности. С какой стати я должен был нести столько трудов, риска и усилий? Вероятно, вы сами пони-

маете, что семейные чувства не очень-то обязывают меня жертвовать чем-либо?...

Однако Яхимовский не уступал. На помощь пришла Людвика, даже Здислав выдал из себя несколько аргументов: директорская зарплата и тантьема¹. Павел защищался всё слабее, когда же Галина набросила ему руки на шею, а пани Жозефина совершенно всерьёз расплакалась — он уступил.

Сколько же усилий стоило ему, чтобы не рассмеяться им в лицо и не сказать, что он сделал с ними то, что захотел, что так легко оставил их с носом, что вот он, «позор семьи» и «пропащий человек за бортом общества» — как когда-то они сами о нём говорили — признан их провидением, почти избавителем.

Он отдавал себе полный отчёт в весе одержанной победы, этой генеральной репетиции собственных сил и последствий, которые должны наступить после этого великолепного успеха, но насколько же большую радость ему доставлял сам выигрыш хорошо подготовленной партии, партии против людей, которые ещё совсем недавно смотрели на него свысока.

— Кажется, — сказал он, — что вы совершили большую ошибку, но слово произнесено. Поэтому не будем уже задерживать дам, а вас, господа, приглашаю к шести на квартиру к матушке. Мы должны оговорить подробности.

— Я больше не нужна? — вскочила весело Галина. — Это превосходно. Я должна позвонить портнихе.

— До встречи, — поцеловал Павел руку матери. — Во сколько я должен быть к обеду? Мне было бы удобнее в три. У меня сейчас совещание в двух банках. До встречи.

Не дожидаясь ответа, он попрощался со всеми и вышел. В действительности должен был справить себе гардероб. Щеголяние в тесноватых нарядах отца и в его мехах было бы непозволительным риском. Он взял такси и приказал отвезти его к одному из лучших портных, затем в самый большой скорняжный магазин. Там велел отослать ему прекрасную шубу за четыре тысячи злотых. Выбрал самую дорогую и наиболее великолепную, договорившись, что посыльному вручит чек.

Выходя от скорняка, он изучил содержимое кармана. Из денег, взятых у матери, осталось ещё около трёхсот злотых. Он зашёл к ювелиру и купил золотой перстень с фальшивым бриллиантом внушительных размеров.

К трём он был уже дома. Мать ждала его с обедом. Два свободных кресла возле стола свидетельствовали об отсутствии Галины и Здислава.

— Есть ли у вас в каком-нибудь банке деньги? — спросил он, расправляя салфетку.

¹ Тантьема (фр. *tantième* такая-то (часть) — вознаграждение, выплачиваемое в виде процента от прибыли директорам и высшим служащим акционерных обществ, банков, страховых организаций.

— Конечно. Не знаю сколько точно, но там должно быть более двух тысяч.

— Это хорошо. Прошу вас, выпишите мне чек на предъявителя на четыре тысячи злотых.

— Но там же, наверное, нет четырѐх, — испугалась пани Жозефина, — и кроме того это... это всё, что у меня осталось...

— Это уже моё дело, мама, не бойся. А на чеке поставь дату двумя неделями позже. К этому времени найдѣтся покрытие. Ну, что там говорила моя любимая родня?

— Ах, вообрази себе, я была возмущена. Людвика выступила с подозрениями.

— Вот оно что, — нахмурил брови Павел.

— Она так суха, так отвратительно меркантильна. Сначала стала сомневаться в твоих хлопковых делах...

— Ну, тут она была недалеко от истины, — улыбнулся Павел.

— Как это? — не сориентировалась пани Жозефина.

— Это неважно. Говорите дальше.

— Потом советовала мужу проверить, не является ли твоей выдумкой вся история с займом.

— И что на это Яхимовский?

— Высмеял её. Сказал, что он не наивное дитя, что в людях, слава Богу, разбирается и что удивляется тому, что тебя недооценили. Ну, видишь любимый мой сынок!

Она смотрела на него растроганно.

— И больше ничего не говорил?

— Больше?... Да! Говорил, что нет ничего более легкого, чем проверить твои сведения. Если в бронированной кассе найдутся акты этой ссуды — дело ясное. Что же касается долей собственности, он узнавал у нотариуса Скоркевича.

— Всѐ-таки?..

— Нотариус отказался давать какую либо информацию, однако по тому, как он с ним разговаривал, легко можно было сделать вывод, что этот старый сумасброд действительно потерял всё.

— А что же мой братец?

— Здиш не падает духом и говорит, что до всей этой катастрофы верно не дошло бы, если бы ты приехал раньше и заглянул в экономику отца. Ты понятия не имеешь, что этот старый сумасброд натворил. Он попросту дезорганизовал мне весь дом...

Вытирая время от времени глаза, пани Жозефина рассказывала о последних годах своей жизни с паном Вильгельмом, нелюдимым, чудаковатым, вечно молчащим...

Павел не слушал.

Монотонный голос матери не мешал его размышлениям. Тренировку на этот случай, очень кстати, он приобрѐл в те долгие месяцы, когда в полной апатии лежал неподвижно в постели и просто не замечал, что с ним говорят, что заклинают самыми нежными словами, что осыпают оскорблениями. В это время он считал квадратики на обоях,

умножал их, делил и тонул в абсолютной бессмысленности. Именно тогда он научился искусству полного отделения от окружающей действительности, и сейчас точно так же как квадратики на парижской мансарде, как мух на потолке в своём фольварке он мог считать шансы широко задуманного плана, умножать возможности, предвидением опережать факты, точно анализировать козыри противников.

Он сел за стол большой игры. Сел с пустыми руками. Это стало бы очевидным, если бы они сумели заглянуть в его карты, если бы могли убедиться в пустоте его карманов.

Глупцы! Он пришёл с копившейся годами жаждой выигрыша, с могучим капиталом воли к победе, с колоссальным запасом неиспользованной энергии, с холодным рассудком, в то время как жажда игры была в нём пламенной. Пришёл неотягощённый уже никакими сомнениями, свободный от всяких моральных сервитутов, пришёл с сокровищем стократ большим, чем эта тень двухсот тысяч долларов, которые упали ему в руки, как первая счастливая карта...

После обеда он снова заперся в комнате отца и вплоть до приезда брата и шурина изучал бумаги умершего.

Завтра утром должно было состояться погребение. Договорились таким образом, что прямо с кладбища они поедут на завод и там Яхимовский и Здислав позовут в кабинет отца всех начальников отделов и инженеров, которым представят Павла в качестве временного преемника умершего генерального директора. Дядюшка Карл окажется поставленным перед свершившимся фактом. Несомненно, он узнает об узурпации немедленно, однако, прикованный к постели и дезориентированный самоубийством брата, не предпримет сразу враждебных шагов. Разумеется, во второй половине того же дня Павел навестит его и остальное берёт на себя.

Остаётся проблема отношения к этим событиям Кшиштофа.

— Что это за человек и чего от него можно ожидать? — спросил Павел.

— Сопляк, — пожал плечами Здислав.

— Желторотик?

— Ну, я бы так не сказал, — предостерёг Яхимовский, — Знаю его очень мало. Однако уверен, что как инженер он далеко не посредственность. Ввёл много полезных инноваций. Например в расчетах сдельной работы на станках...

— Речь не об этом, — прервал Павел, — что за человек? Ну, скажем, моль, сноб, самонадеянный, хитрец или растяпа?

— Мало общается, — развёл руки Яхимовский. — Впрочем, в администрацию никогда не вмешивался. Ничего удивительного. Он на заводе всего-то два месяца. Производит впечатление скрытного, замкнутого в себе. Не пьёт, не гуляет, кажется, что нигде не бывает.

— А рабочие любят его?

— Скорее нет. Он вообще такой странный.

— В каком смысле?

— Разве я знаю. Трудно описать. Например, производит впечатление маменькиного сынка, такого послушненького, понимаешь, прилизанного, хорошо воспитанного и скромного, а имеет страсть употреблять самые вульгарные слова и ругаться этими словами. При этом голос у него такой тихий... Не люблю его.

— Немного, — скривился Павел. — И ничего не знаете о его личной жизни?

— Ну как же! — воскликнул Здислав, — Яршувна!

— Что за Яршувна?

— У него есть любовница. Это даже скандал, дело вполне ясное.

— Не спеши. Стало быть, её зовут Яршувна, и что это за особа?

— Машинистка. Давно работала у нас в секретариате. Он взял её в личные секретарши, ну и живёт с ней. Красивая девушка.

— И откуда ты знаешь, что она его любовница?

— Это всем известно. Впрочем, он этого совсем не скрывает. Отвозит её домой на своём автомобиле.

— Я видел их вместе в кино, — добавил Яхимовский.

— А кому, как не ей, мы обязаны тем, что отец выгнал шефа плановиков? Тот намекнул ей что-то о её дражайшем, и через час его на заводе уже не было. Это точно. Даже вызывает возмущение, поскольку совершенно не скрывается со своими амурами. Демонстративно обращается с ней как с настоящей дамой.

— Стало быть, сентиментален и «дамский угодник»?.. Ну, хорошо. Очевидно завтра я встречу с ним на погребении. Тогда и постараюсь узнать его получше.

— Ожидаешь с его стороны наибольших затруднений?

— Полагаю, — коротко ответил Павел.

Однако получилось не так, как он предполагал.

На похоронах Кшиштоф действительно присутствовал, однако всё время сопровождал свою мать. Поскольку Павел вёл под руку свою, оба брата не видели друг друга, Павел выбрал только короткий миг, когда подошёл к тётушке и Кшиштофу, чтобы поздороваться. Тётушка была заплаканной и молчала, Кшиштоф обменялся с ним всего лишь несколькими ничего не значащими словами вежливости, из которых невозможно было сделать никаких выводов.

Однако Павел сумел присмотреться к двоюродному брату. И на него этот серьёзный юноша, выглядевший моложе своих лет, произвёл скорее неприятное впечатление. Когда во время надгробных речей они стояли друг напротив друга по обеим сторонам усыпальницы семейства Далч, Павел уставился в глаза своего противника и старался по ним прочесть, какие там заключаются силы, какое хитроумие, какая сообразительность?

Кшиштоф не мог очевидно вынести этого взгляда, поскольку отвернулся и даже как будто покраснел.

«Неужели что-то уже предполагает?» — подумал Павел.

Прямо с кладбища Павел, Яхимовский и Здислав поехали на завод.

Цеха были в полном движении, но в отделах осталось едва ли несколько человек: все служащие и инженеры принимали участие в похоронах и ещё не успели вернуться трамваями.

Яхимовский приказал швейцару открыть кабинет покойного. Они вошли.

Тут царил образцовый порядок. Все предметы на столе оставались на том месте, на котором их разместила педантичная рука пана Вильгельма.

В углу стоял небольшая несгораемый шкаф. Павел достал из кармана ключ и открыл его.

Внутри, систематически разложенные, лежали толстые папки. Их было немного, и третья по счёту оказалась той, которую искали.

Павел положил её на стол и, заняв кресло отца, указал место шурину и брату таким голосом, словно уже был их начальником. Однако они не обратили на это внимания. Слишком заняты были содержимым папки, и Яхимовский даже потянулся к ней.

— Извините, — бесцеремонно отстранил его руку Павел, — не вижу причины вырывать у меня бумаги из рук.

Он достал первый лист и, бросив на него взгляд, убедился, что это договор о ссуде. Внимательно просмотрел каждый лист, затем передал Яхимовскому. Он опасался, что и тут могут быть какие-нибудь следы уже совершённых выплат. К счастью, кроме нескольких писем, в общих чертах оговаривающих условия урегулирования платежей, в папке не находилось ничего, что выдавало бы тайну посмертного письма отца.

— Вопрос не вызывает никаких сомнений, — вздохнул Яхимовский, откладывая последнюю бумагу.

— А в чьих руках находятся доли? — спросил Здислав.

Павел улыбнулся с таким выражением лица, словно хорошо это знал.

— На это есть время, — бросил он с прохладцей.

В действительности он многого ожидал от оставшихся в кассе папок. Если и там не найдёт указаний, остаётся ещё обращение к какой-нибудь из торговых разведок. Во всяком случае он знал, что обнаружение покупателей ещё возможно.

В свою очередь Яхимовский и Здислав приступили к следующему пункту намеченного плана. В прилегающей к кабинету зале заседаний раздавались приглушённые разговоры, а потом, по мере прибытия людей, шум: начальники отделов собирались на аудиенцию.

Павел закрыл кассу и встал возле дверей, пытаясь в общем шуме различить отдельные слова, которые проиллюстрировали бы настроение собравшихся, перед которыми сейчас он предстанет и которых должен завоевать. Они уже видели его на похоронах — печального, сосредоточенного... Теперь следует предстать перед ними человеком действия... Да, да... Впрочем, он увидит, почувствует температуру и на этом построит свои слова и манеру поведения.

— Уже собрались, — вбежал в двери из коридора Здислав, — Я волнуюсь, чёрт, всё же это переворот! Какое счастье, что Кшиштоф поехал домой!

— Открой эти двери, — спокойно сказал Павел.

Здислав повернул ключ в замке и почти лакейским жестом открыл двери. В зале моментально установилась тишина. Павел немного подождал и вышел энергичным шагом с высоко поднятой головой. За ним проскользнул Здислав и расположился позади брата, рядом с Яхимовским. Они стояли перед собравшимися как вождь и его адъютанты перед фронтом. Собственно, так и было договорено.

— Господа, — начал Павел, — Большинство из вас меня не знает. Я Павел Далч. Я пригласил вас сюда, господа, чтобы прежде всего от имени родных и фирмы сердечно поблагодарить вас за честь, которой вы почтили память умершего и за выражение сочувствия, которое вы пожелали принести в облегчение наших страданий. Мы это ценим и оцениваем так высоко, как высоко оценивал мой умерший отец вашу дружбу и привязанность к работе на нашем предприятии. Предприятие это имеет свои традиции, освящённые многолетним руководством умершего. Они всегда основывались на честных, сердечных и искренних взаимоотношениях. Вызванный отцом, я, к сожалению, не смог прибыть вовремя из-за границы, чтобы из его собственных уст услышать завещание его воли. Во всяком случае, заверяю вас, что она будет исполнена в точности. В этом смысле гарантирую вам моё полное доверие и прошу у вас такого же отношения ко мне. Я ненадолго приму руководство предприятием. Мои собственные интересы призывают меня вернуться в Англию. Однако согласно с волей умершего я занимаю его место, чтобы привести в порядок некоторые дела, которые мой светлой памяти отец в связи с его возрастом и фатальным состоянием нервов не смог урегулировать. К ним, среди прочих, относится вопрос отложенных премий и денежных вознаграждений. Отсрочка эта была предпринята не по вине фирмы, но исходя исключительно из личных интересов моего отца, что подтверждается его чётким требованием. Так вот, все эти отсроченные платежи будут выплачены в течение шести недель. Господа! В связи с трагической смертью моего отца по городу распустились слухи о якобы расстроенных финансах фирмы и о мнимом разорении семьи моего отца. Слухи эти являются полностью фальшивыми и очень обидными. Даю вам слово, что у них нет никаких, даже малейших оснований. Как раз наоборот, готовились планы дальнейшего развития и расширения предприятия, о чём я буду с вами говорить. Пока что прошу вас твёрдо опровергать ложные слухи, что соответствует нашим общим интересам. Действительно, умерший испытывал в последние часы некоторые платёжные трудности, однако они уже перестали существовать и не являлись причиной его трагической смерти. Вот, господа, всё, что я хотел вам сказать. В заключение ещё раз сердечно прошу вас, как в большинстве своём старых и испытанных сотрудников нашего предприятия, облегчить мою задачу искренним и доверительным отношением ко мне, что послужит самой ценной наградой за мои усилия.

Он склонил голову и протянул руку к стоявшему ближе других инженеру Каминьскому, к секретарю Холдеру, ко второму, третьему, чет-

вёртому... По очереди он крепко пожимал им руки, а они, с почтением отвечая на рукопожатие, называли свои фамилии. Некоторым, чьи фамилии он запомнил по запискам отца, произносил несколько тёплых слов, свидетельствующих, что он знает от умершего, чем они отличаются и какие заслуги имеют перед фирмой.

По тому, как на него смотрели и как подавали руку, он легко мог заключить, что его выступление их убедило, что они приняли его доброжелательно, словом, что он произвёл положительное, может даже более чем положительное впечатление.

Уже во время первых слов своей импровизированной речи он заметил открывающиеся двери и несмело просовывающегося Блумкевича, фактотума¹ пана Карла.

Очевидно он пришёл сюда разнюхивать; нельзя было позволить ему уйти прежде, чем соответствующим образом будет сформировано его донесение. Как раз сейчас, внимательно наблюдая за ним, Павел заметил за спинами других манёвры Блумкевича, пытающегося незаметно добраться до дверей. Павел сделал три шага в сторону и преградил ему дорогу:

— А, пан Блумкевич, — произнёс он свободно, — приветствую вас. Подождите минуточку. Мне надо с вами переговорить.

— Простите великодушно, — сморщился Блумкевич. — На самом деле я вошёл сюда случайно, ну и остался, поскольку не хотел своим уходом прерывать вашей речи... вашей прекрасной речи... Однако сейчас я спешу, пан председатель меня ожидает...

— Мне было очень приятно. Что касается спешки, то я не задержу вас, пан Блумкевич, надолго. Прошу, — безапелляционным жестом он указал ему на двери кабинета, — входите.

В течение минуты он попрощался с большинством собравшихся, а когда остался наедине с братом и Яхимовским, спросил:

— Ну и как?

— Несравненно, — прошептал Здислав.

— Ты их взял, — тихо засмеялся Яхимовский.

— Это не выглядело как беззаконие?

— Ну и что. Ты говорил так, словно был несомненным владельцем завода.

— Только, чёрт, этот Блумкевич! — выругался Здислав.

— Что за упущение. Всюду сумеет он втиснуться, но Юзефа отругаю как пса за то, что его впустил, — злился Яхимовский.

— Ничто не мешает, — пожал плечами Павел, — поговорю с ним. Будьте вечером у матери. До встречи.

Павел знал, что Блумкевич — твёрдая и хитроумная штучка. По крайней мере он не пренебрегал беседой с ним. Изначально у него были другие планы, он иначе намеревался подступиться к дядюшке Карлу, однако сейчас, раз уже его соглядатай собственными ушами слышал эту «тронную речь», следовало изменить тактику.

¹ Фактотум — (лат. fac totum делай всё) уст. — доверенное лицо, беспрекословно исполняющее чьи-либо поручения. — Прим. ред.

Поэтому он вошёл в кабинет с угрюмым выражением лица и опущенными плечами. Блумкевич встал из кресла и довольно нахальным взглядом изучающе присматривался к нему.

— Вы удивлены, пан Блумкевич? — бросил Павел с печальной улыбкой.

— Удивлён... нет... Не ожидал, что пан председатель назначит вас генеральным директором...

— Вы вовсе не знали, что я приехал?

— О, об этом узнать нетрудно. Если пан Здислав что-то знает, это известно и остальным... Даже те, от кого следует хранить тайну.

Павел усмехнулся:

— Вы правы. Мой братец не отличается сдержанностью языка. Но тут не было никакой тайны.

— Однако пан председатель...

— Да. Я не известил дядюшку Карла вчера, поскольку был измучен долгой дорогой. Однако сегодня должен с ним увидеться и объяснить этот вид своеволия, которое вынужден был допустить.

— Вид?! — иронично спросил Блумкевич.

Павел сделал вид, что этого не слышал. Опёрся головой на руку и потёр лоб:

— Один Бог знает, как меня это мучает... Но, однако, пан Блумкевич, трудно. Кто однажды решился взять какой-либо груз на свои плечи, тот должен нести его до конца. Вы сказали, что моя речь была прекрасной... Ха... Ха... К сожалению, дела не только не выглядят так прекрасно...

— Что вы хотите этим сказать? — осторожно спросил Блумкевич.

— То, пан Блумкевич, что мой отец совершил некоторый... промах.

— Как это промах?

— Ошибку в расчётах...

— Какую ошибку?

— Так себе... На двести тысяч долларов.

Блумкевич открыл рот, но ничего не сказал. Павел встал неспешно, открыл несгораемый шкаф и достал папку. Просмотрел ей и буркнул:

— Нет, не та.

— Каждый вправе допустить ошибку в собственных счетах, — вскользь ответил Блумкевич.

— Вся беда в том, что не в собственных, а в заводских, — с нажимом подчеркнул Павел и, осмотрев ещё несколько папок, добавил словно сам себе, — Где же, чёрт побери, это дело?... Ведь отец ясно мне писал, что находится в кабинете, в несгораемом шкафу... Ага! Есть...

— Ошибка на такую сумму в чужих счетах, это преступление, — прошипел Блумкевич.

Павел выпрямился и смерил его суровым взглядом.

— Как вы смеете! Запомните, пан Блумкевич, что вы говорите с Далчем о его отце!

— Я ничего... я не говорю!..

— Молчать! — он швырнул папку на стол, — Запомните, что вы — наш слуга!

Его мощный голос наполнил комнату и эхом отозвался в коридоре. Блумкевич съёжился и побледнел.

— Идите сюда, — тоном приказа произнёс Павел и положил перед его носом папку. — Нашёл. Вот она. Читайте.

Блумкевич, стоя склонённым над столом и не отваживаясь сесть, дрожащими пальцами переворачивал квитанции.

Павел сверху присматривался к нему — с мимолётной улыбкой на устах, однако когда Блумкевич закончил и поднял вспотевшее лицо, он встретил суровый взгляд серых глаз Павла.

— Что же будет... что же будет..., — забормотал он. — Хозяин этого не переживёт.

— Именно поэтому я вас задержал. Опасаюсь за сердце дядюшки. И всё же я должен ему обо всём сказать. Я не умею разговаривать с больными. Может случиться несчастье. Так вот, пан Блумкевич, можете ли вы как-нибудь осторожно предупредить моего дядюшку. Приготовить. Когда будет уже можно, позвоните мне. Я буду ждать.

— С сердцем пана председателя не так уж плохо, — удивился Блумкевич.

— Слава Богу. Не знал об этом, ну так тем лучше. Так вот, скажите сразу, что дядюшка и завод никаких убытков по этому поводу не понесут. Я это... беру на себя.

— Двести тысяч долларов?... — в голосе поверенного зазвучало явное недоверие, однако уже без предыдущей нотки иронии.

— Да, — покусывая губы ответил Павел, — беру на себя, но, как вы видите, сроки чертовски сжатые...

— За два месяца.

— Именно. И в это время я не буду располагать такой наличностью. Я должен договориться с банком. По желанию отца я выступал у них как доверенное лицо фирмы и сейчас, во избежание скандала, должен эти два месяца быть хотя бы номинальным директором... Впрочем, это я объясню уже лично дядюшке. Вы могли подумать, что это узурпация, но мне безразлично, что себе думает пан Блумкевич, что думают три дюжины Блумкевичей! Понимаете! Тут речь идёт о чести семьи! О памяти моего отца! И даю вам слово, что на той памяти пятнышка не позволю оставить, хотя бы ценой всего, чем я располагаю.

Он ударил кулаком по столу так, что зазвенели металлические предметы.

— Я ведь ничего не говорил, — беспомощно объяснился Блумкевич.

— Да... да... — потёр виски Павел, — я взволнован... столько сразу, столько сразу... Не обижайтесь на меня, пан Блумкевич, я ведь знаю, что вы являетесь старым и добрым нашим приятелем, что отец высоко ценил вас... Да и вы питали к нему добрые чувства...

— О... редкий был человек... Пусть там отдыхает в покое — добавил он, глядя на небо.

— Прошу извинить, что увлёкся, — протянул руки Павел и сильно пожал ему ладонь.

Он видел, что поверенный дядюшки окончательно дезориентирован, озадачен и обескуражен. Сейчас, высунув язык, побежит к дядюшке, однако язык был напутан так, как никогда и ни у кого.

Павел ходил по комнате и сам себе улыбался.

«Самый лучший способ для тёртых калачей этого типа — думал он, — представиться им в непонятном для них образе, скрывающем от них механизмы нашей психики, запутанный, странный механизм, в котором они не умеют разобраться, и который вынуждены в простоте души принимать за специфику людей высшей категории».

В ожидании телефонного звонка Павел проверил оставшиеся бумаги отца. Он не ошибся: нашёл в них достаточно ясный след продажи долей. Вёл он через один из варшавских банков в нотариальную контору и далее к какому-то Толевскому. Тот либо сам был покупателем, либо только посредничал в сделке. В любом случае можно будет его разыскать и добраться до фактических покупателей.

С какой целью — Павел ещё не давал себе полного отчёта. Собственно, целью был выкуп долей, однако единственной собственностью Павла, не считая нескольких сот злотых, были великолепная шуба и перстень с фальшивым бриллиантом.

Он как раз приглядывался к нему с улыбкой, когда зазвонил телефон: Блумкевич уведомил, что пан председатель ждёт.

Спустя десять минут Павел стоял на пороге комнаты дядюшки. Он предполагал, что застанет тут Кшиштофа, однако пан Карл был один, поскольку даже Блумкевич, проводив гостя, тотчас вышел, тихо закрывая за собой дверь.

— Подойди, — произнёс больной.

В полумраке его пергаментное лицо с закрытыми веками и с сеткой неподвижных морщин казалось мёртвым.

— Здравствуйте дядюшка, — произнёс Павел спокойно, вставая перед кроватью и, не дождавшись ответа, свободно занял кресло.

— Кто ты? — спросил Карл после долгого молчания.

Павел не понял вопроса.

— Я Павел, ваш племянник.

— Я спрашиваю, чем занимаешься, на что существуешь?

— С полотна. Веду торговлю тканями.

— И живёшь в Англии?

— Да, в Лондоне.

— Мне говорили, что ты заработал какое-то состояние?.. Я ничего о тебе не знал...

— Ничего удивительного. Здесь меня уже вычеркнули из жизни. Слуги в доме моей матушки, когда я приказал доложить о себе как о её сыне, не хотели меня впускать. Очевидно, подозревали меня в мистификации, как никак, они слова не слышали о существовании Павла Далча. Меня вычеркнули из числа живущих.

Пан Карл поднял веки и глянул на него искоса.

— Сам вычеркнул, — произнёс он холодно.

— Не стану об этом с вами спорить. Так или иначе, благодаря вам я стал известен как подонок, как позор семьи и дармоед... И эта почётная репутация окружала тут мою память, куда не узнали, что у меня есть деньги, что у меня есть связи, что я могу на что-нибудь пригодиться. Пусть вас не удивляет моя горечь. Слишком долго меня ею кормили... Впрочем, у меня уже нет обиды на отца. Он не меньше страдал по моей вине, и я знаю, как ему было тяжело первым протянуть мне руку... Особенно протянуть её за помощью...

Пан Карл впился взглядом в его глаза.

— Пусть спит спокойно, — произнёс с почтением Павел, не отводя глаз.

— Почему же он не пришёл ко мне? — прошипел больной.

— Насколько я знаю по его письмам, отношения, которые связывали отца с вами, не были слишком тёплыми. Вы были настолько далеки друг от друга, что в минуту утраты надежд ему было ближе до кладбища, чем до вас.

На лице больного показались красные пятна:

— Как ты смеешь упрекать меня в этом, — захрипел он, — как смеешь!

— Ошибаетесь, я вовсе не упрекаю вас. Во всём виноваты только слабые нервы отца и его полное одиночество в собственном доме... Я в нём всего второй день, но и этого хватило, чтобы понять трагедию такого человека, как отец, в окружении глупости, праздности, снобизма и эгоизма...

— Ты прав, эта женщина его погубила, это бездушное чудовище, — закашлялся в ярости больной, — этот злой дух его дома... Она вас так воспитала, она отравила ему жизнь, она разделила нас, самых лучших, самых любящих друг друга братьев! Она забрала у меня брата! Это её подлость стянула узел на его горле! Это из-за неё этот самый благородный человек был доведён до мошенничества. Какой позор, какой позор! О Боже! О Боже правый! Покарай её страшной карой за его смерть, за мою обиду, за мой стыд! Покарай её страшной карой... покарай... покарай...

Голос больного перешёл в хрип, по его бледному лицу лились обильные слёзы.

Павел достал платок, приложил его к глазам и поверх него внимательно приглядывался к дядюшке. Он всегда считал его человеком холодным, расчётливым, даже скупым и уж тем более не способным на какие-либо чувства и страсти. Новая черта, открытая сейчас в его характере, требовала вновь изменить тактику. Что будет, если дядюшка заявит о готовности покрыть долг из собственного кармана?... Это нарушило бы все планы. Однако мысль Павла работала быстро и чётко. Он знал, что разыгрывает сейчас самую важную партию, и знал, что не имеет права проиграть её.

Пан Карл постепенно успокоился и спросил:

— Когда отец обратился к тебе?

— Слишком поздно, к сожалению. Месяц назад. Если бы...

— Как же он нашёл тебя? — прервал его больной.

— Я продаю много хлопчато-бумажной пряжи в Лодзе, а расчёты направляются на мой счёт в том самом банке «Ллойд анд Боуер», в котором отец брал те несчастные ссуды. Обо мне он узнал либо случайно, либо от кого-нибудь из лодзьских промышленников. Главное, что он написал мне отчаянное письмо с просьбой о посредничестве.

— А ты?

— Разумеется, я обещал сделать всё возможное. Вступил в переписку, и банк в конце концов согласился на определённые уступки. Однако прежде чем я успел сообщить об этом отцу, тот получил письмо, отправленное банком как раз перед переговорами со мной и угрожающее передачей дела прокурору.

— Почему прокурору?

— Потому что те двести тысяч долларов были заимствованы от имени фирмы, а в её бухгалтерии не было о том никакого упоминания.

— Ну, хорошо, — терял терпение больной, — но откуда они об этом узнали?

— Первый срок платежа прошёл. Обратились к какому-нибудь детективному агентству и оно их подробно проинформировало.

— Значит, в нашей бухгалтерии кто-то шпионит!

— Видимо.

— И что дальше?

— Прочитав письмо, отец повесился, — развёл руками Павел.

Установилось молчание. Пан Карл покусывал губы, не спуская взгляда с племянника:

— Ты принёс с собой документы этого займа?

— Разумеется. Не имело смысла далее скрывать их от вас.

Он встал и взяв папку с соседнего стула, достал из неё пачку бумаг.

— Вы хотите это тотчас посмотреть?

— Немедленно. Зажги верхний свет. Выключатель у дверей.

Павел выполнил это указание и, снова садясь возле постели, предложил:

— Может, вам прочитать?

— Нет. Сам прочитаю. Только подай мне очки.

Большие листы неудобно держать одной рукой, несмотря на это пан Карл не прерывал чтения, хотя это его очевидно утомляло. Время от времени он снимал очки, протирал глаза и, не проронив ни слова, читал далее.

Павел искоса приглядывался к нему, а когда наконец больной закончил, спросил:

— Что вы об этом думаете?

— Что думаю? Думаю, что наследники Вильгельма, то есть вы, должны заплатить долг отца.

Он сказал это таким тоном, словно вовсе этого не ожидал.

— Вы правы, — холодно ответил Павел.

— Что ты имеешь в виду?

— То же, что и вы: долг должны заплатить дети покойного.

— Глупости говоришь, — скривился больной, — Во-первых, всей их доли для этого не хватит, а во-вторых, платёж через два месяца. За это время невозможно продать доли иначе как за бросовую цену. Они, разумеется, этого не захотят. Я знаю их достаточно хорошо.

— Извините, — нахмурил брови Павел, — вы не знаете меня слишком хорошо, если считаете, что я буду сносить такого рода фразы, как «говоришь глупости». Ваш возраст обязывает меня относиться к вам с уважением, но и я не сопляк, и прошу вас избегать подобных слов. Под мои «глупые разговоры» большой банк мог доверить десять тысяч долларов, теми же разговорами я преследую гораздо большие интересы, чем вам кажется, и это даёт мне право быть уверенным в успехе.

— Это не имеет отношения к делу, — не без смущения произнёс больной.

— Имеет постольку, поскольку в таком тоне я ни с кем не буду вести разговоры, даже с вами. А тут речь идёт о большой сумме, которую вы должны были бы заплатить, коль скоро вы не заблуждаетесь на тот счёт, что мои родственники и не подумают платить без процесса, а процесс по формальным обстоятельствам может быть выигран.

— Тогда и вовсе не о чем говорить.

— А вот и есть! Потому я и приехал, потому и пришёл к вам. Я заставлю их заплатить по крайней мере половину долга, а остаток заплачу сам. Вам честь моего отца не будет стоить ни гроша.

— Как же ты их заставишь? — недоверчиво буркнул пан Карл.

— Как заставлю — это уже моё дело. По крайней мере я не хочу делать из этого для вас тайну, только не считаю это существенной проблемой. Прежде всего я должен вам объяснить мои поступки, которые могут выглядеть злоупотреблением. Так вот, прежде всего замечу, что речь вовсе не идёт о фактическом директорстве. Мне необходима только сторона номинальная. Кроме того, я не намерен вовсе слишком долго занимать эту должность.

— И я так думаю, — холодно произнёс больной. — Твоё управление началось сегодня и сегодня закончилось. Однако я думаю, что тебе следовало бы быть таким любезным и благосклонно объяснить мотивы твоего поступка, который был бы злоупотреблением, если бы не напоминал оперетку.

— Весёлое настроение, — ответил Павел, — как вижу, не покидает вас. У меня, однако, есть основания не искать оперетки в трагедии моего родного отца.

— Не переворачивай мои слова. Я говорил о той комедии интронизации!

— Сейчас, дядюшка. Вы полагаете, что моё выступление перед руководителями было комедией? Может, оно повредило фирме?

— Я его не слышал.

— Вам было доложено. Стало быть?..

— По какому праву ты сделал это?.. Независимо от смысла того выступления. Это было беспрецедентное вторжение в мои права! И кроме того ты скомпрометировал себя, если хотя бы на минуту мог допустить,

что я утвержу этот опереточный переворот! Ты поступил не только авантюрно, но неумно и легкомысленно!

Павел не ответил ничего и только смотрел на дрожащие морщинки на лице пана Карла.

— Молчишь?

— Посмотрите на меня, — спокойно ответил Павел, — похожи ли я на легкомысленного человека?.. Разве я похож на человека, который позволил себе занять директорское место без уверенности в том, что это назначение будет утверждено?.. Чёрт возьми, произвожу ли я впечатление сопляка и сумасшедшего?!..

— Так по какому праву? Как мог, даже если у тебя есть серьёзные основания, сделать это, не получив предварительно моего согласия?.. Не думаю, что я дал бы его тебе, но допустим, что так, что в минуту помрачения сознания я бы согласился доверить управление фабрикой человеку молодому, неопытному, не имеющему доброй репутации, и в дополнение совершенно незнакомому с фирмой и её сложными делами! Но для чего?..

— Прошу прощения. Именно об этом я и хотел говорить. Только прошу меня услышать. Начну, собственно, с тех сложных дел фирмы, с дел, с которыми я на счастье фирмы значительно лучше знаком, чем кто-либо, не исключая и вас, дядюшка.

— Говори.

И Павел начал говорить. Как же сейчас он был благодарен своему отцу за его деспотизм, за ревнивое сохранение власти, за алчное сосредоточение в руках всех данных, касающихся управления предприятием. Именно за это он когда-то его ненавидел, а сегодня благодаря этому держал в своих руках мощный козырь. Он хорошо помнил каждое слово из посмертной докладной записки отца, и каждое из них умел соответствующим образом использовать и, пересыпая сведения логичными комментариями, произвёл на слушателя ожидаемое впечатление.

Поскольку пан Карл вовсе не отзывался, Павел перешёл к изложению проблемы долга в манчестерском банке. Он договорился с тем банком так, что будет иметь возможность выполнить платёж частями. Первую часть в сумме двадцати тысяч долларов он распорядился снять со своего счёта в день приезда в Варшаву. Завтра, не далее чем утром, подойдёт квитанция, которую он дядюшке представит. Однако он не намерен оплачивать всё из собственного кармана. На родственников он сможет иметь влияние только в случае получения на определённое время должности директора, и только при условии, что получит на это полное согласие дядюшки. Однако должность эта ему необходима и по той причине, что иначе банк не согласится на соблюдение обоюдного соглашения и потребует через своего адвоката немедленной оплаты всего долга. Поскольку же фирма абсолютно не в состоянии выплатить такую сумму в течение двух месяцев, а о затяжке таких платежей сейчас, после самоубийства отца, было бы невозможно даже мечтать, необходимо подчиниться условиям банка. В противном случае банк потребует обеспечения долга собственностью фирмы, и тогда вый-

дет наружу злоупотребление отца. Это приведёт к скандалу и не только к компрометации, но и к повышению кредита, а следом пошатнёт и предприятие. Таким образом, не остаётся ничего другого, как дать банку единственную гарантию, которую он готов принять, то есть гарантию, основанную на личном доверии к Павлу.

Он говорил спокойно, красноречиво, развивал перспективы дальнейшего урегулирования проблем. Заверил, что с учётом собственных интересов не мог бы сидеть в стране дольше чем два, в крайнем случае три месяца, что в соответствии с волей покойного не предпримет никаких самостоятельных шагов без детального согласования с дядюшкой, что фактическую власть охотно передаст Кшиштофу или кому-либо, кого назначит дядюшка. Просил только, чтобы этим кем-то не был Яхимовский, которому нельзя доверять.

Свой почти получасовой доклад о состоянии дел он полагал настолько убедительным, что уже не ожидал возражений дядюшки. Однако пожилой человек был твёрдым орешком. Прежде чем согласиться с племянником, он изучал его целым рядом вопросов, убеждался в уже обсуждённых вопросах и наконец своё согласие подкрепил многими условиями. Главным и основным было то, что Павел не мог отдавать какие-либо распоряжения, принимать какие-либо решения или предпринимать что-либо на предприятии без согласия Кшиштофа. Кроме того Павел обязался через три недели представить дядюшке письменное согласие своей семьи на покрытие половины долга.

— Признаюсь, — сказал пан Карл в заключение, — что ты преподнёс мне достаточно большую неожиданность. Я думал о тебе хуже, чем ты заслуживаешь. Очевидно, ты меньше подвергся влиянию твоей матери, чем остальные её дети. Не могу простить тебе только того, что самовольно, без предварительного обсуждения так поступил со мной.

— Никто об этом не знает, дядюшка, кроме вас и Блумкевича. Признаюсь, впрочем, что таким способом я хотел поставить вас перед свершившимся фактом. Речь шла о достижении цели, а не об уважении. Люди охотнее соглашаются с тем, что уже существует. А я не допускал, что вы являетесь таким трезвым и порядочным человеком, который питает братские чувства к моему покойному отцу. Не ставьте мне это в вину, но мы действительно не знаем друг друга.

— Не моя в том вина, — с нажимом произнёс пан Карл.

— Мне хорошо об этом известно, дядюшка, однако сейчас я питаю надежду, что за короткое время совместной работы, которая нас ожидает, я сумею сыскать столько вашего уважения и симпатии, сколько уже сегодня после этого разговора я питаю к вам.

На прощание пан Карл протянул племяннику здоровую руку:

— Завтра договоришься с Кшиштофом. До свидания.

— Не сомневаюсь, дядюшка, что это будет действительно взаимопонимание.

Павел вышел и поехал на Уяздовскую. Визит к дядюшке закончился полным успехом. Он не только нашёл одобрение своего директорства,

не только сумел добыть уважение и доверие, но дошёл до создания атмосферы более чем выгодной для себя.

Первая партия была разыграна.

Глава IV

— Где кабинет директора Кшиштофа Далча? — спросил он утром рассыльного.

— Последняя дверь, пан директор.

Он громко постучал и, не дожидаясь ответа, вошёл. За пишущей машинкой сидела красивая блондинка и с удовольствием ела завтрак. Её розовый ротик был наполнен булкой.

— Директора нет? — спросил он.

Она постаралась проглотить как можно быстрее, и в этом усилии участвовали её брови, совершив несколько таких смешных движений, что Павел рассмеялся.

— Не спешите, пани, это небезопасно.

Она смерила его осуждающим взглядом:

— Пан директор в мастерской. Что вы хотели?

Он протянул руку и произнёс:

— Я Далч, а зовут меня Павел.

Девушка сорвалась с места, покраснев до корней волос:

— О, извините, пан директор, прошу прощения, но я не знала, что это вы.

— Не терзайте себя, — он задержал её руку, пытающуюся сунуть в ящик надкушенную булку. — Что, мой брат скоро вернётся?

— В любой момент, пан директор.

— Если позволите, я подожду его здесь.

— Конечно, извольте, — она смутилась, поражённая его любезностью.

— Но только при условии, что вы продолжите свой завтрак.

Она улыбнулась:

— У меня ещё будет время.

Он сел и довольно бесцеремонно присматривался к ней. Он знал, что она любовница Кшиштофа, и ему подумалось, что она может ему пригодиться, например, для выяснения мнения о нём двоюродного брата. Потому и остался.

— Не удивляйтесь, пани, что не узнали кто я. Я не похож на прочих Далчей.

— О, да, — сказала она с особой интонацией.

— Ваше восклицание, — улыбнулся он, — следует принять как признание, а также как сочувствие?

— Вы шутите, — она опустила глаза.

— А вы к этому не приучены другими Далчами?.. Мой двоюродный брат, кажется, слишком серьёзен и всё принимает только всерьёз?

— Всё... Ну нет, пан Кшиштоф иногда бывает весёлым.

— Я не видел его уже много лет...

Дверь отворилась и вошёл Кшиштоф. Павел встал:

— Я ждал тебя, Кшись. Добрый день.

— Добрый день. К вашим услугам, — он подал ему руку очень любезно и очень официально.

— Нам бы поговорить. Ты располагаешь временем?

— Через минуту я к твоим услугам. Думаю, что нам будет удобнее у тебя.

— Ну, так я жду, — кивнул Павел и вышел.

Он явно почувствовал в тоне Кшиштофа неприязнь и неудовольствие тем, что ждал его и, очевидно, тем, что разговаривал с этой машинисткой. Должно быть он ревновал её.

Снова он произвёл на Павла очень неприятное впечатление. В его поведении была какая-то искусственность, какая-то неискренность, какая-то поза. Павел не ожидал от него приветливости, не ждал проявления родственных чувств. Наоборот, заранее приготовился к холодности и враждебности. Однако в поведении Кшиштофа было ещё что-то, нечто отталкивающее и непонятное одновременно. А сверх того невыносимо высокий голос и эти вызывающе неуклюжие манеры, манеры, напоминающие школьника, изображающего взрослого человека.

«Ещё сопляк, — думал Павел, — не мне об этом тревожиться».

Прошло добрых десять минут, прежде чем пришёл Кшиштоф.

— Сядем тут, — сказал Павел, указывая ему на кресло возле круглого столика. — Дядюшка Карл проинформировал тебя о причинах, по которым я буду здесь какое-то время?

— Конечно.

— Считаю своим долгом заверить, любимый Кшиштоф, что сделаю всё, чтобы сотрудничество дало как можно лучшие результаты. Я, к сожалению, не инженер и с техникой не знаком, потому в производстве всё и дальше будет оставаться в твоей компетенции.

— Благодарю тебя за доверие, — сказал Кшиштоф с оттенком иронии, однако настолько незначительным, что Павел мог сделать вид, будто не замечает насмешки и принимает всё за чистую монету.

— Отец твой придерживается мнения, что мы должны все дела решать сообща.

— Нам не остаётся ничего другого, как согласиться с этим.

— Ты говоришь об этом так, словно не согласен с решением отца?

Кшиштоф пожал плечами.

— Даже если бы это было так, говорить не о чем. Это беспредметно.

— Послушай, Кшиштоф, — примирительно сказал Павел, — ты знаешь, в чём мой интерес, знаешь, что я не намерен вставать на дороге, что вскоре оставлю тебе всё предприятие. Вот и скажи, почему ты занимаешь по отношению ко мне оборонительную позицию?

— На чём основаны такие выводы? — равнодушно ответил Кшиштоф, — Я не занимаю никакой позиции. Я уже сказал, что подчиняюсь воле отца.

— Стало быть, порядок, — с притворным простодушием ответил Павел и подумал, что однажды эта куколка горько пожалеет о своём легкомыслии.

Они приступили к обсуждению производственных вопросов. Тут Павел имел возможность убедиться, что его двоюродный брат в совершенстве владеет вопросами производства. Вместе с тем в делах общеэкономических он не твёрдо стоит на ногах. Впрочем, Павел сразу решил сделать всё, чтобы исключить вмешательство Кшиштофа в эту отрасль, прежде всего не информируя его о том, что возможно осуществить с помощью Яхимовского.

В самом деле, если бы Кшиштоф додумался проверить главную книгу, он узнал бы о существовании множества писем, которые были отправлены за подписью Павла, но без его инициалов. Однако для этого у него было мало опыта.

Единственной особой, которая могла бы его в этом просветить, был секретарь Холдер. Однако тот ничего не знал об условиях, на которых Павел Далч был главным директором, а из многолетней работы под руководством умершего генерального директора он вынес убеждение в том, что генеральный директор является абсолютным хозяином, и все его решения не только не подлежат никакому контролю, но и не могут быть кому-либо известными под угрозой святотатства. Впрочем, Павел Далч пришёлся ему по душе, и это произошло по понятным причинам.

Уже первые дни управления нового директора показали, что это человек не любящий долгих разговоров и обсуждений с первым лучшим работником. В этом смысле он значительно превосходил умершего отца. Закончился обычай совещаний, вместо них каждый исполнитель должен был сначала доложить свой вопрос Холдеру, и только когда тот признавал его срочность, докладывал директору. В противном случае он откладывал информирование шефа до вечернего доклада. Порядок этот ещё выше поднимал неприступность великого алтаря, и тем самым наделял ещё большей властью должность секретаря.

В скором времени Холдер убедился также, что и политику в отношении работников сын от отца унаследовал в тех же формах. Правда, он меньше внимания обращал на делегатов, но зато часто посещал собрания и пускался в разговоры с множеством рабочих, оказывая им большее почтение, нежели служащим и инженерам. К ним, во всяком случае, он был также предупредительно любезен, когда бы ни принимал кого-либо из них в своём кабинете. Весь секрет заключался в том, что принимал он их чрезвычайно редко, а за пределами кабинета в разговоры не вступал.

Секретарь объяснял недовольным, что главный директор сейчас, по принятии завода, безмерно занят. Впрочем, в этом не было ни тени преувеличения.

Павел принялся за работу со всей яростью накопленной энергии. Помимо дел внутренних, организационных, текущих, помимо подробной проверки предприятий, он развернул деятельность в широких масштабах. Речь шла о получении в банках большего кредита и о полу-

чении больших заказов. Любой ценой он должен был достичь одного: убедить дядюшку, что его руководство благотворно влияет на положение предприятия. Дядюшку, и не только его. Весь варшавский промышленный свет должен ощутить его присутствие.

Он начал с визита к директорам нескольких банков и нескольких крупных фабрик, сотрудничающих с Заводами Далчей. Делалось это таким образом, что Холдер по телефону договаривался о визите за день либо даже за два дня вперёд, точно оговаривая час и даже минуту. Это производило хорошее впечатление.

Разумеется, ведя переговоры с этими крупными рыбами, Павел ни словом не упоминал о своём якобы намерении вернуться в Англию. Наоборот. Якобы невзначай он проговаривался, что имеет далеко идущие планы расширения завода, что предусматривает приток в страну серьёзных капиталов своих приятелей из Сити, что сам не предполагал, что в Польше можно столько ещё сделать, что заграничные финансисты потому избегают польского рынка, что не знают его, как, например, и он сам до сей поры, однако в различных отраслях отечественной промышленности можно встать на путь завоевания доверия.

В результате этих визитов и переговоров ваза в квартире на Уяздовской быстро наполнялась визитными карточками, на которых виднелись фамилии лиц очень известных, очень влиятельных и очень богатых.

Здислав смотрел на это, широко открыв рот, а Яхимовский потирал руки и, пересыпая слова своим характерным «хи-хи-хи», напоминал всем, что он первый признал Павла и что всё будет наилучшим образом.

Казалось, подтверждали это и другие, вполне материальные свидетельства. А именно заказы. В течение двух недель Заводы получили целый ряд новых заказов на значительные суммы от чужой до сей поры клиентуры.

Павел демонстрировал, что умел.

На сон он тратил очень мало времени. До поздней ночи в прежнем салоне пани Жозефины, превращённом ныне в его кабинет, горел свет. Двери были заперты на ключ, а замочная скважина закрыта. Домашним не позволялось находиться в соседней комнате, куда доносились звуки пишущей машинки или громкого телефонного разговора.

В девятом часу в кабинет приносили кофеварку, которую в дверях забирал сам Павел, не позволяя лакею дойти даже до середины. На бюро и рядом со столиком лежали разбросанные бумаги и какие-то бутылочки. Однако утром, когда он уезжал на завод, всё было убрано, а удовлетворение любопытства делали невозможным новые, только что установленные замки, к которым старый комплект ключей не подходил.

Павел Далч работал.

Он и вправду неплохо владел английским, однако не в полной мере владел коммерческой терминологией. Поэтому написание писем от имени банка «Ллойд анд Боувер» доставляло ему немало трудностей. Значительно легче было имитировать подписи, что вскоре было дове-

дено до совершенства. Для приобретения практики в этом направлении Павел посетил несколько гравёрных мастерских и засиживаясь там с видом человека, не придумавшего ничего лучшего как часами ожидать выполнения заказа, наблюдал за приёмами мастера. Присматривался также ко всем необходимым приборам.

Больше всего хлопот было с банковскими бланками. Проще всего было бы заказать их в какой-нибудь маленькой типографии. Однако он не хотел рисковать, считаясь с тем, что в каждой, безусловно, есть агент полиции, охотящийся за коммунистической печатью. Эти господа могли заинтересоваться и делами этого рода.

В конце концов он купил настольную типографию. Правда шрифты её существенно отличались от тех, какими были выполнены надписи на бланках, однако не следовало опасаться такой проницательности от дядюшки, который не обладал превосходным зрением.

В этом Павел убедился предъявляя ему квитанции о поступлении первого взноса. Подчистка на нём даты и вставление на её место новой до такой степени не выдерживало критики, что ребёнок догадался бы о фальшивке. Поэтому Павел предъявлял квитанцию, полностью сознавая риск, который мог оказаться смертельным для всего предприятия.

На счастье пан Карл в тот день чувствовал себя хуже и всего лишь бегло посмотрел на показанный ему листок. Очевидно, ему и в голову не пришло что-либо заподозрить.

Однако родственникам Павел квитанцию не показал. Объяснил, что должен был отдать её дядюшке. Он полностью игнорировал Галину, которая вовсе не вдавалась в расчёты, избегал Людки, не желая нарваться на неё. По отношению к ним он выбрал тон любезно покровительственный, не лишённый нотки скрытого взаимопонимания, однако присутствие их доставляло ему неотвратимую боль. Они составляли своего рода балласт, с которым следовало считаться не в связи с его ценностью, но из соображений осторожности.

Мать он решил спровадить из дома, чтобы она не могла навредить ему своей излишней болтливостью и отсутствием чувства важности ситуации.

С этой целью он объяснил ей, что она выглядит плохо, что чувствует себя измученной и что в целом её здоровье после всех перипетий нуждается в заботе. И поскольку отсутствие денег не позволяет отправить её за границу, лучше всего ей отправиться к своей двоюродной сестре в Подолию.

Ещё до отъезда пани Жозефины многое в квартире претерпело изменения. Просто-напросто всё было устроено таким образом, чтобы Павел мог работать с наибольшими удобствами, мог без смущения принимать своих гостей и клиентов. Галине и Здиславу остались только три комнаты.

Одновременно Павел начал поиски Толевского. И вскоре выяснил, что Толевский уехал в Краков и вернётся только после Рождества.

На заводе всё шло относительно гладко. Объяснив Яхимовскому, что для отправки матери и погашения некоторых её мелких долгов не-

обходимы деньги, он приказал выплатить из кассы разом двухмесячную зарплату. На случай если бы известие об этом дошло до Кшиштофа, приготовился объяснить, что должен был использовать эти деньги на взятки и потому в спешке сам отдал это распоряжение.

Однако опасения были напрасными, поскольку Кшиштоф был так захвачен работой своего отдела, что подписывал все бумаги дирекции словно с раздражением.

Павел саму организовал эту процедуру таким образом, что папки с корреспонденцией они подписывали одновременно в кабинете Павла, куда их приносил Холдер. Благодаря этому Павел всегда имел возможность наблюдать за кузеном и в случае возражений переубедить его на месте, в результате чего никто не мог знать, что власть главного директора связана ныне с какими-либо ограничениями.

Сам Кшиштоф казался Павлу всё более странным. Порой он производил такое впечатление, которое он назвал бы необычным, если бы речь шла о ком-либо старшем, отягощённом личными переживаниями или тайной.

Однако тут не могло быть и речи о чём-либо подобном. Ведь он знал, что жизнь Кшиштофа с детства складывалась спокойно и протекала свободной волной между хорошо облицованными берегами, образованными посредством достатка, родительской любви и заботы.

Особенно об этой диковинной заботе уже давно ходили слухи. Рассказывали, что пани Тереза Далч воспитывает своего сына под колпаком. Во время его обучения она постоянно сопровождала его за границей и следила, чтобы он не заводил неподходящих знакомств. Говоря с некоторым преувеличением, она сопровождала его на лекции и с лекций, не позволяла поддерживать дружеские отношения и вовсе ни на шаг от себя не отпускала.

Кшиштоф действительно производил впечатление «маменькиного сынка», как его на заводе исподтишка называли, однако он не был похож и на недотёпу. Лучшим тому свидетельством было то, что так быстро после обретения самостоятельности он нашёл себе любовницу, и к тому же одну из самых красивых девушек на заводе.

Павел явно не любил Кшиштофа, отдавал себе отчёт в том, что тот действует ему на нервы. Однако, несмотря на это, старался по возможности с ним сблизиться, прежде всего хорошо изучить его с учётом своих планов, а ещё потому, что не мог преодолеть любопытства, которое Кшиштоф в нём возбуждал. Его холодность и всё более явное избегание контактов с Павлом ещё сильнее убеждали Павла в его решении. Его натуре было свойственно отречение только тогда, когда он оказывался вне круга игроков, однако сейчас с каждым днём он все более ощущал себя в самом центре.

Письмо банка «Ллойд анд Боуве», подтверждающее согласие разделить долг на части, и адресованное Заводам Братья Далч и К^о с согласием на личные переговоры с генеральным директором паном Павлом Далч, было зарегистрировано в книгах фирмы и вручено Павлом Кшиштофу.

— Будь добр, Кшиштоф, отдай моему отцу. Я сам хотел с этим к нему отправиться, но сегодня, к сожалению, нет времени, а дело срочное.

Кшиштоф прочитал письмо и сказал:

— Требуют от нас уплаты в феврале шестидесяти тысяч долларов, а остальное соглашаются разложить. Не понимаю. Насколько я знаю, ты уверял отца, что сам покроешь долг. Ты и твои родственники.

— Так оно и есть.

— И что означает это письмо?

— Оно свидетельствует о том, что я сумел найти в банке условия, о которых дядюшка не мог бы даже мечтать, если бы я этим не занялся. В феврале нужно было бы заплатить двести тысяч, а поскольку фирма не смогла бы нигде найти такой большой суммы, дело дошло бы до скандала. Не понимаю тебя, Кшись, почему максимум моей доброй воли, вовсе не вынужденной, чёрт, воли, ты трактуешь таким образом?.. Однажды я уже сказал, что заплачу, и нет сомнений, что сделаю это.

— Стало быть что ж, это не касается меня или моего отца? Верим тебе и ждём.

— Ты превосходно знаешь, — улыбнулся сердечно Павел, — что вопреки всему я не похож на тягловый скот, на который взвалили груз и пожимают плечами, если он под ним сдохнет. Напротив, я дотащу до конца, но при этом имею право требовать человеческого к себе отношения. Не говоря о мотивах, по которым я всё взвалил на себя. Остаётся фактом, что я освободил от всего тебя и дядюшку.

— Никто не отрицает, — равнодушно заметил Кшиштоф.

— Трудно отрицать очевидное. Я уже заплатил двадцать тысяч долларов и заплачу остальное. Но в феврале не могу привести в движение такую сумму, какую они требуют. Правда, есть у меня в Ливерпуле... Впрочем, не люблю быть голословным. Изволь посмотреть.

Он достал из ящика несколько писем и счетов. Это были документы, подтверждающие, что в портовых складах были приняты большие партии тканей, составляющих собственность Павла Далч, и застрахованных на большие суммы.

Человека одарённого особой осторожностью могло бы привести в большое удивление обстоятельства, по которым бланки банка в Манчестере, складов в Ливерпуле и страхового товарищества в Лондоне напечатаны шрифтом идентичного начертания. Кшиштоф заметил только, что каждое из этих учреждений использовало другую бумагу и другие ленты в пишущей машинке.

— Вот видишь, в крайнем случае я мог бы продать несколько тысяч тюков полотна. Но сейчас самый неподходящий сезон, самые низкие цены. Я потерял бы на этом очень много, надеюсь, этого вы от меня не потребуете? Просмотри котировки полотна, сам убедишься.

— Тогда о чём же речь? — спросил Кшиштоф, складывая бумаги и отдавая их Павлу.

— Завтра утром я должен отправить ответ. Поэтому хочу, чтобы дядюшка сообщил, согласен ли он к февральской выплате добавить сорок тысяч долларов, разумеется, с тем, что в течение шести месяцев я их верну.

— А если отец не согласится?

— Если не согласится?.. Хм... тогда я напишу, что мы не можем согласиться с условиями банка и развязываем им руки.

Павел развёл руками и добавил:

— Я делаю только то, что могу.

— Стало быть, это принуждение! Почему ты не обратишься к своей родне!

— Дядюшка, мой дорогой Кшиштоф, знает также хорошо как и я, что у них нет ничего. Что продажа их доли в этой ситуации, ты сам это понимаешь, была бы расточительством.

Кшиштоф ничего не ответил и спрятал письмо в карман. Он стоял повернувшись в профиль, и его длинные ресницы отбрасывали на щеки густую изогнутую тень. Он представлялся сейчас Павлу необычайно красивым юношей и, кроме своей обходительности, очень симпатичным. Неожиданно он почувствовал в себе какую-то непонятную злость, что этот молодой человек, доброжелательности которого он добивался, искренне или неискренне — это безразлично, что этот кузен, младший на десять лет, относится к нему так чуждо и отстранённо.

Неожиданно для себя самого Павел сказал:

— Ты обвиняешь меня в особой семейной снисходительности к моему семейству. Даже представить себе не можешь, как это далеко от правды. Семейство... Пустое слово. Я никогда не имел семейства, никогда не имел семьи... Не научился так называемой общности домашнего очага, не получал от него даже крупинцы тепла... А в жизни не однажды хотел бы согреть руки озябшему человеку. Ведь руки сильнее всего мёрзнут. Становятся как лёд. Не согреешь их возле чужого огня, хоть бы это был огонь, допустим, твоего дома, более близкого мне, чем другие по причине узлов крови. Узлы крови являются той самой условной фразой, как семейные чувства. Поэтому нет смысла, Кшиштоф, отгонять меня палкой от своего огня... Я не протягиваю к нему руки, Кшиштоф... Не ожидаю от тебя даже крупинцы тепла, но напрасно ты напоминаешь мне это каждым словом и каждым жестом. Напрасно.

Он говорил, глядя в окно. Когда повернул голову, увидел вглядывающиеся в него глаза Кшиштофа, огромные чёрные глаза, в которых была то-ли боль, то-ли испуг, то-ли страдание. Смуглое лицо казалось побледневшим, а губы казались дрожащими, сдерживая какие-то слова...

Однако всё это было только иллюзией. Кшиштоф отвернулся и направился к двери. Только на пороге он остановился и с рукой на ручке произнёс:

— Всё это миражи и какие-то туманные претензии. Слишком много работаешь, и это плохо сказывается на твоих нервах.

Двери легко хлопнули, в коридоре удалялись быстрые эластичные шаги.

Павел рассмеялся кратко и неискренне. Первый раз после приезда в Варшаву он был недоволен собой. Зачем говорил этому глупому сопляку какие-то нелепые сентиментальности, зачем, к чёрту, выскочил с почти откровениями?.. Плохое состояние нервов! Болван! Никогда ещё

нервы Павла не были в таком идеальном порядке, никогда он не был в таком спокойном напряжении. Он был уверен в каждом шаге, была отмерена каждая улыбка, с аптечной точностью взвешено каждое слово.

И всё же только что он вёл себя нелепо. Виноват этот сопляк. Его оскорбительная холодность довела Павла до высшего раздражения. С каким удовольствием он до боли выкрутил бы ему руки, сдавил этого замухрышку, разможил силой своих мышц...

— Он ещё пожалеет об этом, пожалеет. Туманные претензии.. Ну, разумеется, туманные и идиотские претензии!

Во взгляде Кшиштофа он видел нечто другое, что-то странное, непонятное, но это был мираж.

— Неужели я начал испытывать галюцинации? — он улыбнулся и нажал кнопку звонка.

На пороге появился секретарь.

— Пан Холдер, прикажите шофёру, чтобы он тотчас приехал.

— Слушаюсь, пан директор.

Спустя полчаса Павел поднимался по облупившимся и скрипящим ступеням грязного дома на Хмельной улице. На третьем этаже он постучал в дверь. После продолжительной паузы услышал стук туфель и охрипший женский голос:

— И кто там?

— Я к пану Толевскому, — ответил Павел.

— Его нет.

— Но он уже вернулся?

— А если вернулся, то что?

— Есть дело.

— Ну так идите в «Италию».

— Там его знают?

— Ещё бы не знали. Целыми днями просиживает.

В кофейне швейцар осмотрел вешалки и заявил:

— А как же, почтенный, здесь. Должен сидеть во втором зале.

Павел сел и распорядился подать кофе. Он видел как кельнер подошёл к столику, занятому несколькими мужчинами, ведущими оживлённую беседу. Вскоре один из них встал и приблизился к столику Павла с вопросительным выражением лица.

— Пан Толевский, не правда ли? Я Далч. — Павел подал руку, которую Толевский с нарочитым почтением пожал.

— К вашим услугам, пан директор.

— Прошу. Садитесь.

Это был среднего роста, хорошо откормленный господин примерно пятидесяти лет, одетый довольно неряшливо, однако тщательно выбритый и с сильно подчеркнутыми усами. Он сел с развязностью светского человека и медленно подтянул штанины брюк в полоску, незаметно присматриваясь к большому бриллианту на пальце Павла.

Было очевидно, что Толевский в продаже долей исполнял роль не более чем посредника, и Павел с первого взгляда определил его положение, которое нельзя было назвать вполне благополучным.

— У меня к вам дело, связанное со сделкой, которую вы совершили с моим отцом, — сказал он. — Вы, вероятно, слышали, что после его смерти я принял руководство нашим предприятием?

— Естественно, слышал, пан директор, В кофейне обо всём услышишь.

— Ну так не скажете ли мне, с кем следовало бы поговорить о долях, проданных моим отцом?

Толевский деликатно улыбнулся.

— Я всегда в распоряжении пана директора.

— Стало быть, они находятся во владении...

— О, не в моём, не в моём, к сожалению. Где там.

— Но вы знаете в чьём?

— Не многого добьётся пан директор, если обе стороны, покупатель и продавец, оговорили полное сохранение тайны. Стало быть... сами понимаете...

Он развел руки таким жестом, словно объяснял, что ничего поделить не может, но в то же время и таким, словно всегда был готов придержать контрагента, если бы тот поверил в своей наивности.

Павел угостил его папиросой и молча присматривался к его чертам.

— Пан Толевский, — заговорил он после долгой паузы, — чем, собственно, вы занимаетесь?

— Я?... Хм...то одним, то другим, что подвернется. Разными делами.

— Посредничеством? И что оно вам даёт?

— Гроши, — вздохнул Толевский. — Сейчас такой застой. Едва связываешь концы с концами.

— Ну и как вам повезло в Кракове?

Толевский беспокойно шевельнулся в кресле и, осмотревшись вокруг, спросил дрожащим голосом:

— Откуда вы знаете, что я был в Кракове?

Павел вовремя удержался от заверения в том, что, собственно, ничего не знает. И, сделав паузу, улыбнулся:

— Кое-что слышал. Но поверьте мне, пан Толевский, что меня это пока что нисколько не интересует.

— Как следует понимать это «пока»?

— Не интересует, — продолжал Павел, — поскольку я занят другим делом, в котором вы можете мне многие вопросы прояснить и хорошо на этом заработать. Я неточно выразился — «заработать». Приобрести положение и состояние.

Толевский успокоился и пододвинулся вместе с креслом.

— К вашим услугам, пан директор.

— Кто купил доли? Если вы не доверяете мне, можете не называть имени. Пока меня интересует его положение, профессия, состояние?

— Состояние?... — поднял брови Толевский. — Это миллионерша!

— Стало быть, это женщина?

— Ну да, зачем мне играть с вами в прятки: Вензлова, сама старуха Вензлова!

Он произнёс эту фамилию как всем известную, однако видя, что Далчу она ничего не говорит, продолжил:

— Это вдова того Вензля, который ещё на модлинских поставках заработал. В молодости была, как сейчас говорят, актёркой. Но на самом деле путалась с большим размахом. Имела двух мужей, Вензел был третьим. В Варшаве её каждый знает. Бриллианты в ушах носит крупнее, чем у пана директора в перстне.

— Странно. Зачем она купила? Зачем мой отец продал ей доли?

Толевский взглянул лукаво:

— У бабы есть деньги, а люди говорят, что к святой памяти пану Далчу с давних пор питала... Кому это ведомо... Когда-то она была чертовски хороша... Довольно того, что как только она узнала, что пан Далч, то есть ваш отец, ищет покупателя на свою часть предприятия, позволила мне и распорядилась идти к нему.

— Поддерживаете ли вы с ней какие-либо контакты?

— Разумеется.

— Не знаете, как она приняла известие о самоубийстве?

— Вашего отца? Да! Даю слово чести, что баба почти обезумела. Она была уверена, что это банкротство предприятия, и что из своих ста десяти тысяч долларов не увидит ни гроша.

— Столько заплатила за доли?

— Да, — доверительно заверил Толевский и вдруг отстранился. — Но я пану директору такие разные дела раскрываю... Мне, собственно, недопустимо...

— Вы уже столько мне рассказали, что если бы я захотел за вашей спиной что-либо сделать, то и так мог бы. Однако повторяю, пан Толевский, что я не из таких, и ручаюсь за большую выгоду.

Это убедило Толевского. Он заверил, что не питает никаких опасений, что разбирается в людях, что видит, с кем имеет дело, и начал рассказывать подробно о ходе сделки и о нынешних опасениях Вензловой.

В сознании Павла всё отчётливее кристаллизовался план действий. Дело было осуществимым. Времени, правда, оставалось немного, но при соответствующих усилиях можно уложиться.

Со слов Толевского выходило, что Вензлова уже напугана. Значит остаётся довести её беспокойство до такого состояния, в котором она была бы готова продать доли за минимальную сумму. Идти к этому следует двумя путями: представить ей в наихудшем виде положение дел предприятия и продемонстрировать перед ней панику пайщиков, старающихся избавиться от своих долей.

Естественно, на всё это необходимо иметь деньги. Если дядюшку Карла не удастся надуть на те сорок тысяч — вся комбинация окажется нереальной. Нереальной — ещё не значит проигранной. Следует тогда найти другую. Однако, взвесив все шансы, можно было сохранять надежду. Даже если Кшиштоф плохо настроит дядюшку, это ещё не повод отречься. Павел уже опробовал на дядюшке силу аргументации. Собственно, он совершенно напрасно в этот раз обратился к Кшиштофу.

Сделал это скорее потому, что его тревожит холодность двоюродного брата, что он хотел некоторым образом теснее втянуть его в свои дела.

Толевский шумно размешивал сахар в кофе и время от времени поглядывал на задумавшегося Павла.

— Всё не так плохо, пан Толевский, — продолжил он в конце концов. — Это будет для вас лучшее и куда более выгодное дело чем... краковское.

— Последнее слово он произнёс с таким нажимом, словно был прекрасно проинформирован о том деле и, видя смущение посредника, смягчаясь, продолжил:

— Нам не придётся сетовать друг на друга. Это я вам обещаю.

— Я в этом уверен, пан директор.

— А я ещё крепче. Ну, загляните ко мне завтра вечером около семи.

Адрес мой знаете?

— То есть жилище святой памяти вашего отца?

— Да. И не называйте прислуге своей фамилии. До встречи.

— Моё почтение пану директору.

Павел Далч вовсе не спал этой ночью. Он до рассвета просидел за бюро. На рассвете из его комнаты раздался крикливый голос граммофона, очень крикливый, потому что своим криком он должен был покрыть треск пишущей машинки.

В восьмом часу всё было готово. Он принял почти холодную ванну, оделся и поехал на предприятие. В течение получаса просмотрел почту, отдал Холдеру указания и по внутреннему телефону связался с кабинетом Кшиштофа. Ответил голос его секретарши:

— Он болен, сегодня на заводе не будет.

Павел положил трубку и пошёл побеседовать с Яршувной.

— Добрый день, пани. Мой брат болен?

— Позвонили из дома, пан директор, что он не придёт, поскольку чувствует себя нездоровым.

— Вы не знаете, что с ним? Может простыл?

— Не знаю, пан директор.

— Прошу вас, сидите. Вы его не видели со вчерашнего дня?

Яршувна зарделась:

— Почему пан директор думает, что я могла видеться. Вчера у меня не было вечерней смены...

— О! Вы столько работаете, что иногда приходится трудиться по вечерам? — он изобразил удивление.

— Случается, пан директор.

— Мой кузен вас изнуряет. Если бы я не опасался, что он к вам ревнует, сказал бы ему, что нужно не иметь сердца, чтобы принуждать к стольким часам работы такую очаровательную крошку, как вы.

Девушка покраснела и опустила глаза.

Павел наклонился над ней и добавил вполголоса:

— Не удивлён, что Кшиштоф ревнует. Каждый раз когда вхожу сюда, он не умеет скрыть своего недовольства. Разве у вас мои визиты тоже вызывают досаду?

— О, пан директор шутит...

— Нет, нет, прошу ответить искренне! Возможно, для меня это очень важно. Ну? Вызывают огорчение?

Молча она отрицательно покачала головой.

— Э-э-э, вы отводите взгляд, — Он поморщился. — Прошу смотреть на меня. По вашим глазам я узнаю, правда ли это.

Она подняла на него сверкающие голубые глаза. Он подумал, что она хорошенькая, что либо принадлежит к категории прирождённых кокеток, либо не так уж сильно любит Кшиштофа. Для проверки продолжил:

— А не скажете ли ему, что мы тут болтаем на темы не вполне служебные?

— Пан Кшиштоф вовсе не будет спрашивать...

— А если всё-таки?.. У него с вами столько общих тайн, так мне по крайней мере кажется, хотел бы и я иметь с вами одну маленькую тайну. При этом из ревности он готов меня возненавидеть. А разве вам не важно то, что между двоюродными братьями дошло до неприязненных чувств?

— Я ничего не скажу! — горячо заверила она с такой интонацией, словно это было очевидно изначально.

— Это хорошо, — усмехнулся он, — Кшиштоф и так меня не очень любит. Вы это знаете лучше меня. Правда?

— Вот ещё, пан директор, — смутилась она, — я ничего об этом не знаю...

Павел подумал, что все обстоит иначе, и что необходимо будет взяться за выяснение этого дела. Особых трудностей он не предвидел. Девушка была достаточно наивной, но и довольно хороша, чтобы распросы в этом роде не относились к неприятной процедуре.

— Итак, до свидания, — он посмотрел на неё значительно.

— До свидания, пан директор.

Он вышел и буркнул сам себе:

— Забавная гусыня.

К телефону, как обычно в этом доме, подошёл Блумкевич. Он подтвердил, что пан Кшиштоф болен, ничего серьёзного, но лежит в кровати, зато пан президент просит пана директора к себе.

За калиткой в палисаднике начинался сад, почти до верхушек крыжовника засыпанный снегом. Дорожка, ведущая к вилле, была расчищена, как обычно для Кшиштофа, однако сейчас Павел первым оставил на ней следы.

В прихожей встретила его пани Тереза.

— Я обеспокоен, тётушка, болезнью Кшися. Блумкевич утверждает, что нет ничего серьёзного?..

— Кажется, что обыкновенная простуда. Благодарю тебя, Павел. Это действительно безумие с его стороны, ездить в такую погоду в открытом авто.

— Но Боже милостивый, почему же он не берёт директорское? Я его почти не использую. Могу ли я проведать Кшися?

— Нет, нет, — как бы обеспокоилась пани Тереза, — Может это что-то заразное...

— Пустяки, тётушка, я не боюсь.

— Впрочем, Кшись сейчас спит, и не хотелось бы его будить.

— Ну, разумеется, — смирился Павел, — а к дядюшке можно?

— Он ждёт тебя.

Пан Карл протянул для приветствия руку. Выражение его лица было спокойным, почти приятным. Рядом на ночном столике Павел увидел письмо, вручённое вчера Кшиштофу.

— Сегодня дядюшка чувствует себя неплохо, правда? — спросил он заботливо.

Больной кивнул головой. В его взгляде Павел уже не заметил былой неприязни и подозрительности. Напротив, казалось, он осматривал племянника с доброжелательным любопытством. И в голосе, когда он заговорил, уже не было пренебрежительных ноток. Он говорил о предприятии, о новых заказах, об отголосках из города, которые доносили до его ложа эхо оживлённой деятельности Павла.

Он не похвалил ни единым словом, однако в его предостережениях от излишней предприимчивости, в его замечаниях и комментариях звучали нотки уважения.

Павел отвечал скромным согласием, что ещё многое предстоит сделать, что пока ещё он недостаточно знаком со сферой, однако в любом случае надо констатировать укрепление мнения хозяйственных сфер о надёжности основ существования фирмы.

При этом он улыбнулся, когда форма, в которой всё это выговаривал, живо напомнила ему стереотипное коммунике любых международных переговоров.

«Однако дипломатия имеет свои преимущества», — подумал он.

Пан Карл взял в руки письмо банка и глазами пробежал строки машинописного текста, спросил о некоторых подробностях, после чего заявил, что в принципе не разделяет мнения Кшиштофа, и что при надёжных гарантиях готов прийти Павлу на помощь в урегулировании долга.

— Значит Кшиштоф был против этого? — небрежно спросил Павел.

— Это не имеет значения. Я переубедил его. Кшиштоф, видишь ли, ещё не имеет достаточно опыта и всё воображает себе слишком упрощённо.

— Создаётся впечатление, что скорее он чувствует ко мне какую-то непонятную неприязнь.

Больной опустил это замечание и вернулся к обсуждению февральского платежа.

По окончании часовой беседы Павел, выходя, наткнулся на Блумкевича.

— Хорошо, что встретил вас, — сказал он. — Узнайте, не спит ли пан Кшиштоф, поскольку я хотел бы с ним увидеться.

— Он болен, пан директор. И поскольку болен, никого не принимает.

— Однако я должен с ним побеседовать. Скажите ему, что речь идёт о заявлении сроков сверлильного станка для Ченстохова и об отпуске для инженера Ясиньского. Его жена...

— Извините, пан директор, но я тоже не имею доступа. Лучше всего обратиться к пани председателю. Если вы изволите подождать, я сейчас приглашу...

Павел кивнул и сел на канapé, обтянутое белым чехлом. Вся мебель в салоне была покрыта чехлами, что производило холодное, нежизненное впечатление. За многие годы тут ничего не изменилось. Дядя с женой издавна жили отдельно от мира и от людей. Может быть именно в чужеродной атмосфере этого дома следовало искать причину странного характера Кшиштофа?.. Он отговаривал отца от выплаты февральского взноса. То ли это хитрость, то ли попросту какая-то настойчивая неприязнь?.. Он лояльно беседовал о текстиле, стало быть верил, по крайней мере Карл говорил о том, будто Кшиштоф вовсе не подвергал никаким сомнениям. Стало быть это не подозрения, а обыкновенная неприязнь...

— Глупый сопляк. Изображает болезнь, поскольку у него в горло не лезет сообщение о согласии отца. Ну подожди, неженка, я ещё научу тебя ходить по ниточке.

Появилась пани Тереза, тихая в своих бесшумных туфлях, с неизменной полуулыбкой на свежем и огорчённом лице.

— Хочешь, Павел, о чем-то спросить Кшиша?

Павел изложил ей обе проблемы, в которых без Кшиштофа он не мог принять решения, поскольку обе относились к исключительной компетенции технического директора. Спустя несколько минут она вернулась с ответом: сверлильный станок для Ченстохова будет изготовлен самое большее с десятидневным опозданием. Ясинскому же можно предоставить отпуск максимум на три дня.

— Было бы желательно, тётушка, — прощаясь заметил Павел, — установить в комнате Кшиштофа телефонный аппарат. Если позволите, я пришлю мастера.

— Нет, нет, не в этот раз, — категорически возразила старушка. — Это можно будет сделать, когда Кшиштоф поправится.

— Тогда уже не будет необходимости. Разумеется, как вы пожелаете.

На дворе начался снегопад. Большие мокрые хлопья щекотали нос и щёки, густо покрывали мех воротника. Дорожка снова была гладкой, без единого следа.

«Пустырь, — подумал Павел. — Замкнулись в полном безлюдии. Однако так не поступают без веских причин! В этом должна заключаться какая-то тайна!»

Эта мысль в течение дня превратилась в уверенность и не давала ему покоя. Он решил добраться до тайны любой ценой не только как до козыря, каковым всегда является обладание любой тайной противника, но и из спортивной страсти игрока. Если бы не нагромождение дел, поглощающих сутки почти без остатка, он мог бы взяться за это энергичнее. Пока что значительно важнее было одолеть Вензлову...

Частное детективное бюро в течение недели предоставило Павлу исчерпывающую информацию о Толевском. По профессии землемер, исключённый из союза за злоупотребления, дважды замешанный в шантаже, состоит на содержании жены, овдовевшей после разбогатевшего лавочника, ведёт различные не слишком чистые дела. Занимается посредничеством в ростовщических ссудах. Что делал недавно в Кракове, установить было трудно. Во всяком случае проживал там у известной скупщицы краденого Керминовой, а в «Эспланаде» его видели с подозреваемым в контрабанде владельцем парикмахерской Липаником.

— Словом, — закончил свой отчёт агент, — если уважаемый господин пожелает доверить ему больше чем пять злотых, я не советую.

Павел был доволен. При ближайшем разговоре с Толевским слегка и мимоходом он дал ему понять, что превосходно ориентируется в его интимных делах, а когда хитрец хотел отложить свой визит к Вензловой и оправдывался тем, что он небрит, Павел бросил нехотя:

— Ну, бритьё не займёт у вас много времени. Варшавские парикмахеры бреют не хуже, чем почтенный мистер Липаник в Кракове.

Толевский побледнел и сглотнул слюну.

— Мы должны быть в согласии и идти друг другу навстречу, мой дорогой пан Толевский, — продолжал Павел. — Вам кажется, что вы большего добьётесь на затягивании дела. Поверьте, что я лучше знаю, что и как следует делать. И вы на этом больше выиграете. Я не хочу вас обманывать и не имею для этого возможности. Но и меня вы не надуете. Поскольку я не принадлежу к тем, кто позволяет оставить себя в дураках. А?

Толевский посмотрел на широкие плечи, на серые пронзительные глаза и узкую линию губ Павла и развёл руками:

— Пан директор, Богом клянусь, разве я хоть что-нибудь подобное...

— Ну, стало быть, делайте своё дело.

И Толевский делал. Работа началась с разжигания беспокойства Вензловой. Старая актриса хорошо разбиралась в людях, а в Толевском особенно, так что не позволила бы взять себя абы чем. Но поскольку не раз через него она предоставляла ссуду под спекулятивный процент, не удивилась, когда посредник явился к ней от имени пана Карла Далча с предложением предоставить ссуду более чем на десять тысяч под любой процент, лишь бы быстро.

Эта спешка и небольшая сумма удивили Вензлову. Правду сказать, она допускала, что самоубийство Вильгельма Далча было не безпричинным, но не думала, что дела обстояли так плохо. Стало быть, она известила Толевского, что охотно даст займы, и однако просит его изучить ситуацию. А поскольку денег у Толевского не было, он получил двести злотых на расходы, и только тут вспомнил, что находится в сердечной дружбе с паном Здиславом Далчем, и что от него можно многое узнать. Долго ждать Вензловой не пришлось. Уже на следующий день Толевский принёс оригинал ссудного договора с манчестерским банком а также несколько писем, адресованных Предприятиям Братьев

Далч и К и угрожающих весьма неприятными последствиями. Для прочтения английского договора был тотчас приглашён некий господин, реэмигрант из Америки, сверх того, что Вензлова и сама хорошо понимала.

Разумеется, о десятках тысяч не могло быть и речи. Зато Вензлову просто в бешенство привела наивность Толевского, который предложил ей другую сделку, а именно: один из совладельцев фирмы, пан Яхимовский, хотел бы продать свою долю. Поскольку на примете у него были другие дела, убеждал он Толевского, возникала спешка. Поэтому он готов был продать свою долю за три четверти стоимости.

На следующий день Толевский сообщил, что пан Яхимовский понимает — спешка даром не обойдётся, и готов к дальнейшим уступкам. На негодование Вензловой Толевский скромно заметил, что его стараниями Вензлова заработала хороший барыш. Цену Яхимовского можно сбить очень низко, поскольку все говорят, что там угрожает банкротство.

Прямым следствием этого замечания был долгий приступ спазматических рыданий. Толевский узнал, что является последним идиотом, кретином, остолопом, что он её разорил, что из-за такого глупца как он ей придётся по миру идти, что если бы не Толевский, она никогда не купила бы долей у старика Далча и т. д.

Только в одном она признала правоту Толевского: что о приближающемся банкротстве не следует никому говорить, поскольку ещё может найтись кто-то, кто попадёт в просак и выкупит доли, кто-то, кому можно будет их всучить пусть даже и с большими потерями.

— Стало быть, баба будет молчать? — спросил Павел, выслушав подробный доклад.

— Это непременно, пан директор. Как видите, я всё делаю, хе... хе... с правилами искусства.

— Вы не пожалеете об этом.

— Если получится...

— Должно получиться, и вы станете обладателем изрядного пакета. Ещё одно. Читает ли Вензлова газеты?

— Разумеется, пан директор. А что?

— Ну, впрочем бюллетеней различных агенств она точно не читает?

— То есть таких, как, например, Экономический бюллетень Восточного Агентства?

Павел кивнул, открыл бюро и достал из ящика несколько листков, отпечатанных на пишущей машинке.

— Коммюнике Польского Экономического Агентства, — прочитал заголовок Толевский. — Не знал, что такое существует...

— Поскольку не очень-то существует, — усмехнулся Павел. — Посмотри абзац, обведённый красным карандашом.

Это была информация о шаткости одной из старейших промышленных фирм. Предприятий братьев Далч. Кризис и опрометчивое управление довели до краха это некогда прекрасное предприятие.

Последние проведенные переговоры с заграничными совладельцами снова привели к разногласиям. Приведение фирмы под судебный надзор ожидается в скором времени.

Толевский обнажил пожелтевшие зубы:

— Могу показать это завтра бабе?

— Завтра. Но перед этим позвони мне. Ну а сейчас убирайся тем же путём, через кухню, поскольку меня уже ждут. Срочно. Переселился в «Бристоль»?

— Со вчерашнего дня, пан директор.

— Чёрт, справь же себе приличную одежду. Через несколько дней ты должен выглядеть как буржуа.

Он хлопнул дверью и направился в салон Галины, где уже долгое время ожидал Яхимовский.

Павел положил перед ним два листка бумаги, исписанных ровным, разборчивым почерком покойного Вильгельма Далча.

— Нашёл? — спросил он спустя минуту.

— Да. Некий Толевский.

— Что ещё?

— Разыскал его. Разумеется, не лично. Похоже, что ловкач.

— Предприниматель?

— И да, и нет. По большей части капиталист. Тут продал, там купил. Понимаешь? Уверяет, что у него нюх на сделки, знает, где что происходит. Живёт в Катовицах, но на днях должен быть в Варшаве.

Яхимовский щёлкнул пальцами.

— Ты сам, Павел любимый, прости мне откровенность, запутал и затруднил наше дело. Благодаря тебе завод снова имеет превосходную репутацию и этот... ну, Толевский, пожалуй не такой идиот, чтобы позволить сбить цену.

— На всё есть свои методы, — осторожно заметил Павел.

— Я их не знаю.

Павел нахмурил брови и прошёлся по комнате:

— У меня есть одно преимущество, — говорил он как бы сам с собой, — в том, что только мы знаем как обстоят дела на фирме. Если у этого Толевского довольно сообразительности, он не поверит репутации, пока не увидит фактические данные. И, собственно, нет ничего проще, как одним маленьким трюком ему эти данные предоставить.

— Не понимаю, — нетерпеливо дёрнулся Яхимовский.

— Совсем просто. Дать ему доказательства, что с предприятием плохо, что крысы бегут с тонущего корабля.

Яхимовский прикусил губу и высоко поднял брови. Черты его лица выражали напряжённую сосредоточенность. Наконец он догадался:

— Ты говоришь о предложении ему долей Далчев?

— Да. Это единственный и самый лучший путь. Самого предложения достаточно, чтобы сбить цену.

— А если недостаточно? Если этот тип соблазнится?

Павел улыбнулся. Кто в наше время верит в добрые дела. Кто прельстится приобретением долей промышленного предприятия вообще, и

в частности такого, коммерческий директор которого хочет избавиться от своей доли за любую цену? Нет, такого дурака сегодня не найти!

Это убедило Яхимовского, однако вызвало новые возражения:

— Допустим. Однако в то же время ты обратишься к нему с предложением выкупить все доли, не правда ли?

— Да, через адвоката и с вполне очевидной нерешительностью.

— Это неважно. Но представь себе, что этот клиент почует, откуда ветер дует, что разберётся в ситуации, для проверки рискнёт купить доли, тем более, что на этот раз рискует мелочью. Что тогда?

Павел пожал плечами. Он не верил в такую возможность. Если бы всё же могло дойти до этого, ничего страшного. И без того всё вернётся в их руки, с той лишь разницей, что по значительно более низкой цене.

Он развернул перед Яхимовским план, поражающий, правда, очевидной неправдоподобностью, но разве самой большой неправдоподобностью не было согласие пана Карла на оставление руководства в руках Павла, без проверки, что никто из наследников умершего не имеет ни малейших прав на предприятие. Сейчас речь шла о возвращении этих прав, о возвращении имущества. Дело стоило того, чтобы рискнуть.

Павел дал понять шурину, что если тот не хочет рисковать собственными долями, всегда может подменить их долями Ганта, на которые у него есть доверенность. Гант не слишком зависит от этого. Даже в случае фиаско ему легко объяснить, что была паника и надо было продать его доли за бесценок, поскольку дело выглядело так, что завтра за них уже ничего не получишь.

Наблюдая исподлобья за выражением лица Яхимовского, Павел видел, что аргументы не достигают цели. Тогда он начал говорить о другой стороне медали. Если получится выкупить всё у Толевского, а получиться должно, вся заслуга в этом и все риски будут исключительно на стороне Яхимовского и Павла. Они дело осуществят, они дадут деньги, они подвергнут себя вполне вероятным неприятностям.

— Мы вдвоем и только мы. Согласись, что это должно вызвать вопрос: с какой стати кто-либо кроме нас, хотя бы и близкий нам, должен разделить с нами результат?..

Яхимовский достал платок и вытер с лысины пот. На его лице цвета швейцарского сыра выступили кирпичного цвета пятна.

— Впрочем, не будем ловить рыбу впереди невода, — продолжал Павел. — Для этого у нас будет достаточно времени позже. Полагаю, что мы сумеем договориться. Как думаешь?

— Думаю, что ты чертовский игрок.

Павел скромно улыбнулся:

— Мой дорогой, на Западе я научился многим вещам. Ты сказал «игрок». Твоя правда. Я игрок! — он понизил голос. — А знаешь ли ты, что в наше время кто не играет, тот тем самым обрекает себя на поражение, поскольку рядом с ним растут миллионы, а он не перестаёт быть мелкой рыбёшкой! Когда-нибудь я расскажу тебе, как эти дела делаются в текстильной промышленности! Слушай! Я не люблю попусту

утруждать мозги и тратить слова. Решайся. Я не принуждаю тебя к этому партнёрству. Если откажешься, не буду сожалеть об этом. Я отдаю себе отчёт в том, что есть натуры неспособные к большой игре. Идёшь со мной?

Яхимовский вытаращил глаза, и Павел почти физически ощутил на своём лице его отчаянный изучающий взгляд, в котором одновременно отражались как непреодолимое желание, так и боязнь всё поставить на одну карту. Обильный пот стекал по его вискам.

— А... много ли потребуется... вложить наличных? — пробормотал он.

— Нет, — легко сказал Павел. — Пока что я располагаю сорока тысячами.

— Злотых?

— Долларов, разумеется. Допустим, что сумма не превысит шестидесяти. А говоря между нами, доли стоят двести с хорошим хвостиком.

— Я, — сглотнул слюну Яхимовский, — к сожалению, не располагаю двадцатью.

— Тогда сколько?

— Десять, пусть будет двенадцать. Видишь ли, я не хотел бы ничего продавать.

— Разумеется, — возмутился Павел. — Впрочем, если мы не можем собрать шестьдесят, должны купить за столько, сколько есть.

Он улыбнулся значительно, а Яхимовский разразился отрывистым хохотом, при этом он крутился в кресле и потирал руки.

Перед прощанием Павел подчеркнул необходимость сохранять полное молчание о сделке.

— Это понятно, — заверил Яхимовский, надевая шубу, — И знаешь, Павел, у меня какое-то предчувствие, что у нас всё получится.

— Должно получиться.

Он закрыл за ним двери, коротко усмехнулся и произнёс:

— Болван.

Глава V

Марихну сильно беспокоила болезнь Кшиштофа. Беспокоила тем сильнее, что отчасти она произошла по её вине. Напрасно она упрямылась тогда, чтобы ехать в машине. В кино было жарко, поэтому он простудился. В первые три дня она ждала от него открытки либо звонка. Однако он, видимо, был сильно болен, поскольку она не допускала, что рассердился на неё.

Попросту не было из-за чего. Она всегда старалась быть для него самой нежной, без возражений сносила его причуды, не докучала никакими расспросами. Она не выбирала этой тактики умышленно. Это пришло само собой, поскольку было в её натуре. Прежде она думала, что таким образом сумеет приблизить к себе Кшиштофа, поможет ему за-

быть о той какой-то странной драме, которая его угнетает, и которую он всегда окружал тайной. В конце концов она предоставила проблемы их собственному течению, поскольку перестала размышлять над своей собственной ситуацией.

На размышления не было времени. Она была слишком занята днём. Однако сейчас после служебных, и без того почти праздных часов, вся вторая половина дня превратилась в мучительную пустоту, которую ничем не удавалось заполнить. Общение с Кшиштофом отстранило её от всех прежних знакомых и приятельниц. Она не пыталась сблизиться с ними снова, ощущая их неприязнь и, возможно, не столько своё превосходство, сколько убожество того, что они могли ей дать после утончённого, умного и необычайно интеллигентного Кшиштофа. Зачастую Марихна вовсе его не понимала, однако её переполняла своего рода гордость уже тем, что он делился с нею своими мыслями, что читал ей стихи. Она не знала ни одного иностранного языка, однако часами с невозмутимым интересом слушала Шелли, Пушкина, Варлена, которых он был вынужден ей переводить.

Сейчас маленькие томики, переплетённые в коричневую замшу, лежали молча. Ключом к ним были позолоченные инициалы Кшиштофа, но и те были немые. Вообще весь его мир без него был для неё закрыт. Его мир — это мир прекрасного, утончённого и глубоких мыслей, таких глубоких, что трудно было их понять, таких запутанных, что не возможно было докопаться до сути. Когда она ему однажды это сказала, он назвал свой мир лунным, а на следующий день принёс стихи Тувима и прочитал один, начинающийся со строки, которую она хорошо запомнила:

*Там всё искусство или книги!
Там женщины нездеишней неги
Блуждают, дремою томимы, —
Сомнамбулические примы¹.*

Он сказал, что это его мир, лунный, нереальный, мёртвый, что он лунатик жизни, трагикомическая фигурка из стихов Бёрдслея, а когда она спросила, не без испуга, действительно ли он ходит по крышам, он рассмеялся и заверил, что никогда не сходит на землю и что иногда хотел бы упасть, лишь бы однажды оказаться на ней.

Он такой странный. Есть в нём что-то холодное и чужое, хотя он проявляет к ней столько тепла и доброжелательности, и даже иногда ревности. Ведь только ревностью можно было объяснить его странное поведение, когда она имела неосторожность сказать, что Павел Далч интересный мужчина. Он сам начал тогда находить удвоюродного брата различные достоинства и требовал, чтобы она признавала его справедливость, что это действительно интересный мужчина, что у него фигура победителя, что у него зубы как у волка, что его глаза сверкают сталью, что в голосе его есть нечто, что должно захватывать женщин, и

¹ Ю. Тувим. «Сатира на луну» Пер. А. Шараповой

все такое прочее. Разумеется, она разгадала хитрость Кшиштофа и всему перечила, даже тому, что ей могут нравиться блондины. Несмотря на это он очень рассердился и даже обидел её ироничными замечаниями о наивных провинциальных самочках.

Когда она расплакалась, он расцеловал её и был уже в таком дружеском расположении, что она начала жалеть о том, что нет на ней самой красивой комбинации с тюльпанами, но напрасно, поскольку снова ни до чего не дошло. Как обычно, всё закончилось поцелуями и нежностями, которые распяляли её до головокружения и усиливали голод настоящей любви.

Понемногу в сознании Марихны начала подниматься жалость к Кшиштофу, и сейчас, когда она несколько дней не видела его, сказывалась всё сильнее. Собственно, её положение было диким и ненатуральным. Она ни невеста, ни возлюбленная, ни даже приятельница Кшиштофа, поскольку не могло быть и речи о дружбе там, где простирается такая большая разница интеллектуального уровня. И всё же она чувствовала себя стеснённой, будто бы обязанной быть преданной, хотя сама не знала почему.

Сейчас она довольно часто виделась с инженером Оттманом. Как-то так совпало, что химик ездил на завод тем же трамваем, и видимо в последнее время меньше думал о работе, потому что не раз выходил на третьей остановке и провожал Марихну до ее дома. Она любила его, хотя как мужчина он ей совсем не нравился. С ним приятно беседовать, да, значительно лучше, чем с Кшиштофом. Всё же Оттман тоже был интеллигентным и образованным, но как-то не давал ей ощущать своего превосходства, был более свойским. Может потому, что происходил из бедной семьи, а может просто старался быть деликатным.

Он рассказывал ей о вещах очень умных, например о разных химических изобретениях, над которыми он работал, но рассказывал так, что она всё понимала. Вообще она понимала его целиком, с его вежливостью, с его добротой, с простотой, доходящей до беспомощности, и с той несмелостью, из-за которой на заводе о нём говорили:

— Этот славный Оттман.

Беседа с ним, она никогда не стеснялась напрямик излагать свои мысли. Знала, что если даже наговорила самой большой чепухи, он не станет над ней смеяться, как это делал Кшиштоф. С ним беседовалось легко, по-свойски. Она доверяла его голубым глазам, и даже этим таким некрасивым у мужчины розовым щекам, и некрасивым рукам, всегда обожжённым различными химикатами. Она никогда бы не решилась поцеловать эти руки, как целовала изящные, неестественно красивые руки Кшиштофа. Но решительно требовала рукопожатия Оттмана.

После Трёх Королей¹ внезапно наступила оттепель и улица Бема утонула в отвратительной грязи. Они как раз возвращались с завода, и Оттман снисходительно пенял Марихне за то, что она не надела боты,

¹ Праздник Трёх Королей — 6 января, Богоявление. В этот день на востоке появляется звезда (Вифлиемская), по которой волхвы узнали о рождении Христа. У православных — Крещение Господне). — Прим. ред.

когда на полном ходу их обогнал директорский автомобиль, большая тёмно-зелёная машина. Из-под колёс хлынул поток чёрной воды и грязи, обрызгав Оттмана с головы до ног, а Марихне — новенькие чулки.

— О-ля-ля! — закричал беспомощно Оттман.

— Боже, как мы выглядим.

Автомобиль остановился в нескольких десятках шагов впереди и внезапно начал двигаться задним ходом. Когда он поравнялся с ними, открылась дверца, и директор Павел Далч высунул голову:

— Прошу вас принять мои глубокие извинения за невнимательность моего шофёра, — сказал он, приподымая меховую шапку. — Сильно вас обрызгали?

— О, пустяки, пан директор, — улыбнулся Оттман.

— Во всяком случае, вы не можете в таком виде идти по городу. Я отвезу вас. Прошу.

— Однако, пан директор... Я действительно... Запачкал бы вам всю машину.

— Садитесь скорей. Ну же. Подайте мне руку. Хоп!

Марихна в сущности была довольна. Чулки — приманка, зато у неё появилась редкая возможность проехать в лимузине рядом с генеральным директором. Как любезно он это сделал...

— Куда отвезти вас? — спросил он.

— Я живу в Лешне, — ответила Марихна

— А пан инженер?

— О, я далеко, на Кошиковой.

— На Кошикову, — бросил директор шофёру и, повернувшись к Марихне, сказал. — Я должен вас отвезти, но прежде отвезём более пострадавшего.

— Как вам будет угодно, пан директор.

— Дама не настаивает на первенстве?

— Ещё чего!

— Ну, инжинер, благодарите даму, — он улыбнулся. — Ну, как, вы уже получили те пробы из термического цеха?

— Они уже в работе.

— Превосходно. Вот и Кошикова. В каком номере вы живёте?

— В тридцать седьмом.

Автомобиль остановился, Оттман попрощался, поблагодарил и вышел.

Автомобиль развернулся.

— Действительно, пан директор, я могла бы вернуться трамваем. Доставляю вам столько хлопот...

— Почему вы не подумали, — улыбнулся он ей, — что своей компанией доставляете мне удовольствие.

Она глянула на него искоса и подумала, что Кшиштоф ничего не преувеличил. Павел Далч должен нравиться женщинам. Она ответила с тенью кокетства:

— Куда мне, пан директор, вы на женщин вовсе не обращаете внимания...

— Я?.. Из чего вы сделали такой вывод?

— Вы такой серьёзный.

Он задумался. Она выглядела так, словно доставила ему огорчение, и не знала, что следует сказать. Собственная отвага так удивила её. Ещё несколько месяцев назад любой директор, а генеральный тем более, был для неё чем-то страшным и недостижимым. И только флирт с Кшиштофом добавил ей смелости.

— Вы правы. Я серьёзный. Поэтому не могу нравиться женщинам. Правда?

— И вовсе нет! — протестовала она.

— Вы не находите?.. Впрочем, для вас я могу не быть серьёзным. Специально для вас. Очевидно это у нас семейное.

— Серьёзность?

— Нет. Симпатия к вам.

Марихна покраснела до корней волос.

— Не хотел вас задеть, — сказал он мягко, — Прошу не обижаться, но для меня не является тайной, что мой двоюродный брат влюблён в вас.

Машина остановилась перед поперечной улицей, забитой грузовыми повозками.

— Скажите, вас Кшиштоф сильно ревнует? — он слегка наклонился к ней. — Не вызовет меня на поединок за то, что я ухаживаю за вами?

— Вы за мной вовсе не ухаживаете, — пробормотала она несмело.

— Напротив. Ухаживаю со всей преднамеренностью. Хочу вам понравиться. Сразу. Ян, — сказал он громко шофёру, — На Третий Мост... Немного пройдемся. Хорошо?

— Как вам будет угодно, пан директор...

— Прошу не величать меня директором. В эту минуту я не являюсь вашим начальником, а всего лишь товарищем по прогулке. А может вы голодны и очень спешите на обед?

— Нет.

— Стало быть, вам дела нет, что я хочу вам понравиться?

— Вы шутите.

— Нет, не шучу. Кшиштов может волочиться за вами, этот химик может выкатывать на вас глаза, почему бы мне вас не выбрать? Вы очень красивы и очень молоды. Вы берёте меня этим. Это правда, что я не волокита, но всё же хорошо разбираюсь в женщинах. Извините, что выложил это так неуклюже, без цветочков, без васильков, без сладких словечек. Это не моя специальность. Как вас зовут?

— Марихна... то есть Мария... — сказала она не поднимая глаз.

— Мне нравится это имя, — он кивнул. — Марихна... приятно звучит. Итак, что вы на это скажете, панна Марихна?

Она молчала совершенно смущённая. Ещё никто никогда не разговаривал с ней таким образом. Не могла же она вот так, с места сказать, что давно, с первого взгляда он понравился ей значительно больше, чем Кшиштоф и все другие мужчины... и сейчас, хотя в его поведении было что-то шероховатое, он показался ей ещё более интересным.

— Скажите мне: ты слишком дерзок, приятель, и это не в моём вкусе... Когда я услышу от вас это, перестану вам докучать.

— Но я так не скажу, — выдавила она из себя, запирая и отпирая сумочку.

— А как вы скажете?... Вы влюблены в Кшиштофа? — спросил он неожиданно.

— Почему пан директор спрашивает... я в самом деле... — она прикусила губы и отвернулась. Выглядела обиженной. Расспрашивает её словно следователь. Она не обязана исповедоваться перед ним, то, что он генеральный директор, ещё не даёт ему права глумиться...

Вдруг она ощутила его руки на своих и услышала вежливый, чуть ли не ласковый голос:

— Пожалуйста не гневайтесь, пожалуйста не сердитесь на меня. Я знаю, что грубоват, что доставил вам огорчение, но пусть панна Марихна примет во внимание, что даже такие грубые люди могут испытывать... ревность.

Он поднёс её руку к губам и поцеловал.

— Ну, мир? — спросил он с улыбкой.

Она посмотрела на него. У его серых глаз был стальной оттенок, во всей фигуре его было что-то привлекательное.

— Я вовсе не сержусь, просто...

Машина остановилась перед её домом. Он выскочил и помог ей выйти.

— Премного благодарю вас за приятную компанию, — сказал, целуя ей руку, — и прошу обо мне чуточку помнить. Хорошо?

— Хорошо, — она кивнула и вбежала в ворота, словно убегала от него.

Это событие взволновало её чрезвычайно. Весь вечер она ничего не делала, только думала о Павле Далче и о его поведении в автомобиле. Насколько могла понять, не подлежало сомнению, что она сумела произвести на него положительное впечатление. На заводе все говорили, что на женщин он вовсе не обращает внимания. Не случайно сначала отвёз Оттмана... Сколько раз он заходил в кабинет Кшиштофа, всегда заговаривал с ней и оказывал ей особое расположение.

Сначала она думала, что это из-за расположения к Кшиштофу. Однако теперь знала, что очень понравилась ему. Не знала только, что из этого получится, не знала как должна вести себя с ним, ну и с Кшиштофом. Во всяком случае Кшиштофу обо всём этом она не обмолвится ни словом.

Засыпая, она пришла к убеждению, что судьба человека бывает удивительной, и что никогда не знаешь, как сложится жизнь. Стало быть, лучше всего положиться на волю случая.

Утром после пробуждения всё вчерашнее происшествие показалось ей чем-то фантастическим, каким-то случайным капризом Павла Далча, который уж точно сам забыл о нём... Напрасно при каждом открытии дверей кабинета она отрывала взгляд от машинки. Он не пришёл. Во время обеденного перерыва она встретила его в коридоре. Он

разговаривал с начальником бухгалтерии и вовсе её не заметил. Был какой-то угрюмый и грозный.

После трёх она нарочно задержалась с уходом. Под окнами стоял лимузин директора, однако он не выходил. Домой она вернулась одна, поскольку и Оттмана не было. Она читала стихи, не в силах уловить их смысл, в конце концов расплакалась, завернулась в тёплую шаль и так проси...¹

...фонировать либо прислать хотя бы несколько слов, свидетельствующих о том, что помнит. Это очень плохо с его стороны.

— Панна Марихна, чай на столе! — раздался голос хозяйки.

— Уже иду.

В тот миг, когда она поправляла волосы, в прихожей зазвонил телефон.

— Вас какой-то господин, панна Марихна, — крикнула хозяйка.

«Кшиштоф! — подумала Марихна. — Как это хорошо! Может придёт...»

Однако в трубке прозвучал низкий чарующий голос Павла Далча:

— Добрый вечер милая коллега. Зваоню, чтобы узнать, что вы делаете?

— Ах... это вы...

— Вы удивлены?

— Не ожидала, — произнесла она так, словно говорила: «Как же это прекрасно, что вы позвонили.»

— Это плохо. Вы обо мне забыли...

— О...

— Вы уже ужинали?

— Уже, — соврала она, сама не зная зачем.

— Это жаль. Поскольку, видите ли, я голоден, но не меньше жажду увидеть вас, вот и подумал, что хорошо было бы съесть ужин вместе. Хм... Не сжалитесь ли над отшельником?

— Я в самом деле не знаю, — сказала она и заметила в зеркале своё улыбающееся и зарумянившееся лицо.

— Стало быть, я могу выезжать. Прошу быстренько одеться, через десять минут заеду и буду сигналить вниз. Вы услышите?.. Впрочем, и это излишне. Пунктуально через десять минут жду.

Прежде чем она успела что-нибудь ответить, он положил трубку.

— Тра-ля-ля, тра-ля-ля, — запела Марихна и быстро начала одеваться.

— Чай, панна Марихна!

— Благодарю вас, но я решила идти...

Вдруг ей пришло в голову, что это бессовестно с его стороны, так распоряжаться ею. Он директор, но это ещё не даёт права. Собственно, она не обязана идти. Что же он себе воображает, что едва соизволит поманить пальцем... Она бросила взгляд на часы и торопливо начала

¹ Следующая строка отсутствует во всех изданиях. — Прим. издателя.

надевать наряд, тот самый, спроектированный Кшиштофом. В нём она красивее.

Вниз она сбежала на несколько минут раньше. Налетел сильный северный ветер, и её лёгкое пальто показалось невесомым. Она высматривала тёмно-зелёный лимузин, поэтому не заметила подъехавшего такси. Только когда открылась дверца, сориентировалась, что это он.

Не снимая меховой шапки, он поцеловал её в перчатку и помог сесть.

— Что вы обо мне подумали, — заговорила она, когда машина тронулась.

Он улыбнулся:

— Прежде всего подумал, что вам холодно.

Откинув половину своей шубы, он укутал ей ноги.

— Так теплей?

— Но вам будет холодно.

— Это зависит от вас.

— От меня?

— Ну да. Если Панна Марихна будет доброй и милой со мной, о холоде не будет и речи. Но как же можно в такой лёгкой палетке...¹ 2 Надо будет что-то с этим предпринять... Поужинаем в «Бристоле». Вы любите «Бристоль»?

— Я не была там ещё ни разу.

— Мне нужно уладить там небольшое дельце, но это не займёт много времени.

Уже в холле её окружило приятное тепло. В зале ресторана было ещё почти пусто. Они заняли столик в дальнем конце зала.

— Прежде всего мы должны согреться, — сказал он кельнеру, — адский холод.

— Желаете заказать коньячку? Лосось? Икра?..

— Главное быстрее.

— Я не буду есть, — отодвинула тарелку Марихна, — я уже ужинала.

— Не настаиваю, но всё же вы перекусите после коньяка!

Она никогда ещё не ела икры. Вкус был превосходен. С завистью смотрела она на спутника, который бесцеремонно поглощал её большими порциями. Она так не могла, коль скоро уже отужинала. В конце концов позволила себя уговорить, когда была попросту не в состоянии восторжествовать над своим аппетитом, а закуски это всё же не еда. Лосось, селёдка в сметане, салат с птицей, сардинки... А до того янтарный, пахнувший вином и такой крепкий коньяк... Кшиштоф каждый раз по-другому заказывал ужин. Бульон с яйцом, какой-то индюк, пломбир и белое вино...

У Марихны уже слегка кружилась голова, когда подали ряпушку, однако она была уже не голодна и вовремя вспомнила, что хотела всего лишь составить компанию: «Он готов подумать, что я голодна...»

¹ Палетка — летнее пальто. — Прим. пер.

За соседний столик сел какой-то господин. Толстоватый, лысый, с сильно вычерненными усами. Несколько раз он с любопытством взглянул на неё, а когда её спутник посмотрел на него, встал и поклонился ему с почтением и галантностью старого актёра.

— Кто он такой? — шёпотом спросила Марихна.

Павел Далч небрежно махнул рукой:

— Так себе человек. Собственно, дело у меня к нему. Ну, стаканчик вина, панна Марихна.

Спустя минуту он извинился перед ней и перешёл за соседний столик. Она не чувствовала себя задетой этим. Приняла как должное, что крупный промышленник устраивает свои дела в публичных местах, что дела эти не дают ему спокойно ужинать. Такое она не раз видела в американских фильмах.

Толстоватый господин в ответ на его приветствие встал и вёл себя так, что было очевидно: он зависит от него.

Они говорили вполголоса, до Марихны всё же долетали отдельные слова и некоторые фразы, произнесённые с больши нажимом. Павел Далч сидел к ней спиной и его голос сливался с низким глубоким гулом. Широкие плечи, высокая крепкая шея над ними и красиво очерченная линия головы с гладкими светлыми волосами не позволяли ей оторвать взгляд. Зато тот, с подчернёными усами, каждое слово произносил так, словно выпускал их в свет. Движение его губ назойливо напоминало Марихне курицу, снёшую яйцо. Она улыбнулась своему сравнению и выпила вино. Оно было холодным и обладало сильным запахом.

За соседним столиком разговаривали видимо о заводе, поскольку несколько раз звучала фамилия директора Яхимовского, перичём посетитель делал удовлетворённую мину и щёлкал пальцами с явным удовлетворением. Упоминали о какой-то бабе, о долях Гента, о каких-то больших суммах в долларах, о процентах, о регенции...

У Марихны всё путалось в голове. В конце концов она слышала только голос Павла Далча. Он говорил таким тоном, словно отдавал распоряжения, потом достал из кармана толстую пачку денег и вручил их под столом господину. Спустя минуту встал и вернулся за столик. Его улыбка, казалось, выражала удовлетворение.

— Извините, прелестная коллега, за моё отсутствие, — произнёс он искренне.

— Ну, я была бы огорчена, если бы помешала...

— Где же эти куропатки? — крикнул он кельнеру.

Позднее подали десерт. Он шутил и смотрел на неё так, что она зарделась, наконец сказал:

— У меня сегодня хороший день. Это надо отпраздновать шампанским.

— Вам удалась какая-то сделка?

— Вы угадали, моё милое создание, но говорить об этом не нужно.

Он взял её руку и погладил так, как гладят кота.

— Панна Марихна любит меня хоть чуточку?..

Выпитый алкоголь подействовал. Она стала смелее. Кокетливо наклонила голову и спросила:

— А вас это интересует, хоть чуточку?

— Если бы мы были тут одни, — сказал он, щуря глаза, — я доказал бы вам это без употребления каких-либо слов.

— Но мы не одни, — улыбнулась она вызывающе.

Он наклонился к ней.

— Пока, — прошептал. — А хотели бы этого оба. Правда?

Безотчётно она подалась к нему и ответила:

— Да.

— Кельнер. Счёт, — крикнул он.

— Уже уходим?.. Так хорошо играет оркестр и танцевать как раз начали...

— Панна Марихна хотела бы потанцевать?

— Очень...

— Я совершенно не умею, но это дело поправимое.

Подбежал кельнер. Павел Далч бросил ему коротко:

— Счёт мне и форданцера¹ для пани.

— Сию секунду, пожалуйста.

Марихна скривилась.

— Но я не хочу танцевать с каким-то пижоном! Я хотела с вами!..

— Прежде вы должны меня научить.

— Так пойдёмте, это совсем не трудно, — заверила она убеждённо.

— Идём!

— Нет, — он покачал головой решительно. — Не хочу чтобы вы, или я, человек солидный, компрометировали себя неуклюжестью начинающего танцора... Правдва?

— Вы вовсе не такой старый... И это очень легко. Меня никогда никто не учил, а танцую в целом неплохо с первого раза...

— Женщины не в счёт. У них врождённый талант. Ну, прошу.

Перед Марихной в поклоне стоял прилизанный типчик в смокинге с грустной и нахальной мордой. Что оставалось делать... Она встала и пошла в ринг.

Танго, как уверял жиголо², было упоительным. Она хотела бы с Павлом, хотела бы, поднимая взгляд, видеть его серые пронизывающие глаза, которые вызывают озноб, такой обессиливающий почему-то... Она так давно не танцевала. Правда с Кшиштофом не раз бывала на дансинге, но он никогда не хотел, а когда однажды она несмело заметила, что некоторые дамы танцуют с форданцерами, рассердился и сказал, что это разнузданные девки, которые охотно танцевали бы голышом, если бы не боялись полиции. И ещё говорил, что это дурной тон.

¹ Форданцер — платный партнёр для танцев. — Прим. пер.

² Жиголо — платный партнёр для танцев. — Прим. пер.

А вот его двоюродный брат, сам важный господин и тоже знающий все правила приличия, ничего плохого в танце с фордансером не видел, не просто разрешил ей, но сам предложил.

«Кшиштоф ханжа», — подумала она.

— Ваш супруг не танцует? — спросил жиголо.

— Что?

— Ваш супруг не участвует в танцах, — повторил он.

— Нет. Он не умеет.

— Как же много он теряет, — Он вздохнул. — Вы танцуете как Сельфида, как Петрарка...

— Вы действительно это находите?

— О, да. У вас в танце такая уточнённая свобода, я бы даже сказал фантазмагория. Вы созданы для Мельпомены!

Ей это сильно польстило. Как бы то ни было, мнение профессионала что-нибудь да значит.

— Для кого я создана? — спросила она приветливо.

— Для Мельпомены. Это была такая богиня танца, вина и любви, но преимущественно танца. Будьте любезны влево... о, да... Почему вы тут не бываете?.. Вы не можете понять тоски такого танцора как я о такой партнёрше, как вы.

— Играть закончили, — она с сожалением остановилась.

— О, для вас могут повторить. От такой удачи легко не отказываются.

Собравшиеся вяло, ради формальности похлопали, и оркестр снова начал играть.

— Танец — это моя стихия, — говорил он мелодичным голосом. — Я, простите, небрежный художник. Но чего не сделаешь ради существования... Жизнь сортирует людей не принимая во внимание.

— Жизнь не романс, — сказала она, чтобы пребывать в том же благородном и сентиментальном тоне беседы, так соответствующем сентиментальному тону танго.

— Вы очень нежны и платоничны, что редко, — Он вздохнул.

Закончили. Он проводил её до столика и благодарно поклонился. Павел кивнул ему головой и убрал в карман блокнотик, в который всё время что-то записывал. Кшиштоф даже если бы позволил ей танцевать, не спускал бы с неё глаз. А Павел не ревнив... Он так уверен в себе, ибо знает себе цену...

— Как танцевалось? — спросил он.

— О, замечательно. Этот жиголо превосходно ведёт.

— Верно говорил вам какие-нибудь глупости?

— Напротив. Это очень интеллигентный человек. Он даже артист, только ему не везло... Он сказал, что я танцую как Мельпомена.

— А эта дама хорошо танцевала или плохо? — он глянул на неё с улыбкой.

— Ну как же! Вы шутите! Чтобы богиня танца плохо танцевала!

— Да?.. Хм... И я так думаю, а вы не знаете, не давала ли она случайно уроков танца? Мне бы очень хотелось.

— Ах, как это хорошо, как хорошо, — обрадовалась она. — Стало быть вы со мной потанцуете?

— Выпьем! — он налил ей стаканчик.

— Это вино чудесно...

— За удачу нашего первого урока.

В тот момент когда стакан был уже пуст, заиграл оркестр.

— Идём, — вскочила Марихна.

— Да, но не тут, — он тоже встал.

— Тогда где же? — удивилась она.

Он не ответил. В гардеробе ему подали шубу. Перед рестораном стояла длинная чередка автомобилей. Они сели в такси.

— Уяздовская, — сказал он шофёру.

— Это тоже ресторан? — спросила она.

— Нет. Мы поедем ко мне. У меня отменный грамофон, под который замечательно танцевать.

У Марихны кружилась голова, и она была не очень трезва.

— Нет, я не хочу... я не хочу...

— Но почему?.. Марихна меня боится?

— Нет, нет, это неудобно. Так нельзя. Что подумают...

— Никто ничего не подумает, поскольку нас никто не увидит.

— Но это нехорошо, я стесняюсь...

Он взял её за руку и строго сказал:

— Кшиштофа вы не стеснялись. Уж лучше будьте искренни и скажите, что я вам не нравлюсь. Ну?

— Вы на меня сердитесь, — она скривилась, словно вот-вот заплачет, — а я... а мне... тут так холодно...

Он без слова обнял её, прижал к себе, наклонил её голову и впился в губы. Она сделала робкий защитный жест, но уже спустя секунду что было сил прильнула к нему. Не представляла, что поцелуй может быть таким сладостным. Она теряла дыхание... Насколько иначе целовал Кшиштоф. Он кажется постоянно наслаждался, а этот брал её, поглощал...

У неё дрожали колени, когда они поднимались по широким мраморным ступеням. На первом этаже он открыл дверь и пропустил её вперёд. Амфилада огромных комнат засверкала огнями. Очень высокие потолки, сверкающий паркет, покрытый коврами, золотистые портреты, великолепная мебель... она попросту не воображала себе такой роскоши в жизни. В кино, во дворцах миллионеров видела похожее. Она ступала на цыпочках, как в костёле или в музее. С детских лет директор завода был для неё, так же как и для всей её семьи, существом недостижимым, всемогущим, почти сверхестественным. Он не только держал в руках существование их дома, не только служил Олимпом, на который едва возможно поднять глаза, но был окружён нимбом притчи, анекдотов, полных изумления, с благоговением сохраняемых поговорок, из которых каждая имела необыкновенную ценность потому, что пала из уст кого-либо из Далчей. Однако никогда проявление этой дистанции не ощущалось так ярко, как сейчас, когда она оказалась в этом жилище.

Павел снял с неё пальто и запустил граммофон. Он был таким же, как совсем недавно в автомобиле, и, однако, казалось был кем-то совершенно другим, перед кем она ничего не значила, перед кем исчезала.

— Ну, мой очаровательный гость, над чем ты так задумалась?

— Так... пустяк...

— Приступаем к обучению медведя танцам. Может ли медведь быть к вашим услугам?

Она улыбнулась неискренне.

— Я уже пойду, пан директор...

— Как вы меня назвали! — возмутился он.

— Извините, но у меня так кружится голова... я уже...

— Я не шучу. Урок не прощаю. К вашим услугам.

Он притянул её, крепко обнял руками, и они начали танцевать.

Только после нескольких кругов по комнате она дала себе отчёт, что он танцует великолепно и что ей так хорошо.

Пластинка закончилась, и граммофон выключился сам. Павел сел на широкую тахту и усадил её рядом с собой.

— Но вы великолепно танцуете, — сказала она, потирая виски, в которых гудело.

— Я смыслённый ученик.

— Уже наверное очень поздно, — вскочила она.

Он удержал её и посадил себе на колени:

— Иди сюда. Ты чертовски аппетитна... от тебя бьёт такой свежестью...

Она не сопротивлялась.

— Зачем ты хотела уйти, — говорил он задыхаясь. — Не станешь же обманывать, что не хочешь меня... что не хочешь быть моей...

Внезапно он встал, поднял её высоко на руках и понёс в спальню. Тут было почти темно. Только возле большой кровати горела скудная розовая лампочка.

Она не могла, не находила смелости возражать. Не видела его, только ощущала на себе его безжалостный взгляд, терзающий, пристальный взгляд серых, холодных глаз. В комнате было очень тепло, но не смотря на это она дрожала как в лихорадке, а её кожа сжалась и стала шероховатой.

Она хотела заплакать, хотела закричать, что боится, однако зубы стучали, и ни один звук не мог вырваться из гортани. Она не отдавала себе отчёта в том, что с ней происходит.

Дрожью прошло по ней холодное прикосновение постели, и вслед за тем — горячее касание плеча его ладони.

— Что с тобой, детка, чего ты боишься? — услышала она произнесённое возле самого уха почти нежным голосом.

Это привело её в чувство. Непроизвольно всем телом она прижалась к нему, крепко обняла его руками, словно ища в нём защиты от него самого... Её обнажённые плечи обдавало его горячее дыхание, всё более сильное, почти свистящее. Пульсы колотили в висках, голову ох-

ватило непонятное головокружение, в груди поднялась волна крови... тело выгнулось и выпрямилось в гнетущем нажиме...

Острая пронизывающая боль пронзила её всю. Она вскрикнула и без чувств упала на подушки.

Тотчас спрятала лицо в подушки и принялась плакать. Она не могла ещё собраться с мыслями, но давала себе отчёт в том, что в её жизни случилось что-то важное, что-то решающее, о чём, впрочем, она не жалела, и что наполнило её какой-то необыкновенной печалью... Она стала его любовницей, предала Кшиштофа. Так отплатила ему за его доброту, за его деликатность... Она поступила подло, но в этом вина только самого Кшиштофа... Зачем держал её в вечной неуверенности, зачем постоянно укрывался от неё таинственностью... Она не сможет посмотреть ему в глаза, но он сам виноват...

Она не повернула головы, хотя слышала, что Павел встал и закурил папиросу. Она стыдилась.

— Объясни мне, — произнёс он, — что это может значить?

Она не поняла, о чём идёт речь, и сильнее прижалась к подушке.

— Марихна, что это может значить? — повторил он. — Все твердят, что ты любовница Кшиштофа...

— Это неправда, — сказала она негромко.

— Ну, сейчас не нужно меня в этом убеждать. Не понимаю только, почему не сказала мне об этом раньше... Он всё же бывает у тебя и, к тому же, часто. Иногда до поздней ночи. Такие вещи скрыть невозможно. Все видели, что он пялился на тебя как сорока на кость. И строил глазки. Итак, что за чёрт?

Марихна молчала.

— Он влюбился в тебя платонически?

— Я не знаю...

— Он что, попросту недотёпа? Да?

— Зачем пан говорит об этом...

— Не называй меня «пан». А может ты его не хотела?.. Вы даже не целовались?

Она ничего не отвечала.

— Ну, надеюсь ты не потребуешь от меня хранить секреты.

— Разумеется, — шепнула она.

— Что? — удивился он. — Почему ты делаешь из этого тайну?

— Я говорю, что разумеется, что целовались...

— И в итоге ничего?.. Вот уж не думал, что он такой недотёпа... Как это, и никогда не принимался за тебя?

— Вы так говорите... я стыжусь

Он рассмеялся, погасил папиросу, лёг рядом с ней и бесцеремонно повернул её лицом к себе.

— Нечего стыдиться, моя прелестная панёнка, — улыбнулся он. — Разве мы не приятели, правда?

Его серые глаза смеялись также мягко, по-отечески. Распахнутая пижама открывала широкую грудь, слегка покрытую волосами. Он показался Марихне близким и сердечным.

Она начала рассказывать о себе и о Кшиштофе. Сама не знала, что о нём думать. Он всегда был странный, читал стихи, вёл себя так, словно был ревнивцем, будто бы любил её, а всё же никогда не обмолвился об этом ни единым словом. И он ей понравился, ведь он такой красивый и, пожалуй, такой несчастный, поскольку постоянно задумчив и печален... Не раз она хотела его утешить, но он, как только доходило до чего-либо, отступал и становился ещё печальнее.

Первоначально она подозревала,, что он, упаси Бог, какой-нибудь калека, что страдает какой-то страшной болезнью, но он говорил, что здоров, и даже показал свою армейскую книжку, где было чётко написано, что он служил в армии и годен для дальнейшей службы...

— А может он хочет на тебе жениться? — спросил он с таким сомнением в голосе, что она почувствовала себя задетой.

Сама она никогда не думала об этом всерьёз, но почему, в конце-то концов, Павел считает это невозможным! Потому что Кшиштоф богат... Разве мало бедных девушек выходит замуж за миллионеров?

— Может и хочет, — соврала она, — разве я знаю...

— В этом не было бы ничего удивительного, — сказал он равнодушно. — Я даже думаю, что из вас получилась бы подходящая пара. Он демонический брюнет, а ты весенняя блондинка с такой прелестной розовой мордочкой...

— Нет... нет, — она отталкивала его изо всех сил.

Воспоминание о том, что случилось недавно, заставило её защищаться. С другой стороны ею овладевало чувство необходимости повинования, почти желание удовлетворить его требования...

Когда полчаса спустя, уже одетая, она выходила из ванной, к своему удивлению застала Павла в кабинете возле бюро. Он сидел в пижаме перед грудой бумаг, настолько погружённый в работу, что, казалось, не замечал её. Его профиль в свете лампы выделялся чёткими линиями, а нахмуренные брови выглядели красиво и строго.

Ступая на цыпочках, она надевала перед зеркалом шляпу и пальто, когда он ровным спокойным голосом произнёс:

— Недопустимо, чтобы ты ходила в этом лёгком пальтишке. Я сделаю тебе маленький подарок. Будь так добра и зайди завтра к скорняку на Медовой. Его фамилия Теферман. Выбери там себе какую-нибудь приличную шубу. По счёту расплачусь я.

Марихна покраснела.

— Разве... разве это возможно... плата за... то, что... я отдалась вам? — выдавила она.

Он отложил карандаш и оглянулся:

— Вот не думал, Марихна, что вы такая гусыня.

— Вы меня обидели... вы обидели меня... вы думаете, что я потому, что вы богатый...

В глазах её показались слёзы.

— Ты глупенькая. Очень глупенькая, — сказал он спокойно. — Во-первых, не ты мне отдалась, а я тебя взял. Во-вторых, это не плата, поскольку точно также и ты должна бы мне заплатить. И вообще, какая может быть речь о плате в то время, когда обе стороны доставляют себе

взаимное удовольствие! Я решил купить тебе шубу, поскольку не хочу, чтобы ты озябла и разболелась. Разве я не волен сделать подарок тому, кого люблю, такой подарок, который ему необходим?

— Такие дорогие подарки делают только кокоткам, — Она прикусила губу.

— Серьёзно?.. Вот не знал. И много таких подарков ты раздавала кокоткам?

— Вы надо мной смеётесь...

Он встал и погладил её по лицу:

— Нет, детка, я, видишь ли, никогда никаких подарков кокоткам не делал, а тебе сделал такой, какой в состоянии сделать. Если бы я был бедным слесарем, купил бы тебе шерстяной свитер. Понимаешь?.. Только прошу тебя, выбери себе что-нибудь красивое, тёплое и не слишком эффектное, поскольку коллеги будут завидовать и много рассуждать о расточительности... Кшиштофа.

Он рассмеялся и поцеловал её в губы.

— И так будут говорить, — шепнула она.

— Тут уж ничего не поделаешь.

— Но я не хочу, — пыталась она противиться. — Впрочем, что подумает Кшиштоф.

— Ничего он не подумает, поскольку ты ему даже словечком не обмолвишься о нашем более близком знакомстве. А шуба, опять же, не стоит столько, чтобы ты не могла её взять в рассрочку. Фамилия скорняка Тефельман, не забудь. Ты должна это сделать завтра, сразу после службы. Подробный адрес найдёшь в телефонном справочнике. И без каких-либо отговорок! Непременно завтра, в противном случае уже сегодня я смогу свести с тобой счёты, непослушная девчёнка!

Снова его глаза выражали тепло и доброту.

— Но в таком случае, — она мятежно подняла голову, — и вы должны принять от меня подарок.

— С удовольствием, — улыбнулся он.

— Мне не по силам такой ценный...

— Дорогая моя, — перебил он, — ценность каждой вещи, её стоимость никогда не имеют значения. Важным является только то, какую ценность мы ей приписываем. Посмотри на этот перстенёк. Его ценность зависит только от того на чьём пальце он находится. На моём он является для тебя прелестным бриллиантом, однако если бы ты увидела его на руке сторожа, ты знала бы, что это убогая подделка. Верно?.. Стало быть, видишь, на свете нет абсолютных ценностей...

Он нахмурил брови и, глядя кудато в угол комнаты, добавил:

— Кто этого не знает, тот не может завоевать мир, даже если встанет на голову... Ну, однако это тебя не касается. О чём мы говорили?.. Ага! Стало быть, даже если бы я предложил тебе дворец, а ты мне, допустим, галстук, я могу остаться твоим должником... А *propos*¹, если это может оказаться галстуком, пусть будет серым в полоску. Хорошо?

¹ А *propos* (фр.) кстати. — Прим. пер.

Оба рассмеялись, когда он глянул на часы.

— Ну, ты сегодня не выплывай. Прости, что не провожу тебя, поскольку у меня ещё много работы. Тут за углом найдёшь такси. Мелочь есть?

— Есть, — сказала она и припомнила, что в сумочке у неё едва наберётся полтора злотых, но это пустяк, ведь и без того она пойдёт пешком.

Однако он видимо не принадлежал к числу легковых. Несмотря на сопротивление Марихны, проверил содержимое её сумочки.

— Стыдно так обманывать, — сказал он строго и положил в сумочку несколько монет. — Это ссуда. Отдашь, когда станешь богатой. И смотри, чтобы поехала на такси. Я буду смотреть в окно.

С ним она чувствовала себя ребёнком, который тщетно мобилизует все свои уловки. Они становятся раскрытыми и обезвреживаются с лёгкой снисходительностью.

На улице было пустынно, холодно и страшно. Даже у шофёра такси выражение лица не вызывало доверия. Называя свой адрес, она пугливо избегала его взгляда. Окна были такими замёрзшими, что она сидела словно в леднике, не имея возможности проверить, какими улицами её везут. К счастью, автомобиль остановился перед её домом. Она быстро взбежала по ступенькам и вскоре уже была в своей тёплой комнатке. Разделась очень быстро и, засыпая, думала о том, что Павел настоящий мужчина, что она выберет себе чёрного шелебёнка, и что Кшиштоф ни о чём не догадается. Лишь бы только у неё осталось немного времени, лишь бы завтра он ещё не пришёл на завод...

И он действительно не пришёл.

Секретарь Холдер, который утром заглянул в кабинет из-за какой-то мелочи, сказал, что вероятно пан Кшиштоф Далч тяжело заболел, поскольку из Вены телеграфом вызвали какого-то специалиста.

Марихна ужаснулась. Её поразила мысль, что она поступила скверно и предала его в минуты, когда он, может быть, борется со смертью. После той мучительной ночи и всего лишь нескольких часов сна она и сама выглядела бледной, с запёкшимися губами.

— С вами тоже что-то происходит, панна Марихна, — присмотрелся к ней Холдер.

— Нет, пустяки.

— Вы выглядите так, будто что-то вас угнетает в душе или в теле...

Она покраснела и пожала плечами.

— Вам показалось, — сказала она не без раздражения и сразу после его ухода достала зеркальце, чтобы проверить, действительно ли по ней заметно. Глаза были окружены тёмными кругами и неестественно блестели. При этом она выглядела красивой, даже интересной. Не предполагала, что происшедшее с ней этой ночью будет так заметно. Какое счастье, что Кшиштоф не увидит её сегодня. Наверное возникли бы подозрения...

Она поймала себя на этой патетичной мысли и отругала. Как можно было радоваться, когда он так опасно болен. Но скоро привезут врача из заграницы, тот его вылечит и всё закончится хорошо.

В течение всего дня Павел не заглянул к ней ни разу. Его тоже могло не быть на заводе, коль скоро его искали даже здесь. Дважды, словно ошпаренный, влетел директор Яхимовский и однажды Блумкевич.

— Извините, извините, — задержала она его.

— Слушаю вас.

— Нет, нет, я вижу, что вы очень спешите...

— Действительно, простите, очень спешу, и потому простите сердечно...

— Я хотела спросить, как здоровье пана Кшиштофа?

Он глянул на неё мимолетным взглядом, в котором выражалась ирония:

— Спасибо, вполне хорошо.

— А для чего вызывали доктора прямо из Вены? — спросила она наивно.

Блумкевич, уже собираясь выходить, встал как вкопанный.

— Откуда вы это знаете?

— Ну... говорили. Тут в конторе говорили.

— Контора — это гнездо сплетен, — прошипел Блумкевич, и его учтивое морщинистое лицо приобрело ядовитое, злое выражение.

— Но что же в этом плохого, — удивилась Марихна.

— Ничего плохого. Люди лучше всего и умнее всего работают, извините, когда занимаются делами, которые их не касаются.

Он поклонился и вышел, а Марихна обещала себе пожаловаться Кшиштофу, что этот мерзкий Блумкевич отнёсся к ней неучтиво... Собственно, скорее это следовало сказать Павлу... Всё же с Павлом этот Блумкевич должен больше считаться...

Однако Павел не появился в течение всего дня.

Она вышла с завода позже обычного и на остановке встретила инженера Оттмана. Его льняные пышные, коротко подстриженные усики были покрыты инеем и сосульками льда. В своём потёртом пальто он выглядел как сельский учитель, с ярким румянцем на щеках и покрасневшим носом. В нём было что-то провинциальное. И в одежде, и в манере здороваться.

Когда они оказались в трамвае, в котором в это время не было давки, Марихна сказала:

— А у меня сегодня дальняя дорога: еду на Медовую.

Она ожидала проявлений любопытства, однако то, что он присматривался к ней с какой-то глупой улыбкой, вызвало у неё беспокойство:

— Почему вы так на меня смотрите?

— О нет, пустое, извините... Я задумался. Видите ли, я работаю сейчас над несомненным изобретением, над очень важным изобретением, И это морочит мне голову...

— Я полагала, что вы заметили что-то необычное в моём сегодняшнем облике.

Он посмотрел на неё внимательно и сделал удивлённое выражение лица:

— Необычного?.. То есть что-то новое...

— Однако несколько человек говорили мне это... — упорствовала она, — Хотя и сама не знаю почему. Правда?

Он простодушно подтвердил, что просто рассердило Марихну. Она нахмурилась и сидела молча. Чувствовала себя обиженной тем, что нет на свете никого, кому она могла бы доверить такие важные перемены в её жизни, кто имел бы право или хотя бы возможность расспрашивать о том, что она делает, что намерена делать и почему она грустна или весела. Очевидно любая девушка её круга позавидовала бы её успеху у таких людей как оба Далча. Но поскольку некому было даже рта открыть, сам успех терял половину своей ценности.

Она равнодушно слушала журчание голоса Оттмана. Словно её может интересовать какой-то терпентин¹, каучук или электролит! Злило её и то, что он говорил о вещах, которых она не знала, как и то, что он вовсе не спросил, зачем она едет на Медову. А ведь она повторила об этом дважды, с нажимом, как о событии необыкновенном, незаурядном. Её раздражение было уже на грани взрыва. Вот уж он остолбенел бы, если бы она вот так, с места выпалила ему:

— Я еду покупать себе прекрасную шубу, которую мне покупает генеральный директор!.. Почему дарит?.. Да потому, что я его любовница! Да! Любовница!.. Он влюблён в меня до безумия, и стоило бы мне шевельнуть пальцем, купил бы мне две, три шубы, авто, бриллианты, такие крупные, как у него в перстне... Чего только пожелаю, понимаешь?.. А вы будете всю жизнь ходить в этом потёртом пальто, и ни одна девушка не посмотрит на вас вместе с вашими идиотскими терпентином и каучуком!..

Она кусала губы и возбуждалась эффектом, который вызвали бы эти слова, но Оттман не предполагал, что в ней кипит. Она сорвалась с места.

— Но вам на Медову, вы должны пересесть, — он придержал её руку.

— Я передумала, — она подняла голову. — Я поеду на такси. Не выношу трамваев.

Только сейчас она заметила в его взгляде беспокойство. Это её в известной степени удовлетворило. Ей пришло в голову, что настоящую удачу могут иметь только женщины таинственные и демоничные, такие, например, как Грета Гарбо или Марлен Дитрих.

В магазине у скорняка было пусто. Для обслуживания Марихны собрались аж три работницы. Через прилавок проскользнуло несколько десятков самых разнообразных шуб. Она примеряла их ненасытно. Трёхстворчатое зеркало отражало её стройную фигуру во всех возможных позах, изгибах и профилях. Она нарочно оттягивала решение

¹ Терпентин (нем., от лат. terebinthina). живица — смолистый сок, выделяющийся при ранении хвойных деревьев; сырьё для получения скипидара и канифоли, применяется в медицине, а также для получения лаков и красок. — Прим. ред.

о покупке, поскольку ужасно стыдилась момента, когда должна будет сказать, что покупку оплатит Павел Далч. Была минута, когда она совсем отказалась бы от шубы, но Павел велел категорически, и кроме того, например, чёрная каштанка была бы вовсе не дорогой, а в ней она чувствовала бы себя красивой и элегантной дамой.

— Пожалуй, я возьму эту, — сказала она. — Только прошу это на счёт...

— Ах! — подхватил субъект. — На счёт пана Далча?.. Знаем, знаем, дорогая пани, господин Далч звонил, но может быть вы взяли бы эту шубку? Только на двести злотых дороже, из лисы...

— Нет, нет. Я возьму эту.

— Прикажете отослать?..

Она не могла противиться искушению и оставила для отправки своё старое пальто. По улицам шла кружным путём и не могла налюбоваться своим отражением в стёклах витрин. Однако Павел только на вид такой строгий и сухой. Это очень даже по-мужски: не выказывать нежность и, одновременно, так о ком-то заботиться. Если бы его ничего не интересовало, он не выбросил бы за шубу несколько сотен злотых. Трудно ходить с такой золушкой по шикарным ресторанам. Наверное он потому так настаивал, чтобы она срочно купила, что сегодня собирается на танцы...

Однако она ошиблась. Он не только не забрал её, но даже не позвонил. На заводе тоже не появился ни в этот, ни на следующий день. От Холдера она узнала, что он очень занят и что все распоряжения отдаёт по телефону. Потому, собственно, она и ожидала, что он ей позвонит. Однако каждый принятый ею звонок усиливал ощущение ошибки.

«Я была для него всего лишь игрушкой на одну ночь», — горько думала она и хотя не только не желала второй, но боялась её, как связанной с воспоминанием боли, однако считала себя обманутой, соблазнённой и брошенной.

Так прошла неделя, в течение которой Марихна не расставалась с самыми смелыми и самыми фантастичными проектами. Однажды сама хотела пойти к нему и потребовать объяснений, потом написать отчаянное письмо и объявить о самоубийстве, или написать другое, Кшиштофу, признаться в измене и просить о мести. Кшиштоф не простил бы ему этого, хоть он ему и двоюродный брат! Однако наибольшее затруднение в этих планах вызывала шуба: она сидела как влитая и была ей неслыханно к лицу. Её возвращение Павлу было бы пополнением и без того невыносимых несчастий.

Раздеваясь перед сном, она как раз размышляла над этим, когда хозяйка позвала её к телефону.

«Если это он, — думала она, нервно набрасывая халатик, — обдам его таким холодом, что держись!»

Увы, она не смогла осуществить это благоразумное намерение, по той простой причине, что на это не было времени. На её «алло» в трубке ответил голос Павла:

— Как поживаешь, Марихна. Приезжай ко мне, тотчас. Жду.

Сказал и положил трубку. Это было невыразимо возмутительно. Единственным ответом, подходящим для уважающей себя женщины, будет абсолютное нереагирование на подобные выходки. Натурально она не поедет к нему вовсе!.. И точно не поехала бы, если бы не должна была сказать ему, что так не поступают, что это подло, никчемно, что она его ненавидит, что он может даже выгнать её с завода, что может забрать свою шубу, что лучше она умрёт от голода и холода, лишь бы не переносить таких унижений.

Бег этих мыслей был вполне логичным, однако не мешал Марихне в поспешном одевании. По дороге она пришла к мысли, что не может судить Павла мерой простых смертных, что видимо у него были какие-то важные причины, может даже несчастье, либо болезнь. Когда она звонила в дверь, сердце её стучало словно молот, и она уже не думала ни о чём.

Он открыл сам. Одетый в гранатовую шерстяную пижаму, он держал в руке телефонную книгу. Она подняла голову и их губы встретились.

Но не успела она приступить к упрёкам, как он сказал:

— Я очень рад, что ты пришла. Входи и подожди минутку. Я должен закончить одно дело.

Он проводил её в кабинет, отыскал нужный номер и разговаривал с кем-то, с кем был на ты. Говорил о каких-то долях, вздыхал, утверждал, что это несчастье для него самого случилось неожиданно, что какой-то Толевский оказался хитрым лисом, и хотя дело выглядит безнадежным, он не устранился от того, что ещё может быть удасться сделать.

Тот, с кем он разговаривал, кричал в трубку так громко, что Марихна, сидя в нескольких шагах от аппарата, всё же слышала его отчаянные и полные раздражения восклицания. Из всего этого она поняла, что Павел проводит с кем-то очень важную сделку, что дело не удалось, и что оба много на этом потеряли, подвергнув ущерб и инженера Ганта, который — как она знала, — был совладельцем предприятия. По произнесённым суммам и тому печальному тону, которым разговаривал Павел, она предположила, что потери должны быть огромными. Теперь она упрекала себя за претензии, предъявленные Павлу. Видимо у него не было для неё времени потому, что он решал большие задачи, что его поглощали колоссальные проблемы, о которых она, скромная машинистка, не могла иметь даже понятия, что всё не задалось и сейчас её обязанность — сделать всё, чтобы помочь ему забыть об этом огорчении.

Наконец Павел положил трубку, молча закурил папиросу и пустил далеко перед собой струйку дыма. На его лице появилась бледность и, как показалось Марихне, очень печальная улыбка. Она сидела напротив и с нескрываемым сочувствием всматривалась в его серые глаза.

Неожиданно он засмеялся коротким резким смехом.

— Сегодня у меня что называется добрый вечер. По этому поводу выпьем чего-нибудь пенящегося!

— У вас было много огорчений? — спросила она.

— У меня... — удивился он, — нет, любимая, напротив. О... эта шуба тебе очень идёт, и всё же снимем её, правда?

— Вам нравится?... Я пану очень благодарна...

— Это я тебе благодарен за то, что ты такая славная и красивая. Подумай только: ты могла бы быть кислой и уродливой и тем самым испортить мне чествование такого прекрасного финала, нет, плохо разразился, скорее полуфинала!

Он был весел самым бесспорным образом. Марихна подумала, что он нарочно делает хорошую мину после какой-то потери, чтобы не доставлять ей огорчения, и решила быть к нему тем более нежной. Поэтому когда он помогал ей снять шубу, она закинула руки ему на шею и поцеловала его в губы.

— О, осваиваемся, — он крепко прижал её, — но почему ты называешь меня паном?

— Я не знаю...

Он разразился смехом, таким искренним, весёлым смехом:

— Не знаешь? Действительно не знаешь?

— Пан надо мной смеётся, — она почувствовала себя уязвлённой.

— Да нисколько, моя крошка. Видишь ли, в моей психике не может поместиться понятие совершения чего-либо без уверенности в том, что мне повезёт. Понимаешь?..

Она кивнула:

— Понимаю. Например, вы должны бы сейчас огорчиться из-за того, что вам не удалась какая-то сделка, а притворяетесь всеёлым, чтобы скрыть от меня своё настроение.

Она произнесла это на одном дыхании, понимая, что удивит его своей проницательностью, и не ошиблась. Он замер неподвижно и широко открыл глаза:

— О?... — он наклонил голову.

— В самом деле, — продолжала она с уверенностью одержанной победы. — Я ведь слышала ваш телефонный разговор, а сейчас вы притворяетесь.

— А ты хитрая, опасно хитрая, — произнёс он преувеличенно серьёзным тоном. — Но вообрази себе, что твоё присутствие вознаграждает все мои огорчения. Ну, пойдём промочим наши горлышки.

В соседней комнате на столе стояли фрукты, высокие хрустальные бокалы и серебряное ведёрко со льдом, из которого выглядывали два толстых обвязанных проволокой бутылочных горлышка.

За третьим бокалом Павел сказал:

— Марихна, ты единственное существо, которое разделяет со мной моё первое большое торжество.

— У вас сегодня именины?

— Жизнь не научила меня с кем-либо делиться ни плохим, ни хорошим, — говорил он, не слыша её вопроса, и как бы дажде не ей. — Я одинок, совершенно одинок, исключён, вытолкнут из большого сообщества и, сто чертей, от этого не чувствую себя пострадавшим. Тем хуже для них, для всех вас... Ну, выпьем!

Марихна не понимала, о чём идёт речь. И всё же её охватило убеждение, уверенность, что она удостоилась особой привилегии, что должно быть чего-нибудь стоит, коль скоро этот необыкновенный человек заинтересовался ею, допускает её к своим тайным переживаниям. А он говорил долго, говорил слова удивительные, сложные, не связывающиеся между собой. Она слушала его так, как прислушивалась к мягкому, мелодичному голосу Кшиштофа, когда тот читал ей английские стихи. Только голос Павла звучал мощно, отрывисто, твёрдо, набирал силу либо замирал в какую-то каменную глыбу, которая, казалось, катилась свободно, неодолимо, казалось, придавливала.

Марихну снова охватил страх. Она чувствовала в своздухе что-то злое, угрюмое, безжалостное, чувствовала всю случайность своего тут присутствия. Её окружала массивная чужая мебель, высокие стены, покрытые позолотой и шелками, тишина, пронизывающая до нутра.

Она безотчётно взяла его руку, неподвижно лежавшую на подлокотнике, и сжала её в своих ладонях.

Он замолчал и посмотрел на неё взглядом человека, который очнулся от задумчивости. На его соредоточенном лице появилась улыбка.

— Тебе надоело? — спросил он. — Ну, иди, сядь сюда.

Он слегка притянул её и посадил себе на колени. Она уткнулась и коснулась губами его щёк с шершавой кожей, которая буквально кричала в сравнении с всегда атласно выбритым лицом Кшиштофа.

Он расспрашивал её, что она поделявала, не слишком ли флиртует с Оттманом, не получала ли известий о Кшиштофе.

Какое там! С Оттманом вовсе невозможно флиртовать. Он зануда и постоянно думает о своих изобретениях, а Кшиштоф очевидно чувствует себя неважно, коль скоро неделю назад ему будто бы вызвали из Вены какого-то специалиста. Собственно говоря, ей не следовало это повторять, поскольку пан Блумкевич сказал, что это сплетни, и очень сердился, однако и без того на заводе только и говорили, что об этом.

Павел наполнил бокалы. Он явно интересовался своим двоюродным братом и мало о нём знал, коль скоро она должна была рассказывать о нём всё. Одно удивляло, Павел вовсе не ревновал к Кшиштофу, на её замечание, что теперь она уже не сможет оставаться с ним в прежних добрых отношениях, он со всей решительностью отвечал, что напротив, она должна постараться не дать ему почувствовать какой-либо перемены в своём поведении. Кшиштоф несчастен и нуждается в утешении, а он, Павел, ни за что не хотел бы испортить ему эту иллюзию счастья, которую он находит в Марихне, тем более, что это — он картинно улыбнулся, — только иллюзия.

Марихна подумала, что это очень благоразумно, а ещё, что у Павла золотое сердце. По существу она не хотела расставаться с Кшиштофом, которого искренне полюбила. Тут была любовь, а там дружба, ну, может быть не свосем дружба, но коль скоро Павлу это не мешает, хотя он знает почти всё, не имеет смысла что-либо менять в положении дел, которые сами собой так сложились.

В спальне царили живописный полумрак и тепло. Это был прекрасный вечер, и вероятно поэтому он продлился до самого утра.

В этот раз Марихна поехала на завод прямо с Уяздовской. В этот и в несколько последующих... У Павла повидимому было меньше важных дел, поскольку он мог уделять ей больше времени.

Она чувствовала себя счастливой. Его спокойствие, ровный характер и это нечто, чему она не знала названия, и что нпониало её ощущением безопасности, доверия и безмятежности, что устраняло любые заботы, опасения и беспокойства — всё складывалось в короткие весёлые дни и долгие прелестные ночи, которыми можно было упиться.

Естественно, Марихна соблюдала всяческие предосторожности, чтобы никто не мог донести Кшиштофу, что ему изменяют. А сверх того и потому, что она сохранила за Кшиштофом право первенства. Впрочем, точно такого же мнения придерживался и Павел. Поэтому они вовсе не ходили в публичные заведения, встречаясь только у него.

Это продолжалось вплоть до дня, когда первый раз появился Кшиштоф.

Он вошёл утром как раз в то время, когда Марихна снимала шубу. Не вызывало сомнений, что он сразу её заметил. Он был бледнее, чем прежде, и значительно похудел.

Марихна давно составила для себя план сдержанного, почти холодного приветствия, которым следовало отплатить ему за долгое и равнодушное молчание.

— Здравствуйте, пан директор! — сделала она реверанс оскорблённой институтки.

Минуту он присматривался к ней своими чёрными глазами, которые сейчас казались ещё крупнее и выразительнее.

— Почему ты так приветствуешь меня, Марихна? — спросил он тихо.

— Я... я не знаю... пан директор... — она опустила взгляд.

— Марихна?

— Я не знаю... возможно пан директор именно этого и хотел... не обмолвился со мной даже словом... столько времени...

— Но ты же знаешь, что я болел!

— Ну да, я понимаю, но можно было написать, или позвонить...

Он взял её руку, погладил и поцеловал:

— Я не мог. Пойми это сама. Возле кровати не было телефона, а письмо я должен был бы отправить через прислугу. Я не хотел, чтобы кто-либо знал...

Поскольку она не ответила ему на пожатие руки, он нахмурился и отошёл к своему бюро.

— Пожалуй, — произнёс он через минуту, — я думаю, что это ты ко мне изменилась...

— Да нет, — Марихна покраснела, — просто не хотела нарушать... Мой Бог, откуда мне знать, возможно... пану директору наскучила бедная и глупая девчёнка, которая для него всего лишь игрушка...

Кшиштоф молчал. А Марихна, глянув на его нахмуренное лицо, добавила тоном оправдания:

— Вот всяком случае, так это могло выглядеть...

В дверь постучали. Пришёл мастер из литейного по поводу каких-то профилей, прежде чем он успел получить инструкции, явился инженер Каминьский, потом Чайковский, который привёл нового помощника, чтобы представить его Кшиштофу.

Марихна с миной королевы против желания отстукивала составленные ведомости мастерских, дожидаясь конца этих скучных дел, которые прервали такой важный разговор. Вместе с последним посетителем вынужден был выйти и Кшиштоф. Что-то испортилось в большом пневматическом молоте и кажется грозило катастрофой.

Он вернулся спустя более часа. Она ожидала возобновления разговора, однако он встал позади неё, наклонился и поцеловал её в лоб. Одновременно его нежная ладонь переместилась по щеке Марихны так нежно, так тепло...

— Я очень по тебе соскучилась, Кшисю... — произнесла она капризным, но смягчённым голосом.

— В самом деле? — он повернул её голову к себе.

— В самом деле, — заверила она.

Только сейчас она осознала, что в этих словах нет обмана. Ей недоставало Кшиштофа, несмотря на то, что она самым позорным образом изменила ему с Павлом. Она не знала как и почему, но в её сознании как-то так устроилось, что Павел был сам по себе, а Кшиштоф сам по себе.

Вдруг снова чёрт принёс Холдера. Он едва не застал их в компрометирующей близости. Всегда он входит сразу же после стука, словно не может немножко подождать. После Холдера влетел Яхимовский по поводу какого-то предложения. Он был очень взволнован, когда переворачивал бумаги, у него дрожали руки, а Кшиштоф вынужден был дважды повторять ему одно и то же. Марихна ещё никогда не видела таким Яхимовского. Он всегда был так отвратительно улыбчив и слащаво вежлив ко всем младшим сотрудницам. Сейчас даже не обратил на неё внимания и вышел, не закрыв за собой дверь. Марихна припомнила телефонный разговор, который Павел вёл с ним недавно, и подумала, какая разница бывает между людьми: оба понесли одинаковые потери, а Павел умел повести себя как настоящий мужчина, даже не поморщился.

— Что с ним? — спросил Кшиштоф.

Марихна испытывала большое желание поделиться с ним своими предположениями, но вовремя прикусила язык. Сразу влипла бы!

Впрочем, Кшиштоф видимо не ожидал ответа, если заговорил о своей болезни, о высокой температуре и о предостережениях доктора от новой простуды, которая может угрожать серьёзными осложнениями.

— Знаю, знаю, — с сочувствием покачала головой Марихна. — Это было очень опасно. Коль скоро даже вызывали доктора из Вены...

— Откуда ты знаешь об этом? — спросил он приглушённым голосом.

— Здесь говорили. Не понимаю, разве это какая-то тайна?

— Да отнюдь. Просто не люблю, когда излишне занимаются моей персоной.

— Извини, — отвернулась она обиженно.

— Ну, Марихна, это тебя не касается!

Она чувствовала, что Кшиштоф говорит это неискренне. Вечно у него от неё какие-то тайны... Это было уже выше её сил. А ещё как-то вырвал у неё из рук пиджак, когда она прочитала на вешалке фирму венского портного. Это очень даже непатриотично, не поддерживать отечественную промышленность, а давать зарабатывать иностранцам.

— Больше никогда, — сказала она холодно, — я не напомню тебе о Вене.

— Марихна, — произнёс он увещательно.

— Нет, нет, в Вене всё отлично, а здесь всё плохо. И портные, и доктора, и, естественно... женщины... Собственно, потому ты меня и не хочешь... Увы, я не имела счастья родиться в Вене.

— Не говори глупостей, любимая. Я привык к некоторым заграничным вещам...

— Именно к венским. Непонятно почему, ведь учился ты не в Австрии, а в Бельгии и в Швейцарии. Где Рим, а где Крым... Исключительно, разумеется, венские...

Он вскочил и подбежал к ней:

— Марихна! Что с тобой произошло? — он взял её за руку. — Что произошло за это время? Марихна!

Она покраснела и опустила взгляд. Сориентировалась, что своим необычным поведением может вызвать у Кшиштофа какие-нибудь подозрения.

— Ничего со мной не произошло, — буркнула она. — Просто я немного на тебя обижена.

— Но за что?

— Сама не знаю... так...

Желая до основания развеять подозрения Кшиштофа, она улыбнулась ему и сложила губы клювиком, готовым для поцелуя.

Это скрепило согласие. Проблема шубы не вызвала у Кшиштофа никаких сомнений. Без оговорок принял, что она была куплена в рассрочку. После трёх пришёл шофёр Павла и доложил, что по поручению своего хозяина предоставляет машину в распоряжение пана директора Кшиштофа.

— Благодарю, — кивнул ему головой Кшиштоф. — Можете оставить машину. Я поведу сам.

Когда шофёр вышел, Марихна рискнула заметить:

— Как это любезно со стороны твоего двоюродного брата. Правда? Кшиштоф покраснел, в его глазах заискрилась злость:

— Не вижу в этом никакой любезности. Автомобиль не является его собственностью.

— Я ничего и не говорю, — оправдывалась Марихна.

— Да, но если бы это сделал другой, тебе даже не пришло бы в голову усматривать в предоставлении мне автомобиля какую-либо особую учтивость. Но если это сделал Павел...

— Кшисю, я действительно не понимаю...

— Не перебивай! Я точно знаю, что он тебе нравится.

— Вовсе нет.

— Это невыносимо. Я не раз видел, как ты на него смотрела.

Марихна скорчила мину оскорблённой невинности и подняла взгляд к потолку в знак незаслуженной обиды.

— Ничего не ответишь? Ничего?

— Я уже столько говорила...

Кшиштоф взволнованным шагом прошёлся по кабинету, остановился перед ней и выдал из себя сдавленным голосом:

— А я тебе запрещаю, категорически запрещаю отвечать на его взгляды! Понимаешь меня? Запрещаю. Он за тобой ухаживает, а я этого не выношу, абсолютно не выношу!

— Однако, Кшисю, я вовсе... ни тем более он...

— Не хочу... Если ты хочешь, чтобы я тебя возненавидел, делай что хочешь, но об одном тебя прошу: не вынуждай меня смотреть на это!

Сперва Марихна подумала, что возможно до Кшиштофа дошли какие-то сплетни. Однако из его поведения следовало, что он абсолютно ничего не знал о том, что произошло между ею и Павлом. Тем труднее ей было объяснить внезапный взрыв его ревности.

На обед они поехали в ресторан, а оттуда к Марихне. Кшиштоф снова был в хорошем настроении и к разговору о Павле уже не возвращался. Марихна давно заметила разницу во взаимоотношениях между двоюродными братьями. В то время как Павел не упускал ни одной возможности самым доброжелательным образом выпытывать о Кшиштофе, тот о нём отзывался либо пренебрежительно, либо язвительно. Должно быть ненавидел его за что-то.

Снова они немного целовались и читали стихи. Марихна сама себе не хотела признаться в том, что в компании Кшиштофа чувствует себя скучающей. Понемногу в её голове созревало решение поставить их отношения на прочной основе. Не знала только как это сделать и с чего начать. Впрочем, Кшиштоф после гриппа был таким исхудавшим, что к нему следовало относиться с большей снисходительностью. Но какое отличие: в обществе Павла у неё не было времени на рефлексии, она не скучала ни секунды...

А сейчас... она мечтала только об одном: когда наконец он отправится домой и оставит её одну. Может вечером позвонит Павел...

— Кшисю, — прервала она его чтение, — ты знаешь, как мне хорошо с тобой, но я боюсь, не скажется ли это на твоём здоровье, ты так утомляешь себя чтением...

— Я не чувствую себя усталым.

— В самом деле, не лучше ли пораньше лечь в постель? Всё же это первый день после болезни.

Ей удалось придать своему голосу достаточно искренности, чтобы он отложил книжку и сказал:

— Ты любишь меня немножко, Марихна?
— Как ты можешь даже спрашивать об этом?
— Знаю, знаю... Ах, если бы у меня были гарантии.. если бы я имел право желать, чтобы ты меня всегда и несмотря ни на что любила...
— Не понимаю?.. Несмотря на что?
Кшиштоф погладил её по волосам и грустно покачал головой:
— Поговорим об этом... скоро.
Он задумался и добавил:
— Мне советуют на несколько недель поехать в горы.
— В горы? — она посмотрела на часы.
— Да. Я размышляю над этим... Нет ли у тебя желания поехать со мной?

Марихна была поражена. Она никогда не выезжала из Варшавы, ведь Зеленка не в счёт, а о горах, о Закопане мечтала давно. Но с другой стороны, уехать сейчас с Кшиштофом, сейчас, когда она стала любовницей Павла, казалось ей чем-то невозможным, чем-то в высшей степени неприличным.

Её без сомнения привлекал этот проект, но она никогда не решилась бы на это без согласия Павла. Она вполне отдавала себе отчёт в том, что такое путешествие вдвоём было бы решающим. То есть Кшиштов в конце концов решился бы. Она не боялась этого. Напротив. Он интересовал её и притягивал своей таинственностью и своей странной, необычной красотой.

Во всяком случае ей хватало опыта задуматься над тем, что в конечном счёте Кшиштоф останется в Варшаве, а Павел вскоре снова уедет за границу. Лучше воробей в руках...

Весь следующий день она была поглощена размышлениями на эту тему. В какой-то момент она задумалась над тем, почему Павел никогда не упоминал о задуманном возвращении за границу, о котором Кшиштоф всегда говорит как о чём-то не подлежащем никаким сомнениям, как о чём-то давно решённом.

Увы, сейчас у неё не было возможности проверить это. Павел в течение нескольких дней вообще не отзывался. Как-то она пыталась до него додзвониться, однако он отделался от неё шаблонным извинением: сейчас нет времени, когда появится, он позвонит сам.

Это окончательно повлияло на её решение.

— Если бы ты взял меня, — сказала она утром Кшиштофу, — я бы поехала с тобой в горы.

Глава VI

Пан Карл Далч высоко поднял редкие, кустистые брови, серебряная седина которых на пергаментных морщинах лба была похожа на приклеенный кем-то орнамент.

— Вы удивлены, дядюшка? — улыбнулся Павел.

— Постой, а что ты сделаешь со своей мануфактурой, ликвидируешь дела в Англии?

— Нет, — покачал головой Павел, — разумеется, отсюда я не смогу вести их с такой интенсивностью, как прежде, но отказываться от них не думаю. Во всяком случае, они дают хороший доход.

— Да, — тихо произнёс больной.

Павел закинул ногу на ногу и спросил по существу:

— Дядюшка кажется недоволен переменной моих планов?

— Ничуть. Я не ожидал...

— Я не хочу навязываться. Прошу меня понять, дядюшка. Если сотрудничество со мной вам не подходит, в любую минуту я могу уступить все доли. Скажу больше, готов повлиять на Толевского, который приобрёл долю Ганта, и он своё тоже продаст.

— Ты отлично знаешь, — поморщился пан Карл, — что у меня нет для этого достаточно денег. Впрочем, ты ошибаешься, если думаешь, что сотрудничество с тобой не устраивает меня...

— Ну, тогда может Кшиштофу...

— Вот именно... Не любите вы друг друга.

— Простите, дядюшка, это он меня не любит.

— Если Кшиштофа так волнует главенство в управлении, могу уступить его сразу по его возвращении, хотя как действительный совладелец фирмы не считаю его достаточно зрелым для ведения совокупности дел такого большого предприятия.

— Возможно, ты и прав.

— Кроме того, чтобы избежать подозрений в каких-либо махинациях, которые могут прийти в голову любому человеку, способному на не слишком честные действия...

— О каких махинациях ты говоришь?

— Ах, дядюшка, нужно трезво смотреть на жизнь. Я не люблю играть в прятки. Дело может выглядеть так, что я затем приехал на родину, чтобы, используя ситуацию, пролезть на руководящие должности в фирме. Мне нет нужды оправдываться перед вами, кому с самого начала известно, на чём основывается моя роль и в каком направлении простираются мои амбиции.

— Нет, — произнёс пан Карл, — у меня нет к тебе никаких претензий. Ты поступил достойно.

— Пожалуй, это первое слово признания, которое мне довеолось услышать от кого-либо из родных со времен моего детства, — засмеялся Павел.

Он не преувеличил. Действительно, впервые в банальной похвале дядюшки прозвучала нота едва ли не приветливости. И это именно сейчас... Сейчас потому, что на сером замшевом одеяле лежала квитанция манчестерского банка с достаточно аккуратно для старческих глаз подчищенной датой, логика плана не имела ни одного пробела. Ну, отчасти также и потому, что на вчерашнем заседании Совета Яхимовский стыдился своей неудачи и молчал словно заколдованный, не в силах выдавить из себя слов горечи, которые душили его.

Какой же прекрасной была эта картина: тупая, недовольная и по-актёрски высокомерная морда Толевского, подчеркивающая свою хоро-

шо заученную роль движениями контрабандистских усов, с волнением провинциального комедианта, а напротив — выгоревшая, вспотевшая морда Яхимовского, готовящегося к прыжку и перебирающего пальцами с таким ожесточением, словно его держали за горло.

Смекалистые, бегающие глаза Блумкевича, подлинно несчастные от того, что не могут раскрыть нечто, что должно произойти, но невозможно разгадать, ну и Кшиштоф.

В висевшем напротив зеркале Павел видел своё лицо — серьёзное, сосредоточенное, полное достоинства, лицо, к которому не посмело бы протянуться никакое подозрение, никакое сомнение. Не только в зеркале. В глазах Яхимовского, Блумкевича, даже в ротозейничестве Толевского отражалось такое же несомненное доверие. Зато Кшиштоф...

Он заметил это ещё раньше, когда Блумкевич от имени пана Карла занимал пост президента. Павел обратился к Кшиштофу с невинным на вид вопросом, что он ничего не имеет против этого. Тогда в его чёрных глазах заметил какое-то странное выражение, а в голосе словно вызов, хотя слова выражали конвенциональное согласие.

И позднее, когда, склонившись над бумагами, Павел читал отчёт, он чувствовал на себе его утомительный, пронизательный взгляд. Неожиданно отрывая взгляд от ровных линий машинописного текста, он напрасно пытался в перехваченном взгляде Кшиштофа прочесть содержание его мыслей, проникнуть в смысл, цель, намерения этого изучения... Изучения ли?..

Он не мог найти этому определения и не хотел констатировать в себе нелепое, непростительное чувство смущения и раздражения. Не хотел признаться самому себе в том, что этот соплик становится для него психологической загадкой, которую невозможно постичь, перед которой он остаётся бессильным, он, считающий себя безошибочным в понимании людей, даже тех, что ловчее других скрывают своё нутро от посторонних взоров. В таком случае у него возникало опасение, что он сам является объектом, изучаемым с холодной систематичностью... Ба, он даже не знал, с холодной или яростной, которую рождает только ненависть.

Правду сказать, это не могло нарушить его равновесия или поколебать уверенность в себе. Он ни секунды не сомневался в том, что для любых, для самых внимательных глаз останется только тем, чем захочет быть. Однако он заметил в себе колебание, которое было явлением неожиданным и досадным. Ещё вчера он подготовил план примирения с Кшиштофом. Вследствие неудачных и ошибочных технических расчётов предприятие понесло серьёзные убытки на поставке фрезерных станков. Всю вину должен был понести Кшиштоф. Вину, ответственность и любые последствия морального порядка.

Так вот Павел решил представить дело таким образом, чтобы Кшиштоф избежал компрометации, и одновременно дать ему понять, что это он, Павел, из доброжелательности покрывает всё дело.

Всё было трезво просчитано и подготовлено. Однако когда настойчивый взгляд Кшиштофа стал невыносимым, Павел изменил намере-

ние: наоборот, он застанет его врасплох решительной атакой, дисквалификацией его знаний, запятнает отсутствием опыта. Пусть фат не позволяет себе слишком много, пусть знает, что и Павел может крепко дать ему по рукам...

Но... Он не мог. Хотя он и представил дело в соответствии с первоначальным продуманным планом, но сам себя не смог бы убедить в том, что сделал это из тех самых побуждений. Ох, не любил он обманывать себя. Он был слишком смел для этого. Просто... размяк! Что за идиотизм!..

«Не понимаю, что со мной произошло», — думал он с гневом, возвращаясь домой.

Уже на ступеньках он припомнил, что и раньше, всякий раз разговаривая с Кшиштофом он не всегда строго следовал принятой тактике. Что — чёрт возьми! — сопьяк действовал ему на нервы раздражающе, не поддающимся логическому объяснению способом.

Со дня заседания он нарочно, для самоконтроля, старался как можно чаще видеть Кшиштофа. Сведения, которые он сумел собрать о нём от Марихны, от работников завода, через прислугу наконец, ничего не прояснили.

По этому после заседания он уже три раза был у дядюшки. На заводе Кшиштоф явно его избегал. Но и на этот раз он его не встретил, а нашёл только то, что ещё раз убедился в антипатии этого юнца к себе.

С точки зрения дел сейчас не требовалось слишком считаться с Кшиштофом. Даже раскрытие фактического положения дел не изменило бы того, что он уже был владельцем законно приобретённых долей предприятия. Вместе с пакетом Ганта, в настоящее время остающимся в руках Толевского, у него было сорок два процента долей, или действительно решающий голос, если принять во внимание то, что Яхимовский всегда примет его сторону, возможно не из симпатии, но по расчёту, так как они ненавидели друг друга с паном Карлом.

Со времени выздоровления Кшиштофа Павел начал систематически ограничивать его вмешательство в управление предприятием. Не раз он был готов даже к стычке по этому поводу. Однако до скандала не дошло, то ли благодаря безразличию Кшиштофа, то ли вследствие его миролюбивого настроения. Никким образом Павел не мог с этим определиться ни исходя из собственных наблюдений, ни из того, что удалось вытянуть у Марихны.

Он вспомнил о ней и решил позвонить сразу по возвращении от дядюшки. Однако дома его ожидал сюрприз. То есть он застал Здислава и Галину. Они сидели в салоне с угрюмыми лицами. Он не видел их несколько дней. С Галиной он никогда не искал встречи, а Здислав три недели был в отпуске и бил баклуши на охоте и у родственников матери. Очевидно он приехал в Варшаву, вызванный Яхимовским, а этот визит отдалённо напоминал демарш, коллективный протест, семейную интервенцию.

— Добрый вечер, — поприветствовал он почти иронично. — Чем обязан вашему приятному визиту?

— Мы хотели поговорить с тобой, — начал Здислав, поправляя галстук.

— К вашим услугам.

Он сел напротив и довольно долго ждал, когда брат изложит свои претензии. Но тот видимо не знал, с чего начать.

— К вашим услугам, — повторил он нетерпеливо, видя, что этим ещё больше обескураживает родственников.

— Ну, говори же, Здих, — двинулась в кресле Галина.

— Мы хотели спросить... хм... мы хотели узнать, возможно ли то, о чём рассказывает Яхимовский.

— Не он, а Людка, — поправила Галина.

— Всё равно, пусть Людка, что ты подставил Толевского и выкупил наши доли на его имя.

Павел закурил папиросу.

— А можно спросить, вас это как касается?

— Вот странный... Ну, всё же это наши доли.

— Были ваши, — спокойно подчеркнул Павел, — были до времени, пока отец их не продал.

— Он сделал это незаконно!

— Хм... не думаю. У него были неограниченные полномочия. Впрочем, он между вами их разделил. В действительности они были его исключительной собственностью.

Здислав вскочил.

— Ах, это неважно. Во всяком случае ты можешь нам ответить?

— Могу. Без какого-либо подставления я просто купил эти доли.

— И доли Ганта, самым коварным образом!

— Успокойся немедленно, — холодно прервал его Павел.

— До сей поры мы тебя не знали! Это подлость!

Павел встал и, сделав один шаг, отчётливо произнёс:

— Ты и сейчас меня не знаешь. Ещё одно оскорбительное слово, ещё одно повышение голоса, и получишь по морде, так что зубы полетят... Сядь!

Здислав вытаращил глаза, съёжился и упал в ближайшее кресло.

— Я купил доли, понимаете, выкупил их, — сказал Павел уже спокойно, — и не вижу в этом ничего, что составило бы ваш ущерб.

— Всё же это наше!..

— Вы получили их даром по милости отца, и он у вас их забрал. Я их выкупил за свои собственные деньги, которые сам заработал. Чего ещё вам надо!

Они молчали.

— Я вам ничем не обязан. Вы и сами, пожалуй, это признаете, не так ли?.. Сверх того в любую минуту я готов уступить вам приобретённые мной доли. Я заплатил за них сто десять тысяч долларов наличными, и за эту сумму отдам их без гроша комиссионных. Они мне не нужны. И доведу до вашего сведения, что стоимость их значительно выше.

— Ты же знаешь, что у нас ничего нет, что мы нищие, — склонил голову Здислав.

— Нищие?... Хм... Нет, просто вы вынуждены работать на пропитание. Вероятно подаяний от меня вы не ждёте, нет?... Должно быть, вы помните те сладкие времена, когда я сидел за границей без гроша за душой, и никто из вас пальцем не пошевелил? Так?..

— Во всяком случае... ты поступил эгоистично, — произнесла Галина.

— То есть, например, заплатил долги отца.

Установилось молчание.

Павел наслаждался своей победой.

Когда-то он ненавидел их всех. Сейчас у него осталось только презрение и неприязнь ко всей родне, к этой группке снобов и глупцов, которая принимала его за паразита! За неудачника! К одной только матери он сохранил какую-то долю нежности, холодного взаимного чувства, крупицу благодарности за то, что она случайно стала, благодаря своей феноменальной наивности, средством, с помощью которого он очутился на свете. С его стороны это не было благодарностью, а если он и посылал ей несколько сотен злотых ежемесячно, то единственно с целью удержать её в деревне, вдали от Варшавы.

Сверх того он никогда не испытывал никаких родственных чувств, а саму семью считал группой совершенно случайной и ни к чему его не обязывающих людей. И потому его решение убрать Здислава с завода было продиктовано не антипатией к брату, но убеждением в том, что этот олух на предприятии ненужная помеха.

Пользуясь случаем он хотел решить и эту проблему.

— Здислав, — сказал он, — дядюшка Карл потребовал убрать тебя с завода. Я возражать не мог, поскольку не посоветовался с тобой. Но я не хотел бы вручать увольнение тебе, лучшему работнику. В этой связи прошу тебя, подай прошение об отставке.

Здислав побледнел.

— Это месть за то, что я осмелился заявить о своих правах?

— Нет, глупец! — прошипел угрожающе Павел. — Ты не имеешь права! Это моё одолжение! И к чёрту, не провоцируй, чтобы я изменил... Я выхлопотал для тебя должность в Морском Банке в Гдыне. Получишь там точно такие же условия. Ты их недостоин, и советую обеими руками держаться за это место, ибо больше для тебя никто ничего не сделает.

— А если я вовсе не намерен выезжать из Варшавы!

Павел пожал плечами и повернулся к сестре:

— Тебе тоже надо на что-то жить. Поступишь правильно, если позаботишься о какой-нибудь должности.

Галина смотрела на него с ужасом.

— Ты шутишь, Павлик, ведь я ничего не умею!

— Ты знаешь иностранные языки. Стало быть, я могу порекомендовать тебя надёжной фирме. Во всяком случае, до вторника ты должна принять решение. От меня больше не получишь ни гроша, и счета твои оплачивать я не намерен. Разумеется, у тебя целая стая приятелей, мо-

жешь позаботиться, чтобы кто-нибудь впал в идиотизм и женился на тебе. Но это меня уже не касается.

Он встал и нажал звонок.

— Теперь я должен с вами проститься. Кое-кого ожидаю.

Они не успели выйти, а он уже отдал распоряжение слуге:

— Запомни, Карл, что господа категорически требуют чтобы двери из их части квартиры в мою были постоянно заперты.

— Слушаюсь, но только что пан Здислав велел...

— Я сказал, — безапелляционно прервал Павел и перешёл в кабинет.

Он сел за бюро и позвонил Марихне. Спустя довольно много времени она подошла к аппарату. Говорила голосом неестественно приглушённым и была взволнована.

— Что случилось? — не сориентировался Павел.

— Сейчас мне трудно говорить, может вы позвоните позже?..

— Ага! — догадался он. — Твой воздыхающий Ромео у тебя?

— Да.

— Тяжелый случай. Если рано освободишься от него, приезжай ко мне.

— О, я хотела бы, но не знаю...

— Стало быть, жду.

Он сам себе улыбнулся. Ни на мгновение не сомневался в том, что Кшиштоф ему не соперник. Вообще мужчины этого типа не пользуются успехом у женщин, а этот со своим платонизмом, со стихами и, вероятно, со вздохами, опоздал на добрых сто лет. Разумеется, Павел мог бы без особых усилий отодвинуть Марихну от Кшиштофа и безраздельно занять его место, если бы он был в этом хоть чуточку заинтересован. Однако он до сей поры ни разу в жизни не пылал жаждой исключительности в обладании женщинами, а тут для него речь шла главным образом об источнике информации о Кшиштофе.

Сейчас, когда первая часть плана была осуществлена, следовало основательнее изучить возможность полного подчинения себе предприятия.

Павел на выбор мог действовать несколькими путями. Простейшим, но одновременно самым трудным, было бы получение полного влияния на Кшиштофа. Он уже пробовал это в самых романтических случаях, и всегда безрезультатно. Например, сейчас тщетно пытался ускорить его выезд в горы. Кшиштоф, то ли подозревая какую-то хитрость, или просто из упрямства со дня на день откладывал свой отъезд. Не помогали ни самым искусным образом подsunутые прогнозы мартовской ситуации на предприятии, когда присутствие технического директора будет необходимо, ни с добрыми намерениями принятые Марихной уговоры. Однажды, когда Павел сказал ему, что он выглядит больным, Кшиштоф окинул его ироничным взглядом и спросил:

— Разве это тебя трогает?

За это он готов был убить сопляка, и за ту насмешливую улыбку, такую разительную на раздражающе свежих губах, на которых ещё молоко не обсохло.

И так всегда. Сколько раз глядя на него он замечал какое-то задумчивое и печальное-мечтательное настроение в его чёрных глазах, которые тотчас преображались в выражение холодности и отпора. Всё это напоминало ему товарища по гимназии, Вацка Юркевича, которого он возненавидел за то, что тот не хотел отплатить ему симпатией... Правда было бы грубым преувеличением сказать, что к Кшиштофу он испытывает симпатию, и тем не менее что-то притягивало его к этому самонадеянному, зазнавшемуся дурню.

Он рассердился, когда вспомнил об этом. А произошло это так: однажды в салоне, где он привычно ожидал, когда дядюшка его примет, натерали полы и Блумкевич проводил его в маленькую боковушку, бывшую чем-то вроде будуара пани Терезы. На столе лежал альбом с фотографиями. Машинально перелистывая его страницы, он наткнулся на целую серию снимков Кшиштофа. Насчитал их несколько десятков, в основном любительских, представляющих Кшися маленьким мальчиком, подростком, юношей, взрослым мужчиной, однако всегда с той неуловимой юностью, очарование которой тут выделялось ещё ярче, чем в жизни.

— Почему он не переносит меня? — думал он, разглядывая страницы альбома, — Всё же я не сделал ему ничего плохого, не дал ни малейшего повода для подозрений, напротив, добиваюсь его доброжелательности, и он не может знать, что это неискренне...

Именно в эту минуту он уяснил для себя, что не так уж неискренне, как должно бы быть.

Он слишком часто думал о Кшиштофе, слишком близко к сердцу принимал его демонстративную неприязнь, черезчур переживал его дерзкий тон и до чёртиков — не мог отогнать идиотскую мысль, что по сути дела Кшиштоф из-за какой-то ожесточённости, из-за какого-то упрямства относится к нему так сурово и враждебно.

С момента приобретения долей Павлу не было нужды безоговорочно считаться с дядюшкой и Кшиштофом. Сто раз обещал он себе решительным образом отреагировать на его дерзость грубо и отрезвляюще. Когда однако дошло до дела, не изменил своей тактики, и более того, сам перед собой оправдывался в минутной слабости, ловил себя на этом и не мог себе этого простить.

И всё же снискание симпатии Кшиштофа не было необходимостью. Существовала и другая, тоже прямая дорога... избавиться от него.

Павел ещё месяц назад выяснил, что состояние здоровья дядюшки вызывает всё большие опасения, что паралич в любой день может охватить весь организм, чего опять же не выдержит сердце. Этими сведениями он был обязан невинному обману. То есть хотя и чувствовал себя превосходно, посетил домашнего врача дядюшки, доктора Шулборского, жалуясь на мигрень и высказав уверенность, что знания пана доктора, благодаря которому дядюшка Карл чувствует себя так хорошо, и на этот раз...

Так вот, в случае смерти дядюшки, единственным его наследником остаётся Кшиштоф. А если бы и с ним... приключился какой-нибудь несчастный случай... На заводе несчастные случаи не редкость!..

У парадных дверей раздался звонок. Прислуга давно получила запрет появляться после девяти. Павел встал, потянулся и пошёл открывать.

Зарумянившаяся от мороза, с искрившимися от радости глазами влетела Марихна. Её шуба пахла свежим, холодным воздухом, а губы были упругие и холодные как апельсин.

— Ух, наконец-то, — она забросила руки ему на шею.

— Тебе это было крайне необходимо?

— Это тоже, — рассмеялась она, — но наконец-то завтра едем.

— В Закопане?

— Куда там! В Швейцарию!!!

— Хо, хо.

Она была очень весела. Поправляя волосы перед зеркалом, тараторила новости одну за другой, переплетая всё это восклицаниями, наконец расположилась на коленях Павла, рассказывая как поедут, что увидят и что вообще она счастлива!

— Это хорошо, — сделал печальную мину Павел, — ты счастлива, что меня оставляешь тут, что едешь изменять мне с другим. Не ожидал от тебя этого.

Ему было интересно, как она на это отреагирует. Его высказывание сильно задело её за сердце. Она сидела неподвижно и, уставившись в пол, молчала.

— Когда... когда это я изменяла тебе с ним,.. только ему с тобой, — произнесла она несмело, однако тоном, который свидетельствовал об огорчении, которое вызвало у неё выяснение дела такого простого, и такого для неё огорчительного, действительно огорчительного...

Павла это искренне развлекло.

— Во всяком случае ты радуешься, что едешь.

— Вот и нет, — встревожилась она. — Я не радуюсь что еду, что не буду видеть тебя, я радуюсь только тому, что буду за границей. Я вовсе не хотела бы, если бы... Впрочем... если ты не хочешь, то я не поеду... Но ты сам говорил...

Она заметила наконец его полуулыбку и обиделась:

— Э-э-э, ты просто издеваешься надо мной...

Доказательство того, что он не издевается, захватило Павла более чем на два часа, к удовлетворению обеих сторон.

В перерывах между наиболее вескими аргументами Павел шутя пытался давать Марихне указания, каким образом следует приступить к преодолению упрямой добродетельности Кшиштофа. Но она не желала этого слушать и утверждала, что стыдится.

Зато под тем предлогом, что не хочет забыть о нём, попросила его фотографию.

— Зачем тебе, — пожал он плечами, — Ещё Кшишоф найдёт её у тебя, и получишь сцену ревности.

— Ну, он не будет рыться в моих вещах, — возмутилась она. — Кшись джентльмен.

— Моя дорогая, каждый мужчина джентльмен, нежный, архиделикатный и угодливый ко всем хорошеньким женщинам до той поры, пока не займется на них прав. Почти каждый впоследствии изменяется до неузнаваемости.

— Мужчины ужасны, — вздохнула Марихна так, словно свои эксперименты в этом отношении считала копами¹.

Он засмеялся и продолжил:

— Зато женщины наоборот: в отношении ко всем мужчинам притворяются всемогущественными монархинями, неприступными и полными достоинства, а когда с тем или другим однажды сойдутся поближе, по отношению к нему превращаются в угодливых невольниц.

— Если это так, то это очень печально, — после размышлений сказала Марихна и наклонила абажур, поскольку ей показалось, что свет лампы бьёт Павлу в глаза.

Она должна была уйти пораньше, чтобы хорошенько выспаться перед дорогой. Завтра она не появится на заводе, стало быть попрощалась с Павлом сейчас, среди множества поцелуев уверяя, что ни на секунду о нём не забудет. Из нескольких фотографий, бывших под рукой, она выбрала ту, на которой у него были полуприкрыты глаза и он выглядел так «опасно».

Когда она наконец ушла, Павел погасил лампу и лёг в кровать, но заснуть не мог. Вновь и вновь возвращалась мысль о несчастных случаях, которые на заводе — вещь частая и естественная, о случаях, в которых с лёгкостью могут оказаться те, кто ходит по цехам, как, например, технический директор...

Вдруг он припомнил как в одном из разговоров Яхимовский, да, именно Яхимовский сказал:

— Не вижу особой причины для беспокойства в том, что Кшиштоф лазает по заводу и суёт свой нос во все машины. Нас, его наследников, это меньше всего беспокоит.

Тогда Павел не обратил внимания на эти слова. Однако сейчас со всей очевидностью осознал, что его собственные мысли родились из этого внушения Яхимовского.

— Вот глупая скотина! — выругался он вслух.

В эту минуту он принял решение: в первую очередь следует выгнать с завода Яхимовского.

Это его успокоило, и он спал крепким сном до самого утра.

Он проснулся со свежей головой, и даже в хорошем настроении. В этот день у него было много дел. Большею частью это были дела, давно откладываемые до отъезда Кшиштофа, то есть до времени, когда обязательная корреспонденция могла без контроля покидать фирму. После этого он должен разделаться с Яхимовским.

¹ Копы — мера счёта в 80 штук. — Прим. пер.

Около одиннадцати шофёр доложил, что отвозит на вокзал Кшиштофа.

Павел глянул на часы:

— Подожди минуту, я поеду с тобой.

Спустя минуту он был недоволен своей неуместной идеей. Однако слово сказано, и коль скоро не было возможности для самого себя найти объяснение этого бессмысленного шага, нужно было придумать что-то, что не выставило бы его в смешном виде в глазах Кшиштофа и оправдало проводы на вокзал.

Как назло в бумагах, лежавших на бюро, не было ничего такого, что требовало бы объяснений технического директора. Вдруг ему пришло в голову, что он может попросить Кшиштофа посетить в Швейцарии некоторые металлургические заводы и сделать наблюдения, которые можно было бы тут использовать. Это показалось ему достаточным предложением.

Автомобиль объехал длинный прямоугольник заводской стены и остановился перед штaketником виллы. Шофёр трижды нажал кнопку сигнала, и спустя несколько минут парадные двери открылись. Служанка, пожилая полная женщина, поставила два чемодана перед шофёром, несессер же и несколько безделушек подала Павлу. Следом за ней показался Кшиштоф в элегантном дорожном пальто и с ещё одним чемоданом.

— Побойся Бога, Кшись, — шутливо приветствовал его Павел, — едешь на две недели, а забираешь столько вещей, словно пожилая женщина, выбирающаяся на пол-года.

Он сразу заметил недовольство Кшиштофа, вызванное, очевидно, тем, что тот не ожидал, что Павел захочет его проводить.

— Ах, только самое необходимое, — сказал он уклончиво, однако его лицо покрылось румянцем гнева.

Павел делал вид, что не замечает, и даже находил в этом своего рода удовлетворение, что Кшиштоф не может избавиться от его навязанной помощи.

— Ты выглядишь так, — произнёс он вызывающе, — словно недоволен, ну прости, хотел поговорить с тобой по дороге о делах фирмы.

— Ничего не имею против.

Автомобиль тронулся. Павел в нескольких словах изложил проблему, как он уверял, большого значения. Речь идёт о возможном подразделении по производству небольших электромоторов для сельского хозяйства. Есть перспективы найти средства для расширения завода. Поэтому было бы полезно, если бы Кшиштоф осмотрел промышленные предприятия в Швейцарии, такие как Суллиса и Таршенвалда, чтобы разобраться в их методах.

— Думаю, что тебе это не доставит особых трудностей, — закончил он.

Кшиштоф пожал плечами.

— Я знаю эту проблему достаточно хорошо, именно в Швейцарии. Впрочем, я еду на отдых.

— Я не настаиваю, просто подумал...

— Ты мог сказать мне об этом вчера, — холодно заметил Кшиштоф.

— Не мог по двум причинам. Во-первых, сам ещё не знал, что возможность расширения предприятия в этом направлении имеет финансовые возможности, а во-вторых, ты сам ещё не решил с датой отъезда.

Кшиштоф остановил на нём пронизывающий взгляд:

— Это правда. Не знал даже, что еду в Швейцарию, и... интересно, откуда ты об этом узнал?

Павел выругался про себя за такую неловкость, но виду не подал. Он изобразил удивление:

— Откуда?.. Ну, Холдер мне говорил.

— Холдер? Он тоже не мог знать.

Другого выхода не было. Чтобы прикрыть Марихну следовало на неё сослаться:

— Тем не менее он знал. Говорил мне, что слышал это от одной из машинисток, какой-то Ярошувны или Яршувны. Я даже почувствовал себя задетым этим. Сообщаешь о своих намерениях чуть ли не служащей, а мне об этом не говоришь, хотя на всякий случай у генерального директора мог бы быть адрес, по которому в случае какого-либо происшествия он мог бы найти технического директора.

Он рассмеялся, чтобы свести всё к шутке, и добавил:

— Проблема в том, что ты слишком много рабобтаешь, если не помнишь, что мы с тобой очень близкие родственники.

Автомобиль как раз подъезжал к ступенькам вокзала. Кшиштов вернулся и произнёс:

— Ты ничего об этом не знаешь, Павел.

К дверям кинулся швейцар. Павел не провожал Кшиштофа на перрон, поскольку не хотел ставить его в аварийную ситуацию в связи с присутствием там Марихны. Они подали друг другу руку, и снова Павлу показалось, что в его чёрных глазах мелькнула искорка симпатии.

В толчее автомобилей шофер повернул, и машина помчалась к заводу.

Павел закурил папиросу. В лимузине остался слабый запах туалетной воды Кшиштофа. В самом деле необыкновенный он парень. Несомненно, это результат ненормального воспитания... И что должна была значить эта его фраза?.. Звучало это так: если бы ты знал то, о чём даже понятия не имеешь, тогда понимал бы меня, но это безнадежно.

— Нонсенс, — возмутился Павел, но в ту же минуту напомнил себе, что Кшиштоф снова назвал его по имени, что случилось всего лишь во второй раз. И снова произнёс его с какой-то тёплой интонацией, с интонацией, очень сильно отличающейся от обычного сухого тона.

— Наплевать, — он нахмурился. — Я слишком много думаю об этом сопляке.

Вернувшись на завод он вызвал Холдера.

— Директор Яхимовский ещё здесь?

— А как же, пан директор. Я могу его позвать?

— Нет. Но позаботьтесь, когда он уйдёт, вызвать ко мне пана Карличека.

Вопреки своему имени, это был полный, высокий мужчина с рыжеватой растительностью и с тяжёлыми медвежьими движениями.

Павел указал ему на кресло перед бюро.

— Мы мало знакомы, — начал он, — но думаю, что я могу вам доверять.

— Да, — пробормотал Карличек и нахмурился.

— Как давно вы являетесь заместителем коммерческого директора?

— Пожалуй более восьми лет, пан директор.

Павел изобразил удивление.

— Более восьми? И всё это время вас не повышали?

Карличек беспомощно развёл руками.

— Хм... — задумался Павел, — вы не считаете, что несколько обижены? Всё же вам даже жалованье не поднимали ни разу.

— Вовсе нет, один раз на сто злотых.

— Стало быть, сколько вы имеете в месяц

— Девятьсот, пан директор.

— Так мало?... Хм... а сколько получает ваш начальник?

— О, пан Яхимовский получает две тысячи... Но я это понимаю... Как совладелец...

— Ошибаетесь, — прервал его Павел, — платят за работу, а не за то, что кто-то имеет доли. Да... Мой покойный отец был о вас самого лучшего мнения. Те наблюдения, которые я успел сделать за время руководства, полностью его подтверждают! Поэтому я хотел бы дать вам свидетельство того, что мы умеем ценить заслуги, оказанные для нашей фирмы.

— Покорно благодарю, пан директор, в самом деле...

— Благодарить не за что. Я думаю прежде всего об интересах предприятия. И собственно поэтому считал бы, что вы заслуживаете другого, лучшей и лучше оплачиваемой должности.

Лицо Карличека покрылось густым румянцем.

— О, действительно, пан директор, — произнёс он заикаясь, — я уже настолько сжился с работой коммерческого отдела... Если вы так любезны... я просил бы оставить меня на прежнем месте...

Павел делал вид, что просматривает бумаги. Однако даже малейшее вздрагивание лица подчинённого не укрылось от его внимания. Он не ошибался. Было ясно, что на своём месте у Карличека были хорошие дополнительные доходы от комиссионных и взяток. Очевидно Яхимовский не был бы в порядке, если бы этому олуху не удалось стянуть ни гроша. Павел догадывался об этом давно. Сейчас нашёл подтверждение обоснованным подозрениям, что впрочем было ему на руку.

— Пан инженер, — произнёс он, — по крайней мере я и не думал о вашем переводе в другой отдел. Напротив. Есть мнение, что в коммерческом отделе вы незаменимы. Вам известно какие отношения господствуют между моим шурином и президентом Далчем?

— Слышал, что не самые лучшие... но я такими вещами не интересуюсь, меня это не касается...

— Речь не о том, пан Карличек. Вопрос заключается в том, что президент хотел бы расстаться с паном Яхимовским. А также он спрашивал меня, считаю ли я, что вы были бы подходящей кандидатурой для должности коммерческого директора. Я говорю вам об этом в уверенности, что ни единое слово этого разговора не выйдет за двери моего кабинета.

— О, в этом вы можете быть уверены, пан директор.

— Я уверен, — с невозмутимым спокойствием Павел склонил голову. — Поэтому могу вам искренне сказать, что президент желает найти повод, причину, моральное основание для отставки нынешнего коммерческого директора. Вы понимаете?

— Конечно...

— От этого всё зависит. Так вот, не желая придать делу ненужную огласку назначением специальных ревизоров, мы обращаемся к вам. Надеюсь, что как испытанный друг фирмы вы захотите облегчить мне задачу и назовёте несколько дел, которые могут дать это моральное основание.

Карличек сидел неподвижно, уткнувшись глазами в пол. На его шее набухли складки красной кожи, сплетённые короткие и толстые пальцы безостановочно совершали червячные движения.

— Ну, пан инженер? — поторопил Павел.

— Я конечно... — пробормотал Карличек, — конечно, осмотрюсь... поищу...

— Поищите и найдёте?

Карличек метнул в его сторону изучающий взгляд:

— Вероятно... Думаю да... В течение нескольких дней...

Павел снисходительно улыбнулся:

— Шутите, пан Карлчек, шутите. Разве я похож на расположенного к шуткам, пан Карличек? За несколько дней множество особ может вылететь за заводские ворота, которые очень легко открываются только для входящих, тогда как выходящих выпускают неохотно. За несколько дней многое произойдёт. Не у всех есть на это время. Поэтому я думаю, что вы сразу, немедленно, не выходя из этой комнаты сумеете припомнить что-нибудь интересное.

— На самом деле так трудно, пан директор, — Карличек достал большой платок с розовой каймой, развернул его и вытер лицо.

— О, верю вам, что трудно, но память человека благоразумного начинает работать интенсивнее в минуты, от которых зависит, например, значительное улучшение существования или большие неприятности. Мы высоко ценим вашу лояльность и знаем, что ваша преданность фирме гораздо выше, чем непосредственному начальнику. Такой начальник, пан инженер, часто умеет внушить своим подчинённым, что покрывать молчанием неизбежные нарушения является доказательством чувства товарищества, да, сумеет вынудить к участию в нелегальных барышах под угрозой, скажем, отставки. Это может постичь

самого порядочного, каковым я вас считаю, человека. Я знаю жизнь и не являюсь упрямым педантом. Я умею отличить злой умысел от неизбежной жизненной необходимости. Я говорю достаточно ясно?

Карличек сжимал руки, двигал бровями, его нижняя челюсть неустанно прыгала вверх и вниз, в результате чего по жирному лицу непрерывно пробегали крупные волны, поблёскивающие среди плохо выбритой растительности. Несколько раз он рыбьим движением размыкал уста и обращал к Павлу отчаянно испытующие взгляды. Наконец заговорил.

Уже давно прозвучал последний хриплый звук заводской сирены, когда Павел вместе с Карличеком перешли в коммерческий отдел. Под бряцание ключей открывались шкафы и ящики, трещащий звук деревянных штор американских шкафчика смешивался с громким шелестом бумаги.

Швейцар, стоявший перед дверями, остановил секретаря Холдера:

— Пан директор не велели никого впускать.

— Ты что, Юзеф, с ума сошёл? У меня срочная корреспонденция!

— Не велел! Простите покорно, но если вам угодно, войдите под свою ответственность.

Как раз в это время открылась дверь. Вышел Павел с пачкой бумаг в руке. За ним показался инженер Карличек, красный как свёкла.

Павел в коридоре просмотрел и подписал корреспонденцию, буркнул «до свидания», набросил шубу и сбежал по ступенькам. Он получил всё, что ожидал.

— Домой, — сказал шофёру.

Тотчас по приезду он вызвал по телефону Яхимовского, подчеркнув, что дело очень срочное.

Яхимовский появился как раз когда заканчивали обедать. Со времени неудачного избавления от долей Гента он очень изменился. Склонность к суеверию довела его до убеждения, что эта единственная неудачная сделка потянет за собой череду неприятных событий. Более всего его мучило то, что у него не было никаких свидетельств участия в махинации самого Павла. Правду сказать, это Павел склонил его к этому обману, но непосредственным виновником был Толевский. Таким образом он мог винить Павла за легкомысленный сует, за недооценку Толевского, за равнодушие к чужим интересам, но не мог бросить ему в лицо, что это он совершил мошенничество. По отношению к любому другому человеку он несомненно решился бы на это, но в данном случае ему не хватало уверенности в себе. Сам вид Павла, его олимпизм, высокомерие и заносчивость обескураживали. Итак, оставалось фактом, что Павел приобрёл у Толевского доли, проданные Вильгельмом Далчем, что на потере Ганта ничего не приобрёл или по крайней мере доказать это было невозможно. Даже те пятнадцать тысяч долларов, которые Яхимовский вложил в афёру, были возвращены ему в целости. Единственное свинство, в котором можно было упрекнуть Павла, заключалось в недопущении шурина к части выкупленных долей, как

уговаривались ранее. Однако и тут у Павла было вполне удовлетворительное объяснение:

— Своей неловкостью, — сказал он, отдавая Яхимовскому его деньги, — ты чертовски подпортил мне цену. Толевский учуял подвох, и вместо шестидесяти я вынужден был заплатить сто тысяч, а поскольку такого капитала в наличных у меня не было, должен был взять займы. Пожалуй ты не станешь требовать от меня, чтобы я допустил тебя до складчины с этими глупыми пятнадцатью тысячами.

Яхимовский вошёл в столовую, и по выражению его лица Павел сделал вывод, что тот ожидает какого-то выгодного предложения.

— Садись, — он указал ему на кресло.

Яхимовский сел боком к бюро и подтянул штанины брюк.

— Выпью чашечку кофе, — сказал он лакею.

Когда слуга вышел, Павел заговорил сочувствующим тоном:

— Ты преступно неосторожен.

— Что ты хочешь этим сказать?

Павел пододвинул ему сахарницу.

— Ты позволишь?

Яхимовский нервно звякнул ложечкой в чашке. Выражение, с которым он вошёл, развеялось без следа. Он почувствовал в воздухе новую опасность.

— Есть ли у тебя какие-нибудь связи в суде, в прокуратуре? — спросил Павел.

— О чём речь?

— Видишь ли, человек рассудительный только тогда может позволить себе расходиться с уголовным кодексом во взглядах на жизнь, когда ему гарантирована безопасность.

— Я не расхожусь с кодексом, — вскочил Яхимовский.

— Ты в этом уверен?

Павел сосредоточил на нём холодный, внешне равнодушный взгляд.

— Говори прямо, в чём можешь меня обвинить?

— В отсутствии благоразумия.

Он закурил папиросу и продолжил:

— Индустриальные Предприятия братьев Далч и Компания за год понесли убытков на несколько десятков тысяч, и это благодаря тебе.

Вошёл слуга и начал убирать со стола.

— Перейдём в кабинет, — Яхимовский встал.

Павел не двинулся с места. Хорошо выдрессированный слуга сразу сориентировался, что своим присутствием мешает, и исчез, выбирая себе значительно более выгодную и никому не мешающую позицию возле замочной скважины за дверью буфетной комнаты.

— В руках у дядюшки доказательства, — сказал Павел. — Не знаю, удастся ли мне отговорить его от решения передать дело следственным органам.

Яхимовский, бледный как полотно, склонился над ним:

— Какие доказательства? К чёрту, какие доказательства?

Павел вскочил, в два шага достиг двери, открыл её, и до ушей Яхимовского долетел звук двух крепких пощёчин.

— Какие спрашиваешь? — продолжал Павел, возвращаясь на место. — Все, приятель. Либо следовало уничтожать предложения, либо не фальсифицировать счета. Либо сжечь корреспонденцию отдела продаж, или переводные сертификаты и кассовые ведомости. Повторяю: ты преступно неосторожен.

Яхимовский подошёл к окну и застучал пальцами по стеклу. Продолжительное время царила тишина.

— Каким образом это могло дойти до ведома пана Карла? — произнёс Яхимовский.

— Это пустяк. Даже если бы ответил, это ни в малейшей степени не изменило ситуацию.

— Это шпион Блумкевич!

— Возможно.

— Убью эту скотину, — Яхимовский отвернулся.

Павел был удивлён его обликом: черты лица стянулись, из тонких раскрытых губ выступали жёлтые, чернеющие зубы, взгляд почти отсутствующий.

— Желаю тебе удачи, но меня это уже не касается, — пожал плечами Павел. — Меня интересует только одно: избежание публичного скандала. Дядюшка поручил мне проведение расследования и подсчёт суммы злоупотреблений, которую необходимо будет назвать в заявлении в прокуратуру...

— Павел!

— Слушаю тебя.

— Ты же мой шурин!

— К сожалению.

— Знаешь что, я позвоню Людке, этого нельзя делать, ты же не хочешь, чтобы я пальнул себе в лоб!

— Оставь в покое фразы. В лоб себе ты не пальнёшь, и что тут может сказать Людка?

— Мы всё же родственники. Нет, Павел, я не верю, чтобы ты мог мне, мне и твоей родной сестре сотворить нечто подобное.

— Во всяком случае я не желаю этого, — скривился Павел, — но прошу тебя, сообщи мне какой-нибудь выход из ситуации?

Яхимовский отчаянно встряхнул пальцами, после чего стиснул виски и принялся бегать вдоль стола, в то время как Павел спокойно курил папиросу.

— Я убью эту скотину, убью, — повторял он.

Вдруг остановился перед Павлом и сказал:

— А ты не видишь никакого выхода?

— Нет.

— О Боже, Боже! Нет, я должен позвонить Людке. Может она что-нибудь придумает...

— Что же тут можно придумать? Единственное, это, пожалуй, покрыть злоупотребления...

— С ума сошёл? Откуда я возьму такие деньги!

— Вот именно. Ну, тебе ещё остаётся просить о милости дядюшку Карла.

— Ах! — безнадёжно махнул рукой Яхимовский.

— Впрочем, каждый из нас, совладельцев, имеет право требовать возмещения убытков.

— И ты первый, — оскалился на него Яхимовский, — ты, проклятие, первый, ты, который как тот кошмар, как тот...

Павел остановил его одним движением руки:

— Постой. Я никогда не считал тебя слишком умным, но, пожалуй, это уже верх идиотизма — в такую минуту восстанавливать против себя меня, именно меня.

Яхимовский закрыл лицо руками:

— Ну так что я должен делать, что делать?..

— На твоём месте, — спокойно заметил Павел, — я постарался бы добросовестно ликвидировать всю проблему. Не представляю себе, что в противном случае могло бы обойтись без компрометирующего процесса, ну и без тюрьмы. Помни, что никто не любит делать подарки из своей собственности. Даже если бы дядюшка Карл, что немыслимо, махнул на это рукой, если бы то же самое сделал я, то остаются ещё Кшиштоф и Толевский. Утаить от них злоупотребления невозможно...

— Почему ты не можешь?

— Соккрытие было бы преступлением, и прости, я человек порядочный, ни на какие мошенничества не пойду. У меня есть принципы, которые я не нарушу ради чьих бы то ни было прекрасных глаз.

— Да?... Да?..

— Да, мой бедный приятель. Я не хочу когда-нибудь оказаться в положении, в котором в настоящее время находишься ты.

— Это ложь! — крикнул Яхимовский. — Не ломай передо мной комедию, я стреляный воробей для такой мякины! Понимаешь?.. А чем было принятие тобой руководства предприятием, а чем было использование этого для выкупа долей, а кто свинтил доли Ганта при помощи этого негодяя Толевского?!...

— Молчать! — гаркнул Павел.

Яхимовский отскочил и загородился креслом.

— Страх перед тюрьмой лишил тебя остатков разума! — Павел ударил кулаком по столу. — Ты, пожалуй, дошёл до помешательства. Вы сами просили, чтобы я принял руководство. Вы заботились о ваших долях, а я о памяти отца! Ты идиот! Мне в морду кинуть тебе квитанции на заплаченные за отца двести тысяч долларов? Я ломаю комедию? К чёрту, мне эта комедия дорого обходится. Говоришь, глупец, что я выкупил доли?.. Да, выкупил, и что с того? Выкупил на собственные деньги, не подарить ли их вам должен?.. Болван! На эти нонсенсы я вообще не должен тебе отвечать, но чтобы приструнить тебя, ты мне ответишь за обвинение в долях Гента, и ответишь так, что это долго тебе будет помниться. А сейчас прочь!..

— Павел!..

— Прочь! За дверь, злодей!

Яхимовский опёрся о стену и защищающимся жестом вытянул руки. Он заговорил прерывающимся голосом, в глазах с красными каёмками навернулись слёзы.

Он просил прощения, оправдывался отчаянием, нервным расстройством, заклинал всем святым, клялся, что сам не верит в то, что сказал. Умолял о сострадании, о снисхождении, о спасении.

Его узкую грудь сотрясали рыдания, а кончик носа на бледном блестящем лице выделялся ярким покраснением.

Павел сидел и слушал с угрюмым выражением лица. Когда Яхимовский наконец произнёс несмело, что готов был бы пожертвовать какой-нибудь большой суммой, чтобы замять дело, он прервал его:

— Не подсовывай мне взятки, я человек не твоего покроя. Молчи и слушай. Мне твои деньги не нужны. Обокрал предприятие, а теперь меня оскорбляешь. У меня нет ни малейшей причины быть к тебе снисходительным. Несмотря на это, исключительно потому, что ты муж моей сестры, я возможно попробую тебя спасти от тюрьмы. Слушай внимательно, что я скажу, поскольку второй раз не повторяю, и нет такой силы на свете, которая могла бы вернуть меня к разговору с тобой. Итак, я попытаюсь склонить дядюшку Карла простить тебе воровство, а лучше воздержаться от заявления о краже. Это удастся мне только в том случае, если ты проявишь максимум доброй воли.

— Я готов, Павлик, на всё.

— Не перебивай. Таким свидетельством доброй воли будет выдача обязательства покрыть потери и выплатить какую-либо сумму для документирования добрых намерений. Если сделаешь это, я взялся бы спасти тебя. Но подчёркиваю, что по крайней мере не гарантирую благополучных результатов своего вмешательства, поскольку дядюшка ненавидит тебя всей душой. Обязательство должно содержать признание в злоупотреблениях. Я сказал последнее слово. Можешь ответить на это либо согласием, либо отказом. Никаких дискуссий на эту тему я вести не намерен. И так?...

Яхимовский пытался вывернуться, просил время на размышление, ссылаясь на своё волнение, однако когда Павел встал и посмотрел на часы, он решился:

— Хорошо. Подпишу, но какая гарантия что, несмотря на это, вы не сделаете заявление?

— Никакой. Только моё слово чести, что сделаю всё, чтобы умиротворить дядюшку.

— А сколько нужно дать денег? Я сейчас действительно нищий!..

— Думаю, что хватит какой-нибудь мелочи. Десять тысяч...

— Но злотых?

— Злотых.

— И когда это необходимо устроить?

— Немедленно. Пошли.

Он проводил его в кабинет, достал лист бумаги и указал Яхимовскому на место за бюро.

— Что я должен написать?

Павел начал диктовать. Кратко, сжато, отчётливо.

Он ясно видел, как перо пишущего колеблется перед каждым словом, видел капли пота, которые выступили на его лысине, и нервную судорогу пальцев, опирающихся о бюро. Однако сейчас он уже не сомневался, что Яхимовский не повернёт вспять.

— Я должен подписать?

— Минутку.

Павел нажал кнопку звонка. Вошёл лакей. Щёки были ещё красными от сильных ударов, которые он схватил у дверей.

— Ты знаешь этого господина? — спросил Павел, указывая на Яхимовского.

— Как же, сударь, — уливился слуга, — разумеется знаю. Это пан директор Яхимовский.

— Будешь свидетелем, что пан Яхимовский собственноручно это подпишет.

Яхимовский выскочил из-за бюро.

— Павел, к чему эти формальности!

— Нисколько не повредит. Подпиши.

Яхимовский встряхнул пальцами и подписал. Павел тотчас сложил лист таким образом, чтобы слуга не мог прочесть его содержание, и продиктовал ему: «Вышеуказанное заявление подписал пан директор Яхимовский в моём присутствии и добровольно».

— Теперь ты подпиши.

Через минуту лист был сложен и убран в шкафчик бюро. Глаза Яхимовского бессознательно не отрывались от рук Павла и поднялись только тогда, когда связка ключей исчезла в кармане.

— Я должен выписать чек? — угрюмо спросил Яхимовский.

— Хорошо.

Спустя четверть часа лакей закрыл за ним дверь. Минуту он постоял в прихожей и решил, что ему следует извиниться перед хозяином за подслушивание... Павел сидел в задумчивости, когда слуга произнёс приглушённым голосом:

— Ваша милость, простите великодушно, со мной такое, как-то сам не знаю, случилось в первый раз...

— Это не важно, Яне, — зевнул Павел. — Не навреди себе в дальнейшем. Старайся быть несколько осторожнее. Я бить не люблю, а ты меня вынудил переутомить руку.

— Простите покорно, ваша милость, виноват, но больше это не повторится.

— Зачем ты уверяешь меня в этом? Думаешь, что я выгоню тебя из-за этого?.. Нет, мой дорогой друг. А сейчас ступай и не морочь мне голову.

Он сбросил пиджак и вытянулся на топчане. «Этому глупцу кажется, — думал он, — что я простил ему, если верю в его обещанное исправление. Ему даже в голову не придёт, что я вынужден взять нового лакея, который бы, скажем, меньше подслушивал, или бил бы меньше фарфо-

ра, или крадёт, или носит моё бельё. Люди часто говорят самое худшее о ближних, но по сути дела думают лучше. Это следует из того, что самих себя они считают скверным исключением. Поэтому радуются, если узнают, что кто-то совершил решительную подлость. Это укрепляет их веру в себя: меня никто не поймал за руку, никто не предполагает, что я мог бы совершить неэтичный поступок. По отношению к другим каждый является оптимистом. Это даёт ему воображаемое преимущество над другими: они даже не задумываются, что я за тип! Этим одним можно объяснить легковёрность человека. Он хочет быть обманутым, ибо ему кажется, что он является обманываемым».

Он рассмеялся и вслух произнёс:

— Вот оно, громадное нетронутое богатство человеческой психики. Сокровищница, ожидающая осмысленной эксплуатации!

Он мысленно окинул свои прошлые взгляды. Разумеется, у него не было той точности в формулировках. В годы юности, вероятно, он вообще не давал себе в этом отчёта. И всё же они должны в нём укорениться. В инстинктах. В коре мозга. Это не важно, что они не были названы. Вещи, не имеющие названия, не перестают существовать потому, что его не имеют. Он всегда руководствовался этим подсознательно. Именно это стало когда-то предметом конфликта и разрыва с отцом. Отец не понимал, какой большой капитал заключается в доверии, в том доверии, которое создала себе фирма Далч. Не понимал необходимости использования этого капитала. Он называл это подлостью. О, старый, глупый идеалист, наивный самоубийца!

Как-то на одной из берлинских сцен Павел видел пьесу Евреинова, основная идея которой заключалась в том, что самой важной вещью является не действительность, но иллюзия, благодаря которой мы имеем осознание действительности. Тогда он хотел купить билет в театр и послать его отцу в Варшаву. *Mundus vult decipi*¹... Разве не забавно, что эти слова произнёс тоже Павел, папа Павел IV, один из самых лучших знатоков человека: — *mundus vult decipi, ergo decipiatur*. Это именно он основал список запрещённых книг!.. Внушающие уважение последствия! Это называется внедрением своей философии в жизнь!

И для этого не надо быть самым папой из шестнадцатого века. Достаточно быть личностью, индивидуумом, выделяющимся из стада. Достаточно не связывать себя с этим стадом никакими чувствами. Это позволяет достичь дистанции и перспективы, благодаря которым видится иллюзорность мнимых трудностей.

— *Ergo decipiatur*, — произнёс он и взял телефонную трубку.

Блумкевич внимательно и с нескрываемой радостью выслушал сообщение о том, что Яхимовский должен быть отстранён. Не прошло и пяти минут, как он вернулся от пана Карла.

¹ *Mundus vult decipi* (лат.) — Мир желает быть обманутым... Подразумевается выражение «Мир желает быть обманутым, пусть же его обманывают», приписываемое папскому легату Караффе, в последствии римскому папе Павлу IV. — Прим. ред.

Вернулся с объявлением, что президент ждёт и готов принять пана директора незамедлительно.

Двадцать минут спустя Павел входил в комнату дядюшки.

— Блумкевич уже сообщил тебе, дядюшка, это очень неприятное известие. Лично я не ожидал от Яхимовского гипертрофированной порядочности, как вы это должно быть помните.

— Что, злоупотребления достигают больших сумм?

— Не думаю. Скорее следует допустить, что не превышает нескольких сотен тысяч. Я вызвал Яхимовского и объявил ему, что видимо о его дальнейшем сотрудничестве с фирмой не может быть и речи.

— Ты не думаешь, что дело следует передать следственным органам?

Павел пожал плечами:

— Я призвал бы избежать огласки. Самоубийство отца, а теперь эта история, этого было бы слишком в течение нескольких месяцев.

— Ты прав, — в полголоса ответил пан Карл.

— Разумеется, я обязал Яхимовского покрыть злоупотребления, — он достал из кармана чек и подал его дядюшке, — Пока что он выплатил в счёт возврата десять тысяч злотых.

Пан Карл прикрыл веки и произнёс:

— Ты умеешь справляться с людьми.

— Стало быть, в принципе вы одобряете моё распоряжение?.. Я не утруждал бы вас этим, если бы речь шла об обычном служащем. Так как Яхимовский является совладельцем предприятия, я счёл необходимым...

— В чём заключаются злоупотребления?

Павел начал рассказывать. Он не стал представлять злоупотребления в тех размерах, которые они охватили в действительности, не упомянул также о пути, которым пришёл к их раскрытию. Обозначил только, что во время просмотра книг заметил некоторые диспропорции, и они навели его на след махинаций коммерческого директора.

В свою очередь разговор перешёл на другие темы, касающиеся предприятия, и Павел спросил, какой у Кшиштофа адрес в Швейцарии.

— Обратись с этим к Терезе. У неё записано название и адрес отеля.

Когда выходя Павел спросил Блумкевича о тётушке, тот ответил, что у пани Терезы мигрень, и она не сможет его принять.

«За каким чёртом, — думал Павел, возвращаясь домой, — мне понадобился этот адрес?..»

Уже в прихожей он заметил плащ Толевского и только тут вспомнил, что велел ему прийти сегодня вечером. В течение нескольких дней Толевский по поручению Павла решал на бирже различные проблемы, сводящиеся в основном к расспросам. Речь шла об информации, касающейся состояния финансов на некоторых предприятиях металлургической отрасли. У Павла ещё не было детально проработанных планов дальнейших действий, однако он верил принципу, что изучая рынок ты будешь иметь возможность выявить те его стороны, в которых удалось бы, следуя новым концепциям, найти подход для бо-

лее широко задуманных интересов. Прежде всего он думал о создании треста, основанного по американским моделям, и концентрирующего всяческие родственные отделы металлургического производства. Однако это были перспективы нереальные, отдалённые, которых сведения, собранные Толевским, по крайней мере не прояснили.

Этому человеку нельзя было отказать в некоторой сообразительности, однако ему недоставало необходимой интеллигентности, в результате его отношение к изучаемым вопросам напоминало легавую, которая делает стойку перед каждым спекулянтом, которого сумеет учуять. По правде сказать, Павел по крайней мере и не надеялся найти в Толевском, как и в любом другом из своих сотрудников, личную находчивость, инициативу и самостоятельность. Скорее наоборот, от людей, которых он использовал, он требовал абсолютного подчинения и отказа от попыток рассуждать. Они должны были исполнять роль исправных колёсиков в создаваемом им механизме. Толевский не был достаточно отшлифованным колёсиком. Причина этого лежала в его психике кафешного мошенника и нелегального афериста, охотящегося за мелкой прибылью. Это же было причиной нежелательности использования его наблюдательных способностей, и Павел вынужден был тратить много времени на формирования этого человека для своих целей.

Со времени приезда в Варшаву Павел много ночей не досыпал, полностью поглощённый своей проблемой. Теперь положение дел входило в русло спокойного течения, в котором нечего или почти нечего было делать. Оставалось одно — овладение коммерческим отделом.

На следующий день утром он велел вызвать к себе инженера Карличека. Он не пренебрёг для контроля осторожно выпытать у него, не осталось ли в отделе продаж и закупок ещё каких-либо «неточностей», а когда получил уверение, что всё уже «пану директору известно», сообщил:

— Ну, пан Карличек, из всего этого к сожалению следует большое подозрение в том, что вы также принимали участие в злоупотреблениях Яхимовского, что, по-просту говоря, вы обкрадывали фирму, которая в течение восьми лет оказывала вам столько доверия, которая платила вам высокую зарплату... Это было для меня очень неприятной неожиданностью. Вы понимаете, что в сложившихся в настоящее время обстоятельствах я не могу в дальнейшем использовать ваше сотрудничество.

Лицо Карличека сделалось пурпурным и выглядело словно кусок сырого мяса.

— Как это, пан директор, ведь, насколько я слышал, вчера вы заверяли меня...

— Ни в чём я вас не заверял, — строго прервал Павел, уперевшись в него взглядом, — тут вступает в силу уголовный кодекс и сфера его деятельности. Разумеется, я ценю ваше чувство долга и порядочности, которые в вас отзывались. Я отдаю себе отчёт в том, что вам и исключительно вам признателен за вскрытие злоупотреблений. Принимаю

также во внимание ваше в известной степени признание вины. Это склоняет меня к определённым, не практикуемым впрочем, утсупкам, к некоторой снисходительности. Я не только не отдам вас в руки прокурора, но не буду также требовать возвращения добытых вами незаконно барышей. С этого момента вы свободны и можете искать новую должность. Не стану вам в этом препятствовать. Вы получите хорошие рекомендации.

— Вы не станете мне препятствовать, — хрипло произнёс Карличек, — вы насмехаетесь надо мной. Где я сейчас найду вакантную должность при таком кризисе?

— Простите, но меня это уже не касается.

— Я был глупцом, — он сплёл пальцы так, что затрещали суставы, а на руках выступили синие и белые пятна, — я был глупцом... Что ж. Каждый должен платить за свою глупость. Я позволил вам обмануть себя, а теперь выставляете меня на улицу...

Павел нажал кнопку звонка. На пороге появился секретарь Холдер.

— Пан Холдер, извольте тотчас приготовить пану инженеру Карличеку свидетельство: годы работы, большие коммерческие способности, уход по собственному желанию. И сразу дайте мне на подпись.

— Стало быть, ваше решение окончательное? — спросил Карличек, когда дверь за Холдером закрылась.

— Не вижу никакой причины для отмены моих решений, — твёрдо ответил Павел. — Если в подобном случае это и могло бы иметь место, не советовал бы вам принуждать меня к этому.

Карличек почувствовал в голосе Павла угрозу, однако и сам с трудом сдерживал ярость. В каждой черте его крупного лица была видна едва сдерживаемая жажда взрыва; он принялся просить, однако в тоне просьбы звучали гнев, переживаемая обида и объявление мести. В уголках его широких губ показались два пятнышка белой пены. Павел молчал и, казалось, не обращал на него внимания, погружённый в просматривание бумаг.

Наконец вошёл Холдер и положил на бюро свидетельство. Павел подписал, сложил листок и подал его Карличеку.

— Пожалуйста и до свидания.

— Значит так? — рявкнул Карличек, — ну, хорошо, но мы ещё посчитаемся, господа Далч, мы ещё посчитаемся! А на это свидетельство я плюю. Понимаете, плюю.

Он развернул листок и, держа его обеими руками, плюнул на него, смял в кулаке и швырнул на пол.

Холдер стоял поражённый, с высоко поднятыми бровями, Павел делал вид, что ничего не видит. Только когда Карличек вышел, с размаху треснув дверью, он поднял голову и спокойно сказал:

— В коммерческом отделе совершены злоупотребления. Яхимовский и Карличек получили отставку. Не соблаговолите ли вы, пан Холдер, пока что принять руководство этим отделом. Через несколько дней вернётся из отпуска инженер Карчевский и обязанности перейдут к нему.

Холдер хотел просить об освобождении его от этих функций, хотел заметить, что не обладает соответствующей квалификацией, однако же тон распоряжения был таким безапелляционным, что он сумел произнести только:

— Как вам будет угодно, пан директор.

— Этот олух, — рассмеялся Павел, — вообразил себе, что отомстит мне. Разве что будет стрелять в меня из-за угла, ибо в противном случае я никому не советовал бы оказаться в его шкуре. Что вы о нём знаете, пан Холдер?

Секретарь развёл руками:

— Только то, что есть в картотеке, поскольку должен был туда заглянуть, выписывая свидетельство. Ему сорок пять лет, женат, жена живёт в чешской Праге, а он в Варшаве на Железной. Ваш покойный отец в заметках записал о нём очень лестное мнение.

— Из лестных мнений моего отца я, к своему удовлетворению, проверил лишь одно, которое, должен признаться, полностью подтвердилось, — нахмурил брови Павел, — это мнение о вас.

— Премного благодарен, пан директор, — Холдер покраснел

Павел принялся перелистывать корреспонденцию, однако видя, что Холдер не уходит, поднял взгляд:

— У вас ещё что-то ко мне?

— Да, пан директор, хотя собственно, я не знаю, захотите ли вы... Вчера был изгнан из инструментального цеха слесарь Феликсяк, пьяница и скандалист. Его увольняли уже дважды, однако всегда спустя несколько недель принимали назад по просьбе пана председателя. На этот раз он позволил себе слишком много: поколотил мастера...

— И дальше что?

— Так вот, Феликсяк добивается, чтобы его принял пан Кшиштоф, а когда ему сказали, что пан Кшиштоф уехал, он потребовал встречи с вами.

— Разве пан Кшиштоф велел его уволить?

— Нет, пан директор, но я подумал, что если Феликсяк имеет такую поддержку у пана председателя, следовало бы...

— Ну, хорошо, — решил Павел, — пусть он придёт ко мне завтра.

Глава VII

От Каролковской они следовали по булыжной мостовой, а как закончится тротуар, через тридцать шагов сворачивали в сторону, к трактиру «Под козлом». Выцветшая красная вывеска и жёлтые гардины в замёрзших окнах, а внутри шум, который всегда тут царит по окончании рабочего дня. Сам Козел, известный как Воля добрая и широкая, — Антош Козловский, — не старый ещё трактирщик, с бычьей шеей и выпученными глазами, возвышался над жестяной стойкой как подлинная гора мяса, как маяк, неустанно контролирующий глазищами зал и густо обсаженные столики.

На кафельном полу, на котором сочные, разбухшие опилки смешивались с тающим снегом, оставались следы ног двух девушек, обутых в боты, одетых в грубые шерстяные юбки и в яркие бязевые блузки, на которые были наброшены гарусные шали. Они были тут кельнершами, магнитом для гостей, а в летние месяцы отдыха супруги шефа, Маньки-Медницы, заменяли ему её всесторонне и исчерпывающе.

На попечении первой, полной и рябой Юстинки, была комнатка за портьерой, пристанище для лучших гостей, вторая, Зоська, белая как молоко, смешливая и грудастая, обслуживала «зал», не жалея для клиентов непринуждённых ласк в виде похлопывания по плечу либо, выставляя на стол стаканы и бутылки, соприкосновения с ними своим большим бюстом.

«Козёл» был местом времяпрепровождения работников нескольких близлежащих предприятий, однако львиную долю тут составляли люди от Далчей. Это объяснялось тем, что Антош сам когда-то работал литейщиком у Далчей и сохранил там много знакомых.

Время приближалось к восьми, когда за столиком в углу, где до того велась спокойная беседа, поднялся шум, короткий и почти неслышный, поскольку тотчас снова воцарилась тишина. Козел знал, что это может означать, но прежде чем он успел добраться до столика, на мраморную доску с яростью упала тяжёлая кружка, обрызгивая стеклом и пивом трёх сидевших рядом мужчин. Четвёртый, щуплый брюнет с красными от водки белками глаз, стоял в оборонительной позе, держа в руке тяжёлый голубой сифон.

— Не поддавайся, Феликсяк, — бросил кто-то в тишине из другого угла зала.

— Морду сверну, мать твою так, — гаркнул на него Козел, после чего подошёл к Феликсяку и, напирая на него своими ста килограммами туши, тихо сказал: — Подвинься, щенок, будешь мне тут кружки бить...

Феликсяк смерил его презрительным взглядом и медленно опустил руки с сифоном.

— Сядь и сиди, пока с тобой по-хорошему, — Козел толкнул кресло таким образом, что оно подъехало под колени стоявшего, после чего голой рукой сгрёб стеклянную кашу со столика на пол и вернулся за стойку.

Феликсяк сел и заговорил плаксивым голосом:

— Вот такие из вас друзья, как постигнет человека несчастье, ни один пальцем не пошевелит. Держите сторону мастера...

— Он был прав, стану я тебя обманывать? — неохотно пробормотал высокий блондин.

— Никто за меня не заступится, — мотал головой Феликсяк, — никто...

— Что ты расклеился, простофиля, — снова провокационно произнёс самый старший из компании. — Сам всегда похвалялся, что все директора у тебя в одном кармане, а как сейчас до чего-то дошло, хвост поджал. Иди к главному и скажи ему, что если тебя обратно не примут,

то вот тогда увидят. Ещё инженером тебя возьмут. Уж они-то должны перед тобой струсить.

Все трое разразились громким смехом, и поскольку они говорили не понижая голоса, и за соседними столиками после разбития кружки на них обращали внимание, там также раздались смешки.

Феликсяк покраснел:

— Стало быть что, думаете, что я вру?

— Что тут врать, — примирительно сказал блондин и подмигнул соседу. — Откуда я знаю, может ты их какой-нибудь родственник с левой руки?.. Это словно доказательство. Два раза тебя возвращали, должны и сейчас вернуть. Опыт есть.

Снова раздался смех. Феликсяк хотел вскочить, однако из-за стойки встретил взгляд бдительного Козла. Он прикусил губу, залез в карман и выложил на столик несколько серебряных монет:

— Панна Зося, расчёт!

— Жалко денег, — пошутил блондин. — Зоська даст тебе в кредит.

Феликсяк был в бешенстве. Провокационное поведение товарищей доводило его до остервенения. Чуть раньше он и сам сомневался, идти ли в третий раз к председателю, но сейчас настолько ожесточился, что решил любой ценой вернуться на завод. Мало того, он должен получить должность бригадира, чтобы показать тем негодяям, что это он может. Тогда, чёрт возьми, посмеются, когда их ухватит за морду. Или что он, плохой слесарь?

Уходя, он купил ещё бутылку очищенной и пошёл домой. Он уже повернул на Желязну, как вдруг наткнулся на инженера Карличека. Был настроен настолько воинственно, что чуть было его не толкнул и, небрежно касаясь пальцами козырька, буркнул: «Моё почтение».

— Что же вы так качаетесь, Феликсяк, наклюкались? — спросил Карличек.

— Почему нет. Я безработный. Мне можно.

— Как это безработный? Вас снова выгнали? — Карличек почувствовал прилив симпатии к Феликсяку. Он знал его хорошо, поскольку его частые скандалы были весьма популярны на заводе, а об особой проекции, которой этот слесарь пользовался у начальников, ходили разные версии.

— Выгнали, но меня примут, не стоять мне на этом месте. Не такой я человек, чтобы позволить каждому собой командовать. Могу и сам пострадать, но и большой пан Далч пойдёт в тюрьму...

Карличек посмотрел на него внимательно и оттянул под стену.

— Павел Далч?

— Нет, этот пижон Кшиштоф Вызбор—Далч. Две фамилии имеет, думает, что не знаем что к чему, а я ему ещё покажу!..

Он поднял кулак и погрозил им перед своим носом. Карличек посмотрел на часы:

— Знаете что, Феликсяк, я с вами охотно об этом поговорил бы. Только сейчас нет времени. Вот вам моя визитка, и заходите ко мне хотя бы завтра.

- Утром? Меня на завод не пустят.
- Можешь прийти утром ко мне домой.
- У пана инженера отпуск?
- Нет. Мы коллеги, я тоже уже не работаю...
- Фью... — свистнул сквозь зубы Феликсяк.
- Ну так придёте?
- Приду.

Начал падать снег, и Феликсяк зашёл по дороге ещё в один бар. Хотел встретить кого-нибудь из знакомых, чтобы поделиться с ним своими огорчениями, но как назло никого не было. Возле стойки он выпил несколько стопок. Когда добрался до дома, был уже совсем пьян и в одежде улёгся спать. Утром проснулся с тяжёлой больной головой и с мучительной уверенностью, что должен что-то решить, чего не может вспомнить.

Отец лежал на кровати и, как обычно, стонал, сестра уже отправилась в лавку, где работала продавщицей. В комнате было холодно, и он не мог найти ни одной спички, чтобы согреть чаю. Только когда вернулся, смирившись с неудачей, вдруг вспомнил, что в одиннадцать должен явиться к генеральному. Он поспешно вскочил, перед раковиной ополоснул лицо, причесал волосы и вышел, не проронив отцу ни слова.

С тех пор как отец после несчастного случая на заводе настоял наращивать капитал ренты, они меж собой не разговаривали. Он предпочитал жить в постели и вынуждал детей работать у чужих, тогда как рента дала бы почти десять тысяч злотых, и этого вполне хватило бы на основание продуктовой лавки.

Перед зданием правления Феликсяк посмотрел на часы. Было уже за полночь.

«И так должны принять, — подумал он с упрямством, — не буду миндальничать...»

Однако ему не создавали никаких препятствий. После двенадцати минут ожидания его впустили в кабинет генерального директора. Феликсяк вошёл и остановился у дверей.

К Павлу Далчу он испытывал не только соответствующее генеральному директору почтение, но и своего рода особое уважение. Он импонировал ему. Феликсяк знал, что с этим человеком не шути, но знал и то, что его козыри будут оценены.

Павел Далч поднял голову и бросил на него спокойный взгляд:

— Вы хотели увидеться со мной, — произнёс он. — О чём пойдёт речь?

- Меня выгнали с работы, пан директор.
- Вы полагаете, что с вами поступили несправедливо?
- Ну нет, пан директор...
- Таким образом?...

Феликсяк переступил с ноги на ногу:

— Мне обещал пан председатель, что как только я пожелаю, у меня будет работа на заводе, впрочем, что мне говорить, пан директор и сам

знает... Я не надоедал бы, тоже свою честь имею, но с голоду подышать не буду...

— Насколько я знаю, — сказал директор, — это уже третий случай. Вы вынудили администрацию вышибить вас. А почему вам обещана постоянная работа в нашей фирме?

— Разве пан директор не знает...

Павел глянул на него исподлобья и равнодушным тоном произнёс:

— Я не спрашиваю вас, знаю я или не знаю. Если хотите со мной разговаривать, отвечайте на мои вопросы. Итак?

— Ну, стало быть, за армию, за пана Кшиштофа...

Павел с трудом удержал свою мимику, чтобы скрыть удивление.

— Говорите яснее. За какую армию?

Феликсяк сделал жест разочарования. Он подумал, что директор держит его за полоумного, который мог позабыть о таком важном предмете. Ему и в голову не пришло, что двоюродный брат пана Кшиштофа мог не знать о существовании дела. А может, он хочет сейчас внушить, что всё это ему приснилось?.. Он оттянул клапаны демисезонного пальто и произнёс вызывающе:

— Так что, может я не служил за него?..

Павел склонил голову над бумагами и карандашом делал на них какие-то пометки. Он, казалось, был совершенно поглощён этой работой, и в его голосе Феликсяк расслышал рассеянность:

— Ага, ну да, служил за него в армии, это известно. Но прошу вас, расскажите мне, как это было?

— Тут нечего рассказывать. Совсем просто, глупый был, явился на комиссию и отслужил.

— А за себя военной службы не отбывали?

— Нет, я был освобождён, поскольку рука сломана, а когда за пана Кшиштофа явился, то меня спрашивают, здоров ли, — здоров, говорю, — вот и взяли... Могли бы тоже освободить, поскольку в одной комиссии явился за себя, а в другой мог бы за пана Кшиштофа, не узнали бы. Но пан председатель хотел, чтобы я непременно служил. Его деньги, его воля. Отслужил, документы отдал, всё в порядке, а что мне обещано, того не уступлю. Я должен иметь заработок до самой смерти...

Поскольку Павел на него не смотрел, Феликсяк набрался самоуверенности и продолжал:

— А я сейчас ещё и то пану директору скажу, что иначе как на бригадира не соглашусь. Я тоже честь имею, надо мной на заводе люди смеются, что из-за такого негодяя, как этот мастер, кажется Печантковский, за ворота вылетел...

Павел встал и подошёл к нему:

— Послушайте, Феликсяк, — сказал он, положив руку ему на плечо, — зла от нас вам не будет, но мы должны ещё поговорить об этом деле. Пока что принять вас на завод я не могу, но сделаем так: вы будете получать свой прежний заработок каждую неделю прямо в кассе. Это, пожалуй, для вас ещё лучше. Работать не будете, а зарабатывать будете свою еженедельную.

— Но вместе с премией? — неуверенно спросил Феликсяк.

— Разумеется. Я тотчас отдам распоряжение, и каждую субботу вы будете являться в кассу. Взамен прошу только об одном: ни звука. Понимаете?..

— Разве ж я не понимаю, пан директор?

— Ну и отлично. Ко мне явитесь через неделю, а сейчас можете идти.

Феликсяк поклонился и вышел. Он был полностью доволен собой. С таким человеком как директор Павел Далч приятно говорить: раз, два, три и всё решено. В придачу не потребует работы. Осмотрись, отдохни, а может какая работа в мастерской потиху найдётся. Надо быть осторожным, чтобы на заводе не доложили, но маленьких мастерских, где можно подённо зарабатывать, много, если, конечно, являешься таким хорошим мастером, как, с позволения сказать, он.

Павел Далч расхаживал по своему кабинету, держа руки в карманах. С самых ранних лет он приучился смотреть на жизнь просто, извлекать её правду из непосредственных наблюдений, холодных, трезвых, ничего личного. Осложнения, о которых говорили другие, по его мнению не существовали вовсе для каждого, кто хотел вникнуть в мотивы человеческих поступков, в несложный механизм человеческой психики и разглядеть пружинки вожделений, амбиций, желаний, привычек и предрассудков. Исходя из этого действия человека были простым следствием его склонностей, которые можно точно рассчитать, предвидеть, заблаговременно оценить и взвесить. Тут он первый раз стоял перед загадкой. Он не хотел называть это тайной. Он вообще не верил в существование тайн. Считал, что каждая из них после обстоятельного изучения могла бы стать материалом для исследований психиатра или криминолога.

И вот перед ним была тайна Кшиштофа, загадка, которую он несколько месяцев тщетно пытался разгадать. Её объём охватывал не только внутренний мир, но и собственную психику Павла. Он отдавал себе отчёт в том, что в отношении этой тайны он бессилен, более того, что тут не может решиться на безличное отношение, которое во всех других случаях гарантировало ему ясность и безошибочность суждений.

Феликсяк не врал. Из этого следовало, что дядюшка Карл, человек чрезмерно щепетильной честности, в данном случае поступил вопреки принципам, которые несомненно органично коренились в его натуре. Подкупил работника, чтобы тот отбыл военную службу за Кшиштофа. Мотив отцовской любви не мог быть достаточным для такого поступка. Не мог быть достаточным ещё и потому, что пан Карл был горячим патриотом, а здоровье Кшиштофа не относилось к самым худшим. Итак, зачем? Какие мощные пружины могли действовать в психике дядюшки

Карла? Что могло вынудить его на этот рискованный уход с дороги легальности, ба, к риску шантажа, который в подобных обстоятельствах всегда следует предвидеть?..

Махинация, принимая во внимание паралич пана Карла, не могла состояться без участия пани Тересы, ну и, наверно, Блумкевича. Сам Кшиштоф в ней тоже должен быть сознающим свою роль актёром...

Кшиштоф... Холодный, высокомерный, гордый, замкнутый в себе. Он показывал Марихне свою армейскую книжку, и теперь понятно, что делал это не случайно, что была в этом цель...

Павел собрал все ключи, которые оказались под рукой, вышел в коридор и приказал швейцару открыть кабинет Кшиштофа. Быть не могло, чтобы он не нашёл тут объяснения загадки, либо по крайней мере следов, которые ведут к её разгадке. Он лихорадочно подбирал ключ к ящикам бюро. Сумел открыть все, за исключением среднего. В них не было ничего, что составило бы для него какую-нибудь ценность. Он закрыл их и позвонил. Приказал привести слесаря с отмычками.

— Мой двоюродный брат, — неохотно объяснил он слесарю, — уехал в отпуск и запер в бюро бумаги, которые мне необходимы.

Спустя минуту замок уступил.

— Подождите в коридоре, — сказал он слесарю, и когда тот вышел, открыл ящик.

Внутри лежали револьвер, ключи от остальных ящиков в коричневом замшевом мешочке и небольшой кожаный портфель, а в нём стопка листов бумаги, исписанных красивым, округлым почерком Кшиштофа. Это были письма, письма, написанные, разумеется, Кшиштофом, но не отправленные, о чём свидетельствовало то, что листы были не согнуты.

Павел насчитал их более десятка, как близнецы похожие друг на друга. Все они не имели ни заголовка, ни дат. Не имея заглавия, они производили впечатление скорее какой-то литературной рукописи.

— Этот соплёк занимался графоманией? — скривился Павел.

В любом случае эту писанину следовало основательно проштудировать. Он взял портфель и приказал запереть ящик.

Всю вторую половину дня, занимаясь нагромождением заводских дел, он не мог забыть о портфеле Кшиштофа и о неправдоподобном, но всё же правдивом свидетельстве, полученном от Феликсяка.

Он сам себе удивлялся, что не может совладать с обычным — нужно, чёрт возьми, называть вещи своими именами, — любопытством. Фактическое состояние дел всё же представлялось ясно и не оставляло никаких сомнений. Сейчас он держал в руках не только Кшиштофа, но и дядюшку Карла. Он был всемогущим властелином ситуации. За обладание тайной мог потребовать любой платы и любую плату мог бы получить.

Он мог просто приказать им откупиться всем, чем они владели. Мог отобрать у них завод, мог без малейших усилий совершить то, что собственно было в его планах!

Всего лишь несколько часов назад он смеялся бы до упаду, если бы кто-нибудь сказал, что он заколеблется реализовать это по соображениям... родственным... И всё же, почему он только сейчас уяснил для себя такое необычайно выгодное положение дел?.. Разумеется, он не откажется от своего преимущества. Надо быть глупцом. Разумеется, он использует ситуацию до последней капли...

И всё же его охватывало какое-то нетерпеливое недовольство собой, недовольство, в слагаемых которого он не мог разобраться. Может это происходило оттого, что всё упало ему готовым, легко, до идлиотизма просто, прямо в руки... Да... подарок с ясного неба, с которым ничего не поделаешь...

— Чёрт возьми, — засмеялся он иронично. — Ещё немного, и я начну создавать себе трудности, как марктовеновский Том Сойер.

Когда он уходил с завода было уже около семи. Он бедал как всегда один в огромной столовой, чёрный кофе приказал подать в кабинет.

«Здесь чувствуешь себя одиноко, — подумал он, — как черепаха в своём панцире, с той разницей, что этот панцирь для меня слишком велик».

Это было смешно. Ощущение одиночества хотя и появлялось у него очень редко, каждый раз вызывало нечто вроде презрения к себе. В действительности он был уверен в том, что превосходно может обойтись без той психической питательной среды, которой люди взаимно делятся между собой. Отсутствие поблизости того или иного человека никогда не досаждало ему, он никогда не тосковал ни о ком, даже о тех женщинах, которые оставили очень памятное впечатление. Чувства дружбы он не знал. То, что его школьные товарищи называли дружбой и с чем приближались к нему, — впрочем, достаточно редко, — составляло для него скорее поле для наблюдений, в большей степени было извлечением пользы. Позднее у него уже не было контактов с людьми, которым слово дружба могло бы прийти на ум.

Первым словом первого письма Кшиштофа было слово: «Дружба».

«Дружба не является чем-то, что связывает, но чем-то, что привлекает. Она выражается стремлением к слиянию двух личностей в одну. Разве не вольно мне думать, что есть в иерархии чувство высшее, чем любовь? Наибольшим преступлением было бы избавление человека от права на чувства. Сколько раз случалось мне видеть Твои беспощадные глаза, я с ужасом замечал в них злобу. Они как лезвие, заточенное на твёрдом камне...»

Павел перевернул страницу и взглядом искал имя, кому эти апострофы¹ были адресованы. Просмотрел несколько последующих страниц, но и на них ничего не нашёл. «Ты» повторялось довольно часто и звучало скорее как абстракция. Нонсенсом было бы предположить, что речь идёт о голубых, искрящихся и наивных глазах Марихны. Ста-

¹ Апострофа — (греч.). Риторическая фигура обращения к лицу отсутствующему или к неодушевленному предмету. — Прим. ред.

ло быть кому же писались эти письма? Весь образ жизни Кшиштофа указывал, что он по уши влюблён в Марихну, и всё же пишет:

«Я тоскую о Тебе тоской отчаяния, тоской, лишённой каких-либо надежд. Ты не можешь знать, как сильно я ненавижу тебя за то, что не могу дотянуться до Тебя, что ты так далеко, дальше, чем достанет смелости у мечты...»

Это звучало достаточно отчётливо: во время обучения за границей Кшиштоф должно быть влюбился в какую-то иностранку, вероятно из высших сфер, либо... он не способен выполнять функции мужчины по отношению к женщине. Павел усмехнулся и оторвался. Марихна как-то сказала: в армейской книжке было записано «категория А — здоров».

«Но сто чертей, книжка была выдана призывной комиссией Феликсяку! Почему же этот сопляк поехал за границу с девушкой?!..»

Он снова начал перелистывать страницы. Не мог решиться на систематический, последовательный просмотр. Светло-серый, переходящий в салатный, шелковистая шершавость бумаги и этот запах. Он поднёс её к лицу и долго вдыхал утончённый, хрупкий запах парфюма. Он напоминал нарцисы.

«Бегство от действительности безнадёжно, коль скоро вы знаете, что можно покончить с собой, биться головой о стены своей маленькой тюрьмы. Сегодня ночью я узнал, что такое плач. Подумать только, что Ты никогда не узнаешь, сколько раз этой ночью я заклинал Тебя именами такими горячими, что они даже обжигали мне уста. Почему же не вольно мне прошептать их тебе. Если бы Ты услышал хотя бы один звук, то узнал бы, кто я для Тебя...»

Павел смежил веки и прочитал ещё раз:

«...Если бы Ты услышал хотя бы один звук, то узнал бы, кто я для Тебя...»

«Скорее всего написано мужчине! Гомосексуал, или чёрт его?..»

Это открытие наполнило Павла каким-то странным настроением: смех, удивление и определённого рода нелепая и пикантная стыдливость. Так что же в таком случае значит Марихна и какова её роль, и эти стихи, и эти цветы, и этот отъезд, и это повествование Кшиштофа о Хипкеманне, лишённом на фронте мужского достоинства?..

Нагромождение абсурдов. Не является ли этот мальчик попросту больным сошедшим с ума? Паралич его отца мог иметь свои последствия. Павел читал:

«Не пойму этого никогда, насколько велико их преступление по отношению ко мне. Простить — означает не что иное как понять, а я понять не могу. Разве можно простить то, что кто-то взял его сущность, его индивидуальность, что поместил его в чудовищное враньё, пропасть которого так бездонна и пуста».

«Нагромождение абсурдов, — Павел с неудовольствием сложил письма и сунул их в портфель. — Очевидно Кшиштоф занимался беллетристикой, и беллетристической философией!»

Он кинул портфель и громко рассмеялся. Кшиштоф как раз и выглядел неудавшимся поэтом или писателем, к тому же в плаксивом сти-

ле. Технический директор промышленного предприятия, пишущий подобную чепуху — это более чем смешно.

Павел вовсе не переносил художественной литературы и никогда в руки её не брал. Вершиной идиотизма казалось ему уже одно то, что какой-то смелый и в то же время благоразумный человек с серьёзным выражением лица может всю жизнь предаваться порождению фантастических историй о фантастических людях, заниматься обдумыванием несуществующих бумажных конфликтов, констатацией фиктивных проблем, копанием в чём-то, чего не существует вовсе.

Его оскорбляла бесполезность этой работы, её беспредметность и высокомерная вера в необходимость собственного существования. Написание стихов он оправдывал так, как сумел объяснить себе естественность смеха и слёз у некоторых людей. Но романы, с их перипетиями, с их растянутостью, всё же не могли считаться эмоциональным взрывом, извержением вдохновения. Если же автор хотел выразить в них свои мысли и взгляды, не проще было бы написать брошюру философских размышлений либо несколько страниц афоризмов. Как-то в одном из парижских кафе, где определённое время он отирался вместе с богемой, он высказал эти свои взгляды, и какой-то итальянец или румын объяснил ему с пьедестала авгура:

— Художественная литература является ни чем иным, как прикладной философией. Разумеется, я говорю о литературе, стоящей на высшем уровне.

Нотабене, этот итальянец был идеологом определённой художественной группы, пропагандирующей крестовый поход против прикладного искусства. При этом тем более острый, чем более высокого уровня оно добивается.

Для Павла сама жизнь заключала в себе слишком много элементов романа, слишком много драматических узлов, живых конфликтов, кричащих подлинным голосом боли, звенящих подлинным золотом, истекающих подлинной кровью, чтобы мы искали их в романе. Сколько же фабул, сколько анекдотов живых людей сплеталось на его глазах, сколько могло и должно сплетаться под его собственной рукой!

Из русской школы он запомнил строки из «Евгения Онегина», где поэт с состраданием смотрит на человека, постигающего жизнь и любовь из романов. Разумеется, уменьшая тем самым радость, которую может извлечь из реального мира, трепет, который даёт настоящая жизнь.

А уж того рода литература, которой занимается Кшиштоф, прямо свидетельствует о своего рода психическом отклонении, о занятии бесплодной абстракцией.

Несмотря на полное раздражение, вызванное странным произведением Кшиштофа, Павел в течение нескольких дней не раз заглядывал в портфель, доставал из него серые листки шелковистой бумаги и прочитывал некоторые фрагменты. Во всяком случае тут было проявление какого-то невыразимого страдания, к которому не могли приноровиться ни ироничные комментарии, ни злобные усмешки. Самое большее — пожать плечами, недовольно, раздражённо, почти гневно.

Тем временем с приездом президента силезских заводов Манфреда Кноффа для Павла начался период большой подготовительной работы, целью которой было создание металлургического треста.

Правда с детских лет Павел знал отечественные промышленные сферы, правда в доме отца встречал всех тузов этого мира, да и сейчас узнал многих из них, но он никак не предполагал, что их консерватизм и отсутствие понимания риска могли стать такой существенной преградой для исполнения его планов.

Эти люди, запуганные фискальной политикой правительства, призраками самых худших конъюктур, вырастающей над Западом советской «пятилеткой» и упадком потребления в стране, превращались в страусов, прячащих голову в песок и считающих часы, отделяющие их от катастрофы.

— Из того, что я тут слышу, — говорил Павел на большой конференции в Банке Промышленников, — создаётся впечатление, что вершиной мечтаний господ является медленная смерть от анемии. А я утверждаю, что в сто раз лучше бороться с грозящей катастрофой, если выступая против неё мы имеем хотя бы тридцать шансов из ста избежать её.

Его оптимизм не был оптимизмом бездействия, а имел в себе столько динамики, что если и не сумел увлечь других, произвёл одно: в сравнительно короткое время Павел стал тем, к кому были обращены взгляды остальных.

Он занял центральную позицию, демонстрируя активность, силу, а прежде всего понимание целей.

Об этих целях он никогда не говорил отчётливо. Во всех своих действиях необыкновенно ясный, точный, строгий, не оставляющий ни одного вопроса без исчерпывающего ответа, тут он прикрывался недомолвками.

Он знал заранее какие это вызовет последствия. В человеческой психике где-то на самом дне лежит самая сильная потребность веры, потребность религии, необходимость уверенности, что кроме дел, поддающихся охвату собственного ума, существует концепция высшая, правда, доступная не для каждого, чьи судьбы остаются в руках Провидения, в отличие от людей, ниспосланных самой судьбой. И собственно человек ниспосланный судьбой — только он может позволить себе скрывать от других тайну своих высших планов и более глубоких замыслов.

Эта религия слабых людей была самым главным союзником Павла в преодолении сопротивления тех немногих, кто до тошноты добивался окончательного заключения, фанатично держался убеждения о безошибочности критериев своего разума и о воображаемой необходимости приложения этого мерила ко всему, чтобы мы ни встретили на пути. Во всяком случае, в их глазах Павел занял позицию незаурядной личности, свидетельством чего было избрание его на должность председателя организационной комиссии металлургической промышленности.

Все заседания проходили в условиях строгой конспирации. Их тематика и дискуссии оставались недоступными общественному мнению. Однако сам факт съезда в Варшаве тузов промышленности не мог пройти мимо внимания прессы. Её жажда информации была успокоена кратким коммюнике, гласившим, что для борьбы с кризисом металлургическая промышленность создала специальную комиссию, во главе которой встал пан Павел Далч, генеральный директор Промышленных предприятий Братья Далч и К°. Информация была бы ничем, если бы не вульгарность, с которой она была подана в печати, если бы не потянула за собой лавину экономических статей, обсуждающих событие, о котором ничего или почти ничего не известно, и которому следовало придать большое значение.

Председатель Павел Далч занял на общественной арене одно из видных мест.

Это добавило ему много работы. По меньшей мере примерно час занимали заседания. Сюда приходили обычно с готовыми материалами, с готовыми предложениями, которые принимались почти без обсуждения. Зато много времени он вынужден был посвящать конференциям с редакторами экономических газет, с депутатами, занимающимися экономическими вопросами, с персонами из правительства. Также много часов он проводил над ворохом таблиц и статистических диаграмм. По ходу дела проект треста для него самого становился всё менее реальным, зато в сознании его начали конкретизироваться другие планы, более близкие и выгодные: концентрация экспорта.

По мере ознакомления с ситуацией он пришёл к убеждению, что главной причиной недомогания производства является недостаток кредита, что необходимость постоянного ограничения производства является кошмаром, угнетающим все заводы и шахты. С другой стороны не подлежало сомнению, что государство, всё более нуждающееся в притоке иностранных валют, сыграло бы на руку металлургической промышленности, давая значительно более высокие чем прежде экспортные премии, лишь бы только вырос экспорт, а с ним значительно увеличился бы и приток иностранной валюты.

Существовали и другие данные, позволяющие предположить, что можно было достичь вполне эффективных цен. Всё это было бы возможно только в случае создания центра продаж, центра, обладающего монополией торговли с границей.

Из предварительных подсчётов следовало, что такое учреждение должно давать промышленникам серьёзные доходы. В этих доходах, разумеется, принимал участие и завод Далчев, *eo ipso*¹ в какой-то малой части принимал участие и Павел, и именно то, что только в малой, по крайней мере его не привлекало.

Он никогда не был филантропом, и никогда его не распирало от альтруизма.

¹ *Eo ipso* (лат.) — тем самым. — Прим. пер.

Правда он мог бы уверенно рассчитывать на руководство центральным управлением и, как следствие, пользовался бы высокой тантьемой¹, однако он был бы всего лишь уполномоченным других, но не к этому он стремился.

Игра стоила бы свеч только в том случае, если бы он стал независимым хозяином этого центрального управления. А это требовало обладания колоссальными суммами, доходящими до десятков миллионов. Дело должно быть основано на долгосрочном кредите, у него должно быть время на большие обороты. Оно гарантировало бы не только огромные прибыли, но и решающее влияние на львиную часть национального производства.

Для реализации недоставало только этих нескольких десятков миллионов, и потому следовало подумать о путях, которыми их можно было бы достать.

Деятельность организационной комиссии металлургической промышленности должна была претерпеть некоторую приостановку, однако уже вскоре она дала позитивные выгоды в виде регулирования некоторых цен и раздела рынка на сферы влияния. В этой связи фигура Павла в промышленных кругах выглядела всё весомее.

Он знал, что о нём говорили и кто говорил, знал, что приближается к достижению так необходимого ему полного доверия.

Этому способствовали и те результаты, которыми обязан его руководству завод Далчев. При общем кризисе благоприятное состояние дел этого предприятия обращало всеобщее внимание, а заслуги приписывались исключительно талантам Павла. Впрочем, это не расходилось с действительным положением дел. Быстрое ориентирование в рынке и способность распознавать людей, с которыми он имел контакт, делали из Павла не только хорошего администратора, но и коммерсанта, который был способен всегда вовремя использовать благоприятное стечение обстоятельств.

Разумеется, пан Карл Далч, имея, благодаря исчерпывающей информации Блумкевича, полную картину перемен на предприятии, не мог ни перед собой, ни перед Павлом скрыть своей признательности. Впрочем, это не было на руку Павлу, коль скоро больной хотел его видеть всё чаще, отрывая от нагромождения дел. Вероятно содействовало этому и продолжающееся пребывание за границей Кшиштофа, которого пану Карлу недоставало. Свидетельством тому было все более часто повторяемое в разговорах имя отсутствующего. Однажды Павел спросил шутливо:

— Разве вы не допускаете, что эта задержка с возвращением имеет романтический оттенок?

— У тебя есть основания для такого рода подозрений? — пан Карл сосредоточил изучающий взгляд на лице Павла.

¹ Тантьема — одна из форм дополнительного вознаграждения руководящему персоналу акционерных обществ, промышленных фирм, банков и других организаций по итогам получаемой прибыли, процент от чистой прибыли. — Прим. ред.

— Нет, ничуть. Вы, дядюшка, пожалуй лучше знаете, есть ли у Кшиштофа в Швейцарии какая-нибудь симпатия.

— Он молод, — сухо оборвал больной.

— Молод, — снисходительно кивнул Павел, — и романтичен. Это у него пройдёт с возрастом. Он даже похож на поэта. Разве дядюшка не опасается, что он, например, пишет стихи?...

Удивлённый взгляд пана Карла был ответом более чем отрицательным.

— Ну, стало быть новеллы, романы, мемуары?..

— Думаю, что это исключено. Откуда, к чёрту, пришли тебе в голову такие подозрения? Кшиш ещё молод, но всегда был благоразумен.

— Не подозрения. Просто у каждого из нас в юношеском возрасте бывает огромная доза романтизма, которую необходимо сжечь, если не хочешь до седых волос остаться сумасшедшим. Одни выплёскивают это в графомании, другие — в любовных приключениях, иные скитаются по экзотическим странам либо служат в армии и охотятся за лаврами героев... Да... Но у Кшиша, пожалуй, слишком слабое здоровье для солдата. Он служил в армии?

Вопрос был задан самым безразличным тоном, и несмотря на это пергаментное лицо больного покрылось румянцем.

— Разумеется, служил. Отбыл всю службу рядового в 67 пехотном полку.

— Рядового? Ему же полагалось год и закончить военное училище?

— Да. Но поскольку его заграничный бакалавриат не был нострификован¹...

— Ну, да, — произнёс Павел и заговорил о чем-то другом.

Он нарочно хотел проверить утверждение Феликсяка перед встречей с ним. Теперь не подлежало сомнению, что Феликсяк говорил правду, и стало быть не даром получал из заводской кассы свой оклад. Взвесив всё основательно, Павел решил до возвращения Кшиштофа воздержаться от каких-либо шагов. Поэтому и не вызывал Феликсяка. Однако не прошло и месяца, как тот объявился сам.

Он стоял перед бюро и понуро смотрел в пол.

— Не понимаю, о чём идёт речь, — спокойно убеждал Павел, — вы получаете ваши деньги регулярно?

— Получаю...

— Стало быть чего же ещё хотите?

— Ну, что я их не зарабатываю.

— И что вам нужно, основание, на котором их получаете?

Феликсяк переступил с ноги на ногу.

— Я даром не хочу. Хочу работать, пан директор. Я не калека.

Павел поднял брови:

— Вы давно заработали их, служа за моего двоюродного брата в армии. Не понимаю вашей щепетильности.

¹ Нострификация (пол.) — принятие на равных правах иностранного диплома, учёной степени. — прим. ред.

— За службу я получил наличными, а работа мне полагается. Примите это во внимание и дайте мне работу. Люди прознали, что я ничего не делаю, а деньги беру.

— Как это, прознали? Кто же им мог рассказать?

— А разве я знаю? — смутился Феликсяк. — Может и сам по глупости хвастался, а сейчас никак не могу без работы. Хоть бы и не говорили ничего, без работы тяжко...

В принципе Павел не имел ничего против принятия его на завод. Ему не было нужды считаться с тем, что об этом будут говорить в цехах. Однако он хотел затянуть неопределённое положение, чтобы иметь ясный предлог не в шутку поставить вопрос в первом же разговоре с Кшиштофом. Поэтому и сказал Феликсяку, что его вопрос он сможет решить только на следующей неделе. Он был уверен, что к этому времени Кшиштоф успеет натешиться медовым путешествием и прелестями Марихны. Однако оказалось, что он ошибался.

Глава VIII

С Главного вокзала Марихна поехала прямо домой. С тех пор как рассталась с Кшиштофом в Вене, она была в полусознании. До самой границы её терзали опасения, что ей не удастся договориться с кондуктором, с чиновниками таможни, и со всеми теми людьми, говорившими с ней по-немецки, но так быстро и неразборчиво, что её знания, приобретённые в гимназии, позволяли ей угадывать лишь звучание отдельных слов.

В купе она была одна. Уснула только под утро, а проснулась, когда поезд отъезжал от станции в Ченстохово. Она озябла, и переутомление, которое добавилось к её жуткому нервному состоянию, привело к тому, что она заподозрила себя в безумии. Стуча зубами, она шла за сторожем, поднимавшим по лестнице её чемоданы. Торопливо и без улыбки поздоровалась с хозяйкой, а когда оказалась в своей комнате, как можно скорее закрыла дверь на ключ, отгораживаясь от остального ужасного мира. Долго лежала на кровати в шубе и шляпе, заливаясь слезами. Не слышала или почти не слышала заботливого стука в дверь. Полжизни отдала бы за то, чтобы иметь возможность прижаться к кому-нибудь, чтобы кому-нибудь выплакать весь кошмар своих переживаний.

— Никого нет, никого...

Павлу даже на глаза постыдилась бы показаться. К Зелонке не пойдёт ни за какие сокровища. Да и зачем?.. Молчать, принуждать себя к молчанию в то время, когда аж в груди болит от необходимости говорить, когда стыд запирает уста, а клятва стоит над ней как чёрная угроза. Нет, она вовсе не выйдет отсюда, не будет ни с кем разговаривать, даже если бы хотела не подчиниться вынужденному одиночеству, это

одиночество было единственным её спасением, единственным укрытием...

— Боже, Боже, — плакала Марихна.

Только вечером, когда в комнате было уже почти темно, а стук хозяйки повторился, она с трудом поднялась, сняла шляпу, шубу и перчатки. Повернула ключ в замке и тотчас же отступила в самый тёмный угол.

— Что с вами, панна Марихна? — испуганным голосом спросила хозяйка.

— Ничего, ничего...

— Но с вами, должно быть, что-то случилось!

— Отнюдь, пустое...

— Вы наверное голодны? — хозяйка потянулась рукой к выключателю.

— Пожалуйста не включайте, — истерично крикнула Марихна, — я не хочу. Пожалуйста не включайте.

— Успокойся, дорогое дитя, если не хочешь, я не включу...

Хозяйка приблизилась к ней и принялась гладить её по волосам; из глаз Марихны снова полились слёзы.

— Спокойствие, — тёплым шёпотом говорила хозяйка, — спокойствие. Нет на свете таких плохих вещей, которые не удалось бы исправить...

Рука мягко сдвинулась на влажное лицо, соскользнула с искренней нежностью и притянула голову Марихны к груди.

Секунды хватило Марихне, чтобы найти в себе ужасающее воспоминание. Касание груди хозяйки наполнило её паническим страхом. Она вырвалась из её объятий и отскочила к окну.

— Прошу меня не касаться, — закричала она умоляющим голосом, — прошу меня не касаться.

— Что с тобой, бедняжка?! — тоже ужаснулась хозяйка.

— Прошу меня не касаться, — повторяла Марихна.

В полумраке она видела только высокую худую фигуру хозяйки и её руки, протянутые, как казалось Марихне, жадным, ненавистным жестом.

— Я дам вам валериановых капель, — решила наконец хозяйка и быстро выбежала из комнаты.

Это несколько образумило Марихну.

— Я действительно веду себя как сумасшедшая, — пыталась она овладеть нервами, однако в ту же минуту ей пришло в голову, что можно действительно сойти с ума... Всё же люди, в жизни которых случались различные странные несчастья, не раз зарабатывали безумие.

— Выпейте это, дитя моё, — вернулась хозяйка и протянула ей руку со стопкой.

У лекарства был неприятный и тошнотворный вкус, Марихна осторожно, чтобы не коснуться пальцев хозяйки, отдала стопку.

— Вы должны, панна Марихна, тотчас лечь в кровать. Я вам постелею.

Она принялась стелить, потом принесла горячий чай, от которого в комнате распространился запах коньяка. Она была так добра, что уже не мучала Марихну вопросами, а тихо ушла, закрыв за собой дверь. Марихна короткими жаждущими глотками выпила чай, крепкий, горячий, ароматный. Какоре-то время, скорченная, она сидела на краю кровати. Понемногу её начало охватывать тепло, покой и сонливость. Она разделась и проскользнула под одеяло.

Сначала мысли клубились в голове, а когда она уснула, превратились в страшные чудовища, которые склонялись над ней, смеялись, старались сорвать с неё одеяло... Наконец она упала в тёмное бессилие глубокого сна.

Когда проснулась, должно быть было уже очень поздно. Солнце сверкало на замёрзших стёклах, в комнате было светло и ярко.

Наконец-то она в Варшаве, наконец в безопасности. Тут есть возможность защищаться, возможность сбежать. Ей вспомнились громадные мрачные коридоры отеля, покрытые таким толстым сукном, что она не слышала даже топота своих босых ног, когда в паническом, безрассудном испуге вслепую убегала в эту первую ночь.

Она поступила тогда неумно, даже очень глупо, безумно. Если бы задуматься, если бы она могла задуматься, что находится среди чужих, что не сумеет никому объяснить свой страх, своё отвращение, которое сдавило ей горло... Здесь она среди своих, тут может защищаться. Мысль сконцентрировалась на дверях: повернуть ли ключ в замке?!..

И там она заперлась в ванной, однако в конце концов должна была отпереть... Какие это страшные и какие противные...

Сегодня она чувствовала себя значительно спокойнее, и всё же при каждом воспоминании все её мышцы напрягались, а руки сжимались в кулачки и сами поднимались к губам, как у больной обезьянки в зоологическом саду... Так это называла...

Когда они выезжали из Варшавы, она была в таком хорошем настроении, даже пыталась развеселить постоянно задумчивого Кшиштофа. Пейзаж, перемещающийся за окнами вагона до такой степени поглощал её внимание, что даже Павла она вспоминала всё реже. Потом была Вена, большой солнечный город, где люди говорят громко и весело, где все даже если не смеются, то выглядят улыбающимися. Тут она была ещё счастлива. В отеле у неё была отдельная комната, а Кшиштоф только поцеловал её на ночь и вышел. Она была этим даже немного разочарована и немного на него сердита. Если бы она могла знать...

Ранним утром они выехали. Кшиштоф был мрачен и молчал всю дорогу, а она была поглощена опасениями, как будет перед ним объясняться в том, что не девственна. Она дрожала от одной только мысли, что ему не понравится ответ, когда он спросит, не Павел ли это? Он так ненавидит Павла. Она знала, что тогда не сможет совладать с румянцем и этим выдаст себя.

Потом были горы, громадные, заснеженные горы, по склонам которых поезд поднимался, казалось, всё выше и выше, а потом отель, подвешенный словно гнездо ласточки, прикреплённое где-то под об-

лаками к маленькому выступу горы. Издалека это выглядело как детская игрушка, но на самом деле это был великан! Из окон их комнаты простирался бескрайний пейзаж на большое кольцо заснеженных великанов.

Под вечер поднялась ужасная выюга. Ветер дул так, что, казалось, под его напором здание отеля наклонится и скатится вниз словно картонная коробка.

— Ложись спать, — сказал Кшиштоф каким-то холодным, неприятным тоном, — я приду сказать тебе спокойной ночи.

Лёжа в постели, она долго слышала его нервные неустанные шаги в соседней комнате. Прошёл может быть час, может больше, прежде чем он решился войти. Через полуприкрытые веки она видела в потоке света его стройную фигуру в чёрной шёлковой пижаме. Он приблизился и холодной как лёд рукой коснулся её плеча:

— Ты спишь, Марихна?

Она улыбнулась и подумала, что, наверное, у него никогда не было ни одной женщины, и что это очень хорошо. Он склонился над ней и долго смотрел ей в глаза с какой-то отчаянной гримасой на устах. Затем слегка поднял одеяло и оказался рядом с ней.

— Любимый, — шепнула она, прижимаясь лицом к его руке.

Он лежал неподвижно, затем несколькими быстрыми движениями снял пижаму и вот она почувствовала всем телом касание его гладкой как бархат кожи. Руки оплели его томно. Она никогда не представляла себе, что он так прекрасен. Он начал целовать её губы, глаза, шею, грудь, теми самыми всегда необыкновенными поцелуями, и после каждого словно наслаждался его блаженством.

О, она помнит каждую секунду, каждую долю секунды этой страшной ночи.

Её охватило пронзительное, необычное ощущение, совершенно другое, чем то, которое вызывали ласки Павла... И она не чувствовала отвращения к Кшиштофу. Напротив. И всё же внезапно почувствовала отвращение. Подвинулась и обеими руками от него заслонила.

Как же страшно вскрикнула она тогда!.. Под пальцами совершенно отчётливо она ощутила две маленьких, упругих женских груди...

Она не отдавала себе отчёта в том, что делает, её охватило такое внезапное, такое пронзительное отвращение, какой-то спонтанный наплыв стыда, какое-то просто физическое потрясение...

Не сознавая, что делает, она сорвалась с кровати и бросилась к дверям. Они были закрыты. Проблеск сознания: двери другой комнаты открыты. Она вбежала туда, но едва добежала до двери, как Кшиштоф преградил ей дорогу... Кшиштоф!.. Ох, одного мгновения, тут, в полном свете лампы, одного взгляда перепуганных глаз хватило, чтобы убедиться, что она не ошиблась, что он является женщиной...

— Марихна, Марихна, — рассерженный шёпот наполнял её ещё большим страхом.

Она кинулась, чтобы избежать касания вытянутых рук, и именно тогда оказалась в огромном лабиринте угрюмых коридоров...

Это настоящее счастье, что, босая и в ночной рубашке, она не встретила в это время никого. Должно было пройти более получаса, прежде чем Кшиштоф нашёл её. Он укутал её своим халатом и, стуча зубами, проводил в постель.

Она замёрзла. В коридорах было холодно. До утра она не уснула, дрожа словно в лихорадке. Утром пришлось вызвать врача. У неё была температура тридцать девять и мучительный кашель.

Кшиштоф в течение восьми дней ухаживал за ней в молчании.

Ночами в горячке ей снились чёрные трагические глаза, смотрящие с безбрежной печалью. Каждый раз, когда он нащупывал её пульс, касание его руки наполняло её отвращением. Он ничего не говорил. Только когда температура уже совсем спала, а Марихна чувствовала себя значительно лучше, он начал рассказывать. Марихна вжимала лицо в подушку и плакала. Мой Боже! Это было так печально, так страшно.

По каким-то очень важным причинам, семейным или имущественным, с раннего детства Кшиштофа воспитывали как мальчика. Настоящая жизнь перед ним закрыта, ему не позволено быть собой. Теперь до смерти она должна выдавать себя за мужчину и раз и навсегда отречься от того, что является счастьем для каждой женщины: от любви, настоящей любви. И он объяснял: разве может Марихна поставить ему в вину, что он ищет у неё крупинцы чувств, сурогат счастья, которого он лишён навсегда?..

И Марихне в тот день, когда он сидел возле её кровати в одежде и с папиросой в губах, когда она слышала его полный печали голос, низкий, альтовый, почти мужской, когда видела болезненное выражение его глаз, казалось, что она всё же сумеет, что она должна принести себя в жертву, что в этом и нет такой уж большой жертвы. Но пришла ночь... И как же иначе всё выглядело!.. Откуда-то изнутри выползло такое сильное отвращение, что нужно было до боли стиснуть зубы, чтобы не кричать, необходимы были неслыханные усилия воображения, чтобы припоминать ласки Павла и настойчиво внушать себе, что это он, чтобы поверить, что эти сочные, утончённые губы, что эти узкие атласные руки являются руками и губами Павла!..

На помощь приходил алкоголь. Теперь за ужином она всегда пила много вина, и только это помогало ей вынести кошмар этих ночей, во время которых она чувствовала себя как кролик во время совершения над ним вивисекции. Ей казалось, что и Кшиштоф тоже страдает во время этих ночей. Однако они никогда не говорили об этом. Ночи представляли собой как бы особую часть, как бы совсем другую сторону их жизни. Днём Кшиштоф был естественным, ещё более естественным, чем в Варшаве. Они ездили в город, бывали в театре, в кино, и даже в магазинах. Тут Кшиштоф покупал Марихне множество платьев, шляп, чулок и других мелочей туалета.

— Наряжаю тебя за нас обоих, — говорил он с печальной улыбкой.

Самые приятные часы, долгие послеобеденные часы они проводили за обсуждением и проектированием платьев, сорочек и пижам для Марихны. Сейчас она хотела считать его сердечной, доброй под-

ругой. Внушила это себе. Увы, ни на минуту она не могла избавиться от этого невыносимого чувства отвращения, которое пробуждалось при каждом более тёплом слове Кшиштофа, при каждом чувствительном взгляде. Тщетно она внушала себе, что сумеет привыкнуть. С каждым днём, а точнее с каждой ночью ей было всё труднее. Она начала просить Кшиштофа о возвращении на родину. Он обещал, но всё затягивал. Однажды за завтраком сказал:

— Ты плохо чувствуешь себя в горах. Выглядишь бледной и синяки под глазами.

— Ты тоже, — ответила она тихо.

Они действительно выглядели так фатально, что когда жена владельца отеля остановила Кшиштофа и шутливо спросила, давно ли они женаты, Кшиштоф, рассказывая об этом Марихне, сказал:

— Мы зарегистрированы здесь как супруги... Как муж и жена...

А спустя минуту добавил:

— Может когда-нибудь это исполнится, может станем супругами...

— Как это? — спросила перепуганная Марихна.

Кшиштоф начал рассказывать. Они должны вступить в брак, поселиться вместе и подражать нормальному образу жизни других людей. Это будет лучше всего. Сурогат дружбы и сурогат любви, ибо что ещё ему остаётся?.. Но пусть она не думает, что он так самолюбив. Отнюдь. Он не намерен её связывать. Если Марихне понравится тот или иной мужчина... Лишь бы она стала, лишь бы зхахотела понять, как велика трагедия не иметь права на настоящую жизнь...

Тогда Марихна расплакалась. Жестоко требовать от неё этого. Она всегда останется подругой Кшиштофа, но на это не согласится никогда, ни за какие сокровища.

Когда снова пришла ночь и снова эти страшные, отвратительные прелестные мучения — она была близка к мысли о самоубийстве.

— Отойди, — умоляла она, — будь ко мне добра...

В течение дня она всегда называла её мужским именем. Ей удавалось это вполне естественно, но ночью женскость Кшиштофа просто подавляла своей очевидностью. Когда первый раз в такую минуту она назвала её «Крысенька», вызвала этим скандал.

— Никогда так не говори, — грозно произнёс Кшиштоф, — никогда! Хочешь погубить меня?!

Он снова был мужчиной.

— Ты должна забыть об этом! — он гневно до боли сжал локоть её руки. — Если не уверена, что сможешь сохранить тайну, скажи мне об этом сейчас, немедленно! Пальну себе в лоб и конец.

— Но я вовсе... — оправдывалась Марихна, дрожа всем телом.

— Напротив, сделай это, — настаивал он с горечью, — сделай. Обращаю твоё внимание, что таким способом легче всего избавиться от меня.

В голосе Кшиштофа звучала такая бьюль, такое страдание, что она закинула руки ему на шею и стиснула зубы, чтобы унять дрожь.

На следующий день по какому-то ничтожному поводу, которого сейчас она вовсе не могла припомнить, разразился ужасный скандал. Сбежались постояльцы из соседних номеров и вызвали доктора. Тот вынес заключение о фатальном нервном состоянии и необходимости изоляции. При этом он многозначительно посмотрел на Кшиштофа, желая очевидно дать ему понять, в чём это раздельное жительство должно заключаться. Поскольку он утверждал, что положение серьёзное, Кшиштоф в тот же день рассчитался по счетам и они выехали.

В Вене его задержали какие-то срочные дела. Он разместил Марихну в вагоне и перед самым отправлением напомнил:

— Я не связываю тебя, Марихно, своей тайной. Однако верю, что если захочешь с кем-нибудь поделиться, тебе достанет порядочности и благородства предупредить меня заранее. Думаю, что по крайней мере на такую доброжелательность с твоей стороны я могу рассчитывать за те чувства, которые даю тебе.

«Мой Боже! — думала Марихна, — Мой Боже! И кому я могла бы открыться. Он думает, что у меня кто-нибудь есть на свете... Я так одинока и так несчастна...»

Сейчас, когда она была далеко от него, когда имела возможность бегства, даже если бы он вернулся и снова потребовал от неё этих мерзких ночей, сейчас Марихну охватила такая нежность, какая-то почти тоска по Кшиштофу. Нет, скорее не по Кшиштофу, но по той бедной, обиженной жизнью девушке... Если бы она могла что-нибудь для неё сделать, если бы могла ей чем-нибудь помочь, готова была бы на самые большие жертвы, лишь бы не переносить эти мучительные ласки... А собственно ничего более от неё и не ожидалось.

Марихна задумалась:

— Разве не это...

Однако в поведении Кшиштофа было какое-то принуждение... Естественно, и для него это должно быть отвратительно!..

Но тотчас пришла мысль: если бы было отвращение, он не стал бы принуждать к этому. Она вспомнила стихи, прозу, которые он читал ей по-французски. Это были песни о любви одной женщины к другой, и Кшиштоф восхищался красотой этой поэзии.

Какое счастье, что Кшиштоф останется в Вене ещё на неделю, а может и дольше. Правда она обещала ему, что до его возвращения ни с кем не будет видеться, что не пойдёт на завод. Разумеется не пойдёт, да и что бы она там делала. Впрочем, продолжительность её отпуска зависит от отсутствия шефа.

Но, пожалуй, в кино ей можно ходить, либо на прогулку. В этом нет ничего плохого...

Под влиянием тишины, царившей в квартире, и неустанного равномерного шума, доносившегося с улицы, шума привычного, хорошо знакомого, она успокаивалась гораздо быстрее. В прихожей горничная открывала печь и закладывала уголь.

Марихна начала одеваться. Через щели в дверях до неё долетал аппетитный запах кипящего бульона. Она почувствовала лёгкую боль под

ложечкой. Как же чертовски она была голодна. Не ела от самой Вены, да и перед тем вовсе не было аппетита. Она осторожно нажала кнопку звонка. В прихожей и в столовой не было никого. Видимо хозяйка вышла. В кухне горничная поприветствовала её восклицанием:

— Иезус Назаретский! Что же это такое, панна Марихна? Вы так похудели!

— Я измучена дорогой и ужасно голодна...

— Верно, верно... сейчас сварю кофейку...

Марихна вернулась к себе и посмотрелась в зеркало. Она действительно выглядела ужасно. Должно быть потеряла несколько килограмм веса, её цветущая кожа стала чуть розовой, под глазами обозначились два голубоватых пятна.

— Боже, как я подурнела, — произнесла она вслух и одновременно подумала, что это вовсе неправда, поскольку сейчас она выглядит более интересной, именно так, как Бригида Хелм в фильме «Aerane».

Завтрак она съела с аппетитом, после чего собралась распаковать чемодан. Сколько у неё было интересных вещей. Всё от Кшиштофа. Он действительно был к ней очень добр. Размещение и упорядочивание вещей в шкафу заняло у неё время до обеда. На счастье за столом был какой-то ксёндз, дальний родственник хозяйки, и это освободило Марихну от ожидаемых расспросов. На улице был страшный холод, из-за чего она решила не выходить. Однако бездействие так её тяготило, что около шести она накинула шубу и сбежала по лестнице.

Она попала в какое-то второсортное кино, где показывали скушный, старый фильм. Героиня, брошенная возлюбленным, травится вероналом и оставляет письмо: «Я никому не нужна, уйду в мир иной». Правду сказать, жертва неверного возлюбленного в конце концов была спасена, но Марихна, возвращаясь домой, вплоть до пересечения Лежной и Железной была самым основательным образом убеждена, что она тоже никому не нужна и тоже должна уйти в мир иной. Жаль только, что в прощальном письме она уже не сможет использовать такие прекрасные слова, как этот «мир иной». Каждый, кто был на этом фильме, сразу узнал бы, откуда она это взяла...

— Добрый день, пани, — услышала она рядом с собой приветливый голос.

Рядом с ней шёл заводской химик, инженер Оттман. Его розовое лицо от холода стало буквально свекольным, а пшеничные усики были покрыты таким густым инеем, что выглядели седыми. В своём потёртом пальто он выглядел куцо и убого, однако несмотря на это Марихна была рада:

— О, вы тут! Что вы делаете в наших краях?

— Это я должен спросить, что вы делаете в Варшаве? Слышал, что у вас отпуск и вы без ума от Закопане. Вы уже вернулись? И стало быть вам нет дела до работы, поскольку Вызбор-Далч приезжает только через неделю.

— Да? — спросила Марихна. — Откуда вы об этом знаете?

— Не могу дождаться его возвращения, есть некоторые дела, которые не могу начать без решения вашего шефа. Знаете что? У вас точно нет ничего срочного? Может мы зашли бы на лёгкую музыку в какую-нибудь кондитерскую?

Марихна без колебаний согласилась. В конце концов никого из знакомых они вероятно не встретят. Компрометирующее пальто Оттмана останется в гардеробе, а на нём скорее всего есть какой-нибудь приличный костюм.

— Тут совсем близко трамвайная остановка, — говорил Оттман. — О, кажется идёт «девятка».

— Ну, хорошо, — согласилась Марихна и подумала, что это ужасно, когда мужчина предлагает ехать на трамвае, а не на такси.

Спустя четверть часа они уже входили в большую кофейню на Новом Святе. Костюм был не слишком пристойным, но оркестр прелестно играл цыганские романсы, кофе было горячее, а пирожные на целое небо лучше, чем за границей. Едва не вырвалось у неё это замечание. К счастью, она вовремя прикусила язык.

Густо обсаженные столики, музыка, шум, облака папиросного дыма и тепло ещё более поправили её настроение. От третьего столика какой-то напoмаженный брюнет пылко строил ей глазки. Поскольку одет он был с изысканной элегантностью, Марихна почувствовала себя оскорблённой и тем доброжелательнее принялась расспрашивать Оттмана о различных заводских делах, которые её в принципе никак не касались. Она улыбалась ему и манерничала как можно привлекательнее, пусть тот не думает, что на его красоту и элегантность любая тотчас полетит. Спустя пять минут она глянула на брюнета. Оказалось, что все усилия были напрасны: третий столик был пуст.

Оттман очень симпатично рассказывал о своей лаборатории, о проектах, о своих хлопотах с терпентином. Он говорил о вещах очень скушных и в действительности был занудой, но каким-то привычным, близким, доброжелательным.

— А знаете, — сказала она, когда оркестр заиграл какое-то сентиментальное танго, — что у меня были очень тяжёлые, очень печальные переживания?

— У вас? — удивился Оттман.

Она расчувствовалась, задетая его сомнением:

— Ну, разве вы не видите, как я ужасно выгляжу? Вы даже не соизволили заметить!

— Вы всегда прелестно выглядите, — улыбнулся он словно с умилением.

— Что ж, я не имею права требовать от вас, чтобы вы обращали на меня внимание, но ведь это же бросается в глаза! Я потеряла как минимум пять килограмм, а может и десять, страшно переживала, и это каждый понял бы по мне!

Она была возмущена им и добрые четверть часа старалась сохранить самое болезненное выражение. Оттман, сильно сконфуженный, пытался объяснить, что не разбирается в этом, если бы она была ка-

ким-нибудь химическим телом, тогда допускаю, что он сумел бы заметить каждую мельчайшую переменную, ибо в этом и заключается его профессия.

— Ради вашего удовольствия, — отрезала она резко, — я не стану химическим телом.

Однако Оттман не разочаровался, напротив, принялся мягко просить прощения и расспрашивать об этих трагических происшествиях. Марихна, если бы не то неверие, с которым он об этом говорил, была почти готова рассказать ему по крайней мере часть своих переживаний с Кшиштофом. Вот рот бы открыл от уха до уха!

Однако уже само сознание ношения в себе тайны, о которой никто не знает, страдания, о котором не может иметь представления ни одна из сидящих тут женщин, давало Марихне чувство собственного превосходства, уверенности, что это придаёт её красоте своего рода одухотворённость, накладывает на её черты печать потустороннего.

Тем временем Оттман снова рассказывал о заводе, о том, что фирма выкупила соседние территории, на которых возникнет цех тракторов, что предприятие расширяется и растёт, и всё благодаря нынешнему генеральному директору:

— Редко встречаются такие люди как Павел Далч. Необыкновенный человек. В жизни много видел руководителей разных учреждений, но ни один не имел такой крепкой головы и такой уверенной руки. Разумеется, вы читали в газетах о том, что он стал президентом всей металлургической промышленности?

Марихна читала. Она хорошо помнила те минуты. Кшиштоф просматривал почту, присланную из дома, и читал ей вслух все статьи из газет, где было столько о Павле. Боясь подвергнуться новым подозрениям, Марихна удержалась тогда от проявления радости, тем более, что Кшиштоф читал с явным негодованием. Он должен был сильно не любить Павла и завидовать его успехам, коль скоро даже побледнел. Ничего удивительного. Сам он даже мечтать не может о том, чтобы сравниться с Павлом. Изображать мужчину ещё не значит быть мужчиной, тем более таким мужчиной как Павел.

— В Союзе Техников, — рассказывал Оттман, — все единогласно утверждают, что Павел Далч ещё не показал и половины того, что он сумеет. Необыкновенный человек. Обладает умом, характером и, что самое важное, честностью.

Марихна думала: «У него глаза цвета стали и улыбка, которую невозможно забыть, и широкие плечи, настоящие плечищи, и голос низкий, глубокий как звук органа...»

— Когда с ним разговариваешь, — убеждал Оттман, — ты уверен, что каждое его слово — это чистое золото, что нет такого дела, которое ему невозможно доверить или поручить...

А Марихна думала: «Каким счастьем было бы вверить ему всю себя, доверить ему всю жизнь...»

Она гордилась тем, что была его любовницей, гордилась, что именно её он выбрал, хотя — не сомневалась, — мог бы обладать любой.

И однако гордость ещё не означала радость. Напротив. Павел в нагромождении работы наверное совсем забыл о ней. Неизвестно, найдёт ли, захочет ли он найти для неё чуточку времени, а может, у него уже другая...

— Пойдём домой, — вздохнула она, — поздно, и я устала.

Оттман проводил её до дома и заверил, что если она этого не желает, он точно никому на заводе не скажет, что она вернулась из отпуска:

— Впрочем, я там ни с кем не разговариваю о личных делах. Только с вами, — улыбнулся он с нежностью. — До свидания, пани, панна Марихна, желаю приятных снов.

— Спокойной ночи. Благодарю.

Оттман придержал её руку:

— А если у вас не будет лучшего занятия и никакой приятной компании, прошу мне позвонить, либо в лабораторию, либо домой. Вот, тут мой телефон. — он подал ей визитную карточку и ждал в воротах, пока она не взбежала по ступенькам.

Как она и предполагала, хозяйка тотчас постучала в её комнату. Она пыталась вызвать её на откровенность, однако Марихна постоянно повторяла, что у неё уже ничего нет, что вчера она была утомлена дорогой.

Утром и на следующий день хозяйка снова пыталась её расспросить, подбиралась к этому разными способами, однако Марихна замкнулась в себе.

На третий день она получила от Кшиштофа письмо. Оно было запечатано большой печатью, но внутри она нашла лишь несколько предложений: он напоминал ей про обещание, писал, что очень сильно занят и что уведомит её телеграммой о дне своего возвращения.

«Дай Боже, — думала Марихна, — дай Боже, чтобы вовсе не приехал».

Собственно, она не хотела этого. Она испытывала огромное одиночество. Будь что будет сейчас, если она не могла увидеть Павла, ей недоставало Кшиштофа. Она пыталась даже обманываться предположением, что Кшиштоф по приезде снова будет тем же по отношению к ней, каким был раньше в Варшаве, что не будет от неё требовать того, что наполняло её ужасом и отвращением. Всё же они могут быть самыми верными, самыми любимыми друзьями.

Мороз прошёл совершенно. Случилось это неожиданно ночью. Весь город сменил свой цвет. Крыши сверкали на солнце лакированной чернотой, по улицам стекала вода. Перед обедом хлынул настоящий весенний дождь. Весна в этом году начиналась поздно, однако пришла внезапно и всемогуще охватила всё. И с этого дня Марихна чувствовала себя удивительно оживлённой и весёлой. Она позвонила Оттману и тотчас выбралась на прогулку.

— Тут некрасиво, — сказала Марихна, — лучше пойдём посмотрим Аллею.

Уже второй раз со времени своего возвращения она ходила на Аллею Уяздовску. По крайней мере не для того, чтобы встертить Павла,

единственно с целью глянуть в сторону его окон. Сколько уже раз хотела она позвонить ему, однако мысль, что он будет испытующе вглядываться ей в глаза, что будет спрашивать, наполняла её страхом. Сейчас как раз было около семи, то есть время, когда Павел чаще всего возвращался домой, но это вовсе не означало, что он обязательно встретится или она хотя бы увидит его издалека...

— ...поскольку терпентин является, простите, как бы ближайшим кузенном каучука, — неумоимо и с улыбкой объяснял Оттман, — а в семье химической порой можно тёте приделать усы дядюшки, и это будет самый аутентичный в мире дядюшка.

Марихна подумала, что до сего дня она переоценивала химию. Вроде бы такая серьёзная наука, а занимается подобными глупостями. Она спросила не без пренебрежения:

— И вы занимаетесь приделыванием таких усов?

— Пытаюсь, — со вздохом ответил Оттман.

— И что вы от этого получите?

— Терпентина в мире много, и стоит он дёшево, а каучук очень дорог. Если бы сделать это открытие!.. Хо, хо!..

Он постоянно думал об этом терпентине. Видимо изобретение шло у него с трудом, если он часто вздыхал, а Марихна под конец уже не могла различить, какой из вздохов был предназначен ей, а какой терпентину. Тротуары в аллее Третьего Мая, на Новом Швеце, на площади Александра и в Аллеях Уяздовских были заполнены весёлой толпой.

— Как это хорошо, что уже тепло, — прервала Марихна рассуждения Оттмана, — мне почти жарко в этой шубе.

Оттман сказал в задумчивости «да, да», и снова свернул к своему нудному каучуку.

В окнах на первом этаже горел свет. Павел был дома. Проще всего было бы каким-нибудь лёгким способом избавиться от компании Оттмана. Тогда она могла бы подняться по ступенькам и позвонить. Ну и как бы он её принял? А может у него какие-нибудь важные посетители, может гости — столько ламп горит... — а может, другая?..

— Подождите минутку, — произнесла она неожиданно для себя. — Я должна кое-кому позвонить.

Они как раз проходили около небольшой фруктовой лавки, в дверях которой висела табличка: «действующий телефон».

— Ну и отлично, можем зайти вместе, — согласился Оттман.

— Нет, нет, — она нервно улыбнулась, — это тайный звонок, я не хочу, чтобы вы слышали.

Он снисходительно кивнул и остановился перед лавкой. Марихна вошла, остановилась возле аппарата и сняла трубку. Вдруг она осознала, что поступает очень плохо, что не должна звонить, что этим может вызвать множество напрасных осложнений. В трубке отозвался нетерпеливый голос телефонистки: «Ну, простите, слушаю, какой номер?»

Если бы в этот момент на память Марихне пришёл какой-нибудь другой номер! Увы, она помнила только этот. Полноватый хозяин лавки присматривался к ней недружелюбным взглядом, за окном над пи-

раמידой апельсинов, ярко освещённой, виднелось лицо улыбающегося Оттмана. Что оставалось делать. Она назвала номер, моля Бога, чтобы никто не ответил. Ей в голову не пришло просто положить трубку, впрочем, почти немедленно она услышала голос Павла:

— Слушаю.

— Добрый день, — она старалась говорить как можно тише, — то есть, собственно, добрый вечер...

— С кем вы хотели говорить? — ответил удивлённый голос.

— Это... Марихна...

— Ааа... Вернулась! Вовсе не знал об этом! Добрый день. Ты можешь прийти ко мне?

Могла ли она! Должна! Так давно его не видела!

— Вернулась только я, — ответила она, — он ещё остался в Вене.

— Зачем? — вроде как рассерженным голосом спросил Павел.

— Не знаю, были какие-то дела, — Марихна почувствовала себя обиженной. Вместо того, чтобы приветствовать её, он сердится, что Кшиштоф остался за границей.

— Ну, хорошо, — сказал Павел. — Приезжай немедленно.

— Я сейчас не могу, мне было бы тяжело.

— Почему? — спросил он резко, и поскольку она ничего не ответила, добавил: — Приезжай сейчас, жду, и не медли, поскольку вечером у меня заседание.

Сказал и положил трубку.

«Какой он грубый, — думала Марихна, готовая расплакаться, и ещё подумала: — Что я наделала, что я наделала...»

Она заплатила за телефон, забирая сдачу, рассыпала мелочь на прилавке. Когда вышла, была так взволнована, что Оттман сочувственно спросил:

— У вас какие-то неприятные известия?

— Да, то есть нет, я должна с вами проститься... Вам в какую сторону?

— Может, я вас провожу?

— Благодарю. Я пойду одна...

— Вы не переживайте, — произнёс он беспомощно.

Она подала ему руку и несколько раз оглянулась, пока не убедилась, что он за ней не следит. От дома, в котором живёт Павел, её отделяло всего несколько минут ходьбы. Теперь она не могла отступать. Она должна просить его о сохранении тайны, о том, чтобы он не проговорился перед Кшиштофом... В голове у неё помутилось. Что она ему скажет? Наверное он будет расспрашивать её о поведении Кшиштофа, о том, дошло ли между ними до любовной связи, но она не может нарушить обещание, данное Кшиштофу...

Она позвонила. Дверь открыл лакей, и Марихна даже попятилась.

— Простите, застала ли...

— Любезную пани ждут, — с неувимой усмешкой склонил голову слуга.

Когда она вошла, он указал ей на кресло:

— Вы позволите, если я сниму вам боты?

Он как раз закончил разувание, когда на пороге появился Павел. Он сухо и почти официально подал ей руку. Только когда слуга вышел, он улыбнулся и поцеловал её в губы:

— Ты выглядишь бледной, детка. Болела?

— Да, сильно болела...

Он помог ей снять шубу, они перешли в кабинет. Тут все было как и прежде, как перед отъездом. Павел курил папиросу и приглядывался к ней многозначительно.

— Ну так что?.. Ты осчастливила влюблённого юношу?

Марихна покраснела и опустила взгляд.

— О!.. Может, и сама в него влюбилась?.. Ты похудела. От любви как будто худеют. Так утверждают специалисты... Ничего не скажешь?

— И вовсе не влюбилась...

— А о моём существовании помнила?

Она подняла глаза и сказала тихо:

— Очень.

Он покачал головой и, выпустив вверх струю дыма, произнёс свой приговор:

— Это скверно характеризует таланты моего двоюродного брата. Скажи мне откровенно: он недотёпа, да?

Марихна неискренне улыбнулась:

— Нам обязательно говорить о нём? Я так не люблю говорить о других.

— Иди сюда, — сказал он коротко и протянул к ней руки.

Он посадил её на колени, обнял и открытой ладонью гладил её ноги. Она прижималась к нему и уже не жалела о своём звонке.

— Мне так хорошо с тобой, я так о тебе тосковала, — шептала она ему на ухо, — так боялась, не забыл ли ты обо мне, не нашёл ли другую, более красивую и умную, чем я.

— Уверяю тебя, — засмеялся он весело, — что даже не искал. В последнее время я был завален работой.

— Я знаю, — сказала Марихна.

— Что знаешь?

— Читала в газетах.

Павел поднял брови:

— Кшиштоф получал почту из дома?.. И он тоже читал? И что же говорил?..

— Ничего, — коротко ответила Марихна и, желая прервать расспросы, поцеловала его в губы.

Сверх ожидания Павел не расспрашивал её о подробностях пребывания за границей. Впрочем, слишком много внимания поглощали ласки, по которым он сильно соскучился, как в этом имела возможность убедиться Марихна, к полному своему удовлетворению. Настроение первой встречи портили только телефонные звонки, повторяющиеся неустанно с перерывами в несколько минут. С каждым позвонившим Павел разговаривал коротко и убедительно.

— Это ужасно, — говорила Марихна, прижимаясь к нему, — у тебя совсем нет времени для себя!

— Для себя? — удивился Павел, — Но всё это как раз для меня.

— Ну да, дела, но для собственного удовольствия...

Он засмеялся:

— Ты не понимаешь, что дела можно делать для удовольствия?

— Чтобы иметь деньги...

Павел покачал головой и задумался:

— Людям так кажется. Некоторые даже глубоко убеждены в этом. Но на самом деле они увлечены деньгами потому, что привыкли считать их мерилom своих усилий, своего умения и чуть ли не счастья. Поэтому они идентифицируют деньги с тем, что называют счастьем.

И всё же удовлетворение доставляет осуществление, а не достижение. Сам процесс добывания. Я полагаю, что наслаждение обладанием является своего рода инерционным психическим отклонением. Накопление — это нечто совершенно другое. Сорока страстно собирает безделушки, но ей совершенно безразлично, если кто-то заберёт украшения из гнезда. Мне кажется, что сороки правы. Мы имеем тому подтверждение в инстинктах человека. Праздность также невыносима для богача, как и для бедняка. Осознание функции получения удовольствия остаётся всего лишь вопросом сознательного или несознательного отношения к жизни...

Марихна напрягала всё внимание, чтобы понять, о чём идёт речь. Должно быть, говорилось о чём-то очень умном, коль скоро она не могла этого сообразить. Терпентин Оттмана тоже был не очень понятным, но, разумеется, куда скушнее.

— О чём ты думаешь? — спросил Павел.

— Никогда не угадаешь, — рассмеялась Марихна. — Это не имеет никакой связи с тем, о чём мы говорили.

— Ну?

— Попробуй угадать, — развеселилась она, — что есть на заводе и начинается на букву «тэ».

Павел зевнул.

— Транспортёр?

— Нет, терпентин!

— Терпентин? Почему терпентин?

— Так, вспомнилось, — она почувствовала, что в его глазах будет выглядеть очень глупо, и добавила: — Встретила этого инженера Оттмана, и он рассказал мне, что совершил какое-то открытие. Из терпентина делает каучук, или из каучука терпентин. Он такой зануда, но так меня развлёк своими переживаниями из-за терпентина, что до сих пор не могу этого забыть...

— Каучук? — Павел нахмурил брови.

— Ну да, каучук, а может резина, я уже не помню.

— И что, Оттман сделал это открытие? — в голосе Павла прозвучала большая заинтересованность.

— Мне говорил, что сделал и что будет очень богатым, если ему

удастся, — она разразилась смехом. — Он такой добродушный. А богатство, если посчастливится, придёт к каждому...

— Подожди, — прервал её Павел, — Ты не могла бы очень подробно вспомнить, что он об этом говорил?

Марихна не могла. Если бы она знала, что Павла это заинтересует, она постаралась бы быть внимательной. Впрочем, она может специально расспросить его.

Из обрывочной информации, которая сохранилась в её голове, Павел пытался воссоздать целое, но в конце концов отказался и запретил Марихне, Боже упаси, не упоминать при Оттмане, что об этом был разговор.

Около девяти Павел должен был ехать на заседание. Они вышли вместе, но он так спешил, что попрощался с Марихной на ступеньках. Она не обижалась на него. Она была довольна собой и миром. Симпатия, которую она испытывала к Павлу, ещё усилилась благодаря его деликатности. Он не мучал её вопросами о Кшиштофе, казалось, он понимал, что есть вопросы, о которых она не может с ним говорить. Он просил её, чтобы пришла завтра, когда он будет весь вечер свободен.

Она радовалась этому. Как же иначе отдыхала она в его атмосфере. Тут она была спокойна и уверена. Её не подстерегало ничего неожиданного, ужасного, она забыла об этой постоянно наэлектризованной атмосфере, которую создавало присутствие Кшиштофа.

Когда-то, ища в фильмах и романах объяснения истин ожидаемой любви, она воображала себе, что любовь состоит не только из чувственных поцелуев, но и из нежных слов, произносимых дрожащим голосом, трогательной ласковости, из тысячи комплиментов и взаимных восторгов. Поэтому когда она нашла всё это у Кшиштофа, она знала, что это любовь, и даже представить себе не могла своего необъяснимого влечения к прозе, которую давал ей Павел, к его почти холодному отношению к ней, которое раскалялось только в минуты физического возбуждения.

И удивительно: ещё до того, как выяснила, что Кшиштоф женщина, она готова была скорее Павла осыпать нескончаемой литанией нежных слов, нежели брать реванш ими у Кшиштофа. Однако она никогда не делала этого, поскольку как-то не подходило это Павлу, выглядело смешно, неправдоподобно.

То отвратительное и противное натуре не было любовью, следовательно настоящей любовью было то, что соединяло её с Павлом, и хотя недоставало в нём цветов, радуги и словечек, разумеется, это было естественным, в то время как её прежнее представление о любви было бледным и экзальтированным.

Сейчас в сто раз сильнее чем раньше она не могла бы, не имела сил вернуться к Кшиштофу, вернуться к тем объятиям, поцелуям и ласкам, которые наполняли её непреодолимым отвращением. Чтобы защититься от него она готова была ухватиться за любые средства, вплоть до бегства под опеку Павла включительно. Правда никогда, ни за какие сокровища она не решилась бы признаться ему в том, что Кшиштоф

женщина, что он принуждал её к омерзительному разврату, и этому принуждению она, желая того или не желая, всё же подчинялась.

При одной только мысли о таком признании кровь отливала от её лица. Это был бы позор, которого она никогда не могла бы пережить, не говоря уже о том, что, наверное, стала бы отвратительна Павлу, что он прогнал бы её от себя и не пожелал бы видеть впредь.

Впрочем, пока вовсе не было необходимости убегать под его защиту. Кшиштоф возвращается только через несколько дней, а когда вернётся, Марихна может обрести столько отваги и воли, чтобы категорически воспротивиться ему.

К счастью Павел не интересовался сверх меры Кшиштофом. Его больше занимала проблема с терпентином Оттмана.

Марихна определила это на следующий день, к большому своему удивлению. Теперь он совершенно отчётливо поручил ей вывести у Оттмана. И поскольку он не был уверен в том, что она запомнит все вопросы, на которые должна добыть для него ответы, он записал их на листке бумаги, причём предостерёг Марихну от внезапного проявления интереса к этому открытию. В тот день она ночевала у Павла и он отвёз её домой ранним утром, по пути на завод.

После полудня она позвонила Оттману, и вечером они отправились в кино. На её вопросы химик отвечал с нескрываемой радостью. Видимо, ему и в голову не приходило подозрение, что Марихна действует по чьему-то поручению, он радовался тому, что её интересует его работа.

Марихна старалась в точности запомнить его слова, а по возвращении домой даже записала их на листке, который нашла в своей сумочке. Она допустила только одну неосторожность: не обратила внимания, что на оборотной стороне было письмо Кшиштофа.

Когда на следующий день она рассказывала Павлу о результатах своей разведки, тот машинально взял из её рук лист старой шелковистой бумаги. Он потёр его пальцами и поднёс к лицу.

— Это бумага Кшиштофа, — произнёс он с улыбкой и развернул листок.

На обороте было то печальное письмо из Вены. Первым побуждением Марихны было вырвать у него из рук письмо, но в тот же миг она припомнила, что в нём нет ничего, что могло бы выдать правду. Во всяком случае она допустила неосторожность.

После прочтения письма мысли Павла обратились к Кшиштофу.

— Ты ничего мне о нём не рассказываешь, — произнёс он недовольным тоном.

— Что я могу рассказать, — поневоле улыбнулась Марихна.

— Ему обо мне тоже ничего не говоришь? — он иронично скривил губы.

Она хотела заверить его, что разумеется, что тем более, что ни за что на свете не призналась бы Кшиштофу в том, что связывает её с Павлом. Однако он повидимому и не ждал ответа, коль скоро сам заговорил:

— Ты, любовь моя, впечатляюще откровенна. Не в упрёк тебе будет сказано. В этом отношении другие женщины тебя превзойдут. Я хотел бы одного, чтобы ты проинформировала меня, неужели Кшиштоф не догадывается о том, что между нами что-то есть?

— Откуда...

— Ну, могла же что-то сказать неосторожно, вести какой-нибудь дневник или другие глупости. Если он ревнив и бестактен, наверняка имел возможность заглянуть в твои чемоданы и там найти доказательства неверности.

— Нет, нет, — заверила Марихна, и вдруг кровь отхлынула от её лица.

Она действительно не вела дневников, не писала писем, но держала в сумочке фотототграфию Павла. Павел знает людей, и возможно он прав в том, что Кшиштоф способен на обыск её вещей. Фотография была спрятана в насессере, в верхнем кармашке...

— Кажется не очень-то ты веселилась, — говорил Павел. — Мой двоюродный брат производит впечатление человека рассудительного и страдальца... кажется даже, что сочиняет какие-то литературные произведения. Не замечала?

— Что? — очнулась от задумчивости Марихна.

Она не могла избавиться от мысли, что Кшиштоф видел фотографию.

— Ты говорила, что он часто цитировал стихи. Интересно, не он ли сам их плодит?

— Да нет! Он цитирует чужие стихи.

— Чертовски романтичен. Временами этим чертовски действует на нервы. И что? Всё ещё смотрит на тебя как кот на колбасу?... Верно ни на шаг не отпускал тебя от себя?

— Я так не люблю об этом говорить, — попыталась защититься капризной гримасой Марихна.

Однако Павел не отступал:

— Скажи мне, он полностью нормальный?

— Как это — нормальный ли? — Марихна побледнела словно полотно.

К счастью Павел закуривал папиросу и этого не заметил.

— Ну, может ему чего-то недостаёт, в постели он ведёт себя так же как я?

Марихна отвернулась и шепнула умоляюще:

— Точно также... Ты такой недобрый... Я стыжусь говорить об этом...

— Хм... это странно. Можно было предположить, что ему кое-чего недостаёт... — он тихо засмеялся, — Стало быть, он в порядке и здоров... Для чего тогда эта замена... Слушай, Марихна, не рассказывал ли он тебе о своей военной службе?

— Нет. Только показывал армейскую книжку...

— Так... Когда он вернётся, у меня будет к тебе одна просьба.

Марихна не отвечала. Неприятность разговора была пустяком в сравнении с опасностью, которая не давала ей покоя: «Видел ли Кшиштоф у меня фотографию?..»

По возвращении домой, ещё в шубе и в шапке, она достала насессер, открыла и заглянула в верхний карманчик.

Фотографии не было.

Она лихорадочно начала перебирать содержимое насессера, осмотрела обе сумки, уже пустые, и всё, что выложила в шкаф и в комод. Нет, она не могла поверить в то, что её не было: «Наверное найдётся, наверное найдётся», — повторяла она, не прекращая поисков.

Не могла же она потерять её!.. И стало быть остаётся только одна возможность: Кшиштоф нашёл фотографию и забрал её...

Нет, это невозможно, почему он ничего не сказал об этом?.. Он такой ревнивый, и вдобавок фотографя Павла, которого ненавидит...

В эту ночь Марихна не могла заснуть.

Глава IX

В западном углу большого прямоугольника, занимаемого заводом Далчей, стояло одноэтажное здание из красного кирпича. На дверях была прибита табличка: «Химическая мастерская». Лаборатория занимала три просторные комнаты, в первой, предназначенной для грубых подготовительных работ, работал худой как жердь лаборант в гранатовом халате, который во многих местах был покрыт пятнами от едких кислот и красок. Во второй работал Оттман, третья представляла собой своего рода склад.

В этом здании, до которого почти не долетал шум больших заводских цехов, исследовались сплавы для втулок быстроходных машин, пробы лака и смазки. Узкие, длинные столы, заставленные рядами бутылок с реактивами, стеклянными банками разной формы, газовыми горелками, цилиндрами, воронками, пробирками разной величины, колбами, химическими стаканами стеклянными и фарфоровыми, тиглями графитовыми и пластмассовыми, аппаратами Кипа, вискозиметрами, дефлиматорами, сушилками, шамотной печью, а рядом — паяльной трубкой, снабжённой маленьким электромотором...

Это было королевство инженера Оттмана, его и только его, безразличное для всех прочих, непонятное и почти бесполезное.

Мастера и кладовщики, отправляя пробирки на анализы, говорили презрительно:

— Отнеси это на кухню.

Им ли было понять, что в этом небольшом, похожем на сторожку здании из красного кирпича находится шифр для прочтения самых больших, самых величественных тайн мира! Что тут под объективом микроскопа, в неуловимом для глаза колебании аналитических весов может родиться нечто, что потрясёт существование всего человечества, что в этом почти ненужном, едва сносном придатке к чудовищной туше металлургического предприятия помещается железа, секре-

ция которой может стать элексиром жизни либо смертельным ядом для целых поколений, ба, для всей цивилизации.

Глупцы. Не понимая, они проходят безразлично мимо окна, заглядывающего вглубь тайн природы, мимо источника, из которого может вытечь решающая для их будущего сила. Сила! Кто может угадать её в бледных опаловых каплях, медленно оседающих на пузатых раздутостях колб, в белых кристалликах, складывающихся в удивительные фигуры на дне фарфоровой ванночки, в приглушённых детонациях, доносящихся из герметичного тигля, или в журчании бурой жидкости, в которых природа вручает ему свои тайны, ему, скромному заводскому химику, инженеру Оттману, одному из десятков тысяч ищущих шифр.

Как же он любил свою лабораторию. Он с трудом отвоевал для неё оборудование, возможно даже слишком богатое для скромных заводских нужд. Сам все свои сбережения вкладывал в закупку аппаратуры, в укомплектование и совершенствование лаборатории.

Дирекция вовсе не интересовалась его королевством. Сюда изредка заглядывал главный инженер, когда речь шла о промежуточных данных, касающихся каких-либо проб, когода не было времени ждать окончательных результатов. Однажды вошёл в лабораторию покойный Вильгельм Далч, и раз или два — Кшиштоф.

Поэтому приход Павла привёл Оттмана в состояние почти лихорадочное. Красный и потный, он неуклюже крутился по лаборатории и раз за разом переворачивал оборудование и бутылки.

Павел присматривался к нему со спокойствием. После осмотра оборудования он сел за стол и расспрашивал инженера о способах выполнения исследований. Эта заинтересованность не просто льстила Оттману, но доставляла ему подлинное удовольствие. Он всегда был хорошего мнения о главном директоре, а сейчас дошёл до уверенности, что это исключительный человек.

Он ни секунды не опасался, что инспекция главного директора могла ему в чём-нибудь навредить. Напротив. Состояние лаборатории и его умение заслуживали титула образцовых.

— Вы всё тут великолепно организовали, — с одобрением начал Павел, — ваша изобретательность заслуживает самых больших похвал.

— Пан директор слишком добр ко мне, — искренне засмутился Оттман.

— Отнюдь. А для чего служат эти аппараты? — он показал на два плотно заставленных стола.

Оттман немного смутился. Он сделал несколько неопределённых движений руками и головой:

— Это?... Это, пан директор, я позволил себе приготовить для разных возможных работ... Пока что они не имеют применения, но во второстепенных работах...

— Пан инженер, — прервал его Павел, — вы меня плохо поняли. Я отнюдь не требую оправдания того, что лаборатория больше, чем того требуют сегодняшние потребности. Я придерживаюсь того мнения, что не следует отказываться от возможности вести более широкие

работы. Собственно, я хотел даже просить вас не стесняться в мелких расходах. Я всегда приму их, если только речь будет идти о создании условий для исследования ради какого-нибудь улучшения или изобретения.

Оттман был совершенно портясён.

— Ох, пан директор, в самом деле, большое спасибо...

— Не за что, — пожал плечами Павел. — Не раз я поздно вечером проходил мимо вашей лаборатории и видел, что вы работаете. У вас в лаборатории есть что-то интересное?

— Несколько мелочей, ещё в начальной стадии...

— Что-то из металлургии? — заинтересовался Павел.

— По большей части нет... — Оттман был смущён.

Павел не сомневался в том, что в конечном счёте получит от него необходимые сведения. Он убедился, что Оттман не хочет признаться ему в своей работе над каучуком. Ввиду этого он произнёс:

— Я очень интересуюсь изобретениями. Я даже располагал бы довольно значительными капиталами, если бы речь шла о реализации чего-нибудь конкретного. Во всяком случае, — продолжил он шутливым тоном, — я оставляю за собой первенство покупки.

Он встал и подал Оттману руку. Он видел, что тот колеблется, что хочет что-то сказать ему, однако предпочёл прервать разговор, чтобы усилить у Оттмана доверие.

— До свидания, — произнёс он, уходя, — а через несколько дней я зайду посмотреть опыты исследования основания для буксы, взглянуть на тест сплава для втулки...

Однако так получилось, что утром он сразу явился в лабораторию. И не ошибся. Оттман совершенно точно не мог удержаться, чтобы не доверить ему свою тайну.

— Пан директор спрашивал вчера, — начал он после обмена несколькими фразами, — над чем я собственно работаю...

— Вы ищите философский камень? — высоким приятельским тоном спросил Павел.

Оттман неопределённо улыбнулся и сказал:

— Я ищу синтез каучука...

— О! Это несказанно интересно. Если бы вы сумели добиться своего, а каучук, произведённый вами был бы значительно дешевле натурального, вы заработали бы состояние, что там состояние, миллионы! Как же продвигается ваша работа?

— Довольно успешно, пан директор... Если это вас действительно интересует...

Он открыл шкафчик и показал Павлу три субстанции. Одна прозрачная, липкая и мягкая, напоминала что-то вроде смолы либо загустевший гумиарабик. Вторая, сероватая, уже не была липкой и месилась в пальцах как тесто. Наконец третья была бронзовой, сухой на ощупь и упругой. Ни чем не отличалась от каучука.

Оттман сжимал и гладил небольшой комочек с таким умилением, что Павел помимо воли усмехнулся. Опасаясь, чтобы Оттман не почув-

ствовав себя задетым, он сказал: — Я в этой области полный дилетант. Может вы мне объясните, как это делается, каким образом вы напали на эту гениальную мысль?

— О, не я первый. До меня в этом направлении делалось много попыток...

— Попыток, которые не удались?

— К сожалению, — произнёс Оттман таким тоном, словно говорил «к счастью». — Создан только лабораторный заменитель каучука, который был непригоден для использования, пока не удалось его вулканизировать, то есть соединить с серой. Кроме того он отличается от натурального ещё и тем, что был соединением исключительно терпентиновым, а не молекулярным соединением терпенов¹ и белковых соединений, именно этому соединению он обязан своими свойствами, так ценными для техники.

— Стало быть, вам удалось создать такое соединение?

— Да. Продукт, который я получил, как вы видите, превосходно вулканизируется, — он подал Далчу бронзовую субстанцию, — и есть надежда, что можно будет получать его сравнительно малой ценой.

— Стало быть, ещё нет обстоятельного расчёта?

— До сей поры это было неважно. Я полностью достиг результата, однако получил его дорогой ценой. То есть последние усилия потребуют очень дорогих приборов, поглотят много энергии и должны длиться очень долго. Это не играет роли в эксперименте, однако для промышленного производства совершенно не подходит. Впрочем, у меня есть теоретические данные о том, что это усилие может быть заменено другим, более дешёвым.

— Как это «теоретически»? — в голосе Павла прозвучало разочарование, — То есть практически вы этого ещё не испытали?

— Я не имел возможности. Нужно было сделать это в большом масштабе, сконструировать соответствующий аппарат, а это вопрос более десяти тысяч злотых. Однако я настолько уверен в результатах, что если бы мне удалось достать такую сумму, не колебался бы ни минуты.

Павел в задумчивости ударил концом карандаша о поверхность стола.

— Возможно я бы решился, — начал он после паузы, — предоставить вам необходимую сумму. Я не разбираюсь в этом. Но не хотел бы рисковать напрасно. Я знал нескольких смешных людей, бросающих вслепую деньги во множество нереальных изобретений. Я не заинтересован в том, чтобы в чём-нибудь им уподобиться. Поэтому прежде всего должен точно узнать, в чём заключается ваша идея, каковы шансы «за», и каковы «против». Разумеется, только в том случае, если вы не завязали соответствующих отношений с кем-нибудь другим, и если я вызываю у вас достаточное доверие.

¹ Терпены — группа органических соединений, углеводороды; находится в смоле хвойных растений, а также в эфирных маслах; применяется в медицине, парфюмерии, лакокрасочной и других отраслях промышленности. — Прим. ред.

Слова Павла произвели на Оттмана сильное впечатление. Глядя на этого человека, он ни минуты не сомневался в том, что на его слово можно полностью положиться. Впрочем, он и не потребовал раскрыть все подробности. Инженер заговорил:

— Каучук, как я вам говорил, является соединением терпенов и белковых соединений. В соединении этом терпены значительно преобладают. Всё это циклические терпентины типа C_5H_8 , но это их необработанная формула, выражающая только соотношение атомов угля к атомам водорода в молекуле. Действительное строение представляет собой многоугольник этого соотношения и возникает путём полимеризации основного терпена. Он же составляет главную составную часть обычного терпентина.

— То есть речь идёт как бы об умножении терпентина?

Оттман улыбнулся с несколько смущённой снисходительностью:

— Не совсем, пан директор.

— Во всяком случае терпентин должен быть сырьём, из которого вы намерены получить каучук?

— Да. Из терпена, содержащегося в терпентине, получают два его изомера: изопрен и эритрен, а из них, путём полимеризации, — каучук или, говоря точнее, каучуковый терпен. Секрет моего замысла заключается в том, что в реакцию я включаю сразу необходимую белковую субстанцию, — он понизил голос и закончил, — казеин.

— Если я не ошибаюсь, — спросил Павел, — казеин является продуктом, получаемым из молока?

— Да. Таким образом я в соответствующей пропорции смешиваю его с терпентином и под небольшим давлением подвергаю гидролизу.

— Это что ещё за зверь?

— Это реакция, основанная на том, что исходное химическое соединение в присутствии воды а также под воздействием кислот, температуры и давления распадается на две части, вызывая одновременный распад воды. Тогда путём замены компонентов получают два новых соединения. Одна часть соединяется с водородом, а другая — с группой ОН. Однако не следует доводить гидролиз до конца, но прервать его в соответствующем месте. Таким способом получается липкая гуща, которую вы тут видите, слой более лёгкий, всплывающий наверх. Затем он кипятится с добавлением амиака, и получается это тесто.

Павел покачал головой:

— Однако работы с этим много: гидролиз, кадеин, варка, амиак...

— О, в промышленном производстве это пустяк, всё идёт автоматически. Я даже набросал план аппаратуры...

— Ну и что же дальше?

— Дальше, извините, собственно дело этого дорогого аппарата.

Оттман пальцами оторвал кусочек тестовой массы, бросил в пробирку, нагрел над горелкой Буксена, а когда он растопился, зачерпнул костяной ложечкой небольшое количество порошковой серы, засыпал её и продолжал:

— Из этого теста после добавления серы получается каучук, вулканизированный путём полимеризации. Её достигали, подвергая смесь воздействию альфа-лучей, которые производит лампа Рентгена с достаточной интенсивностью только при напряжении в двести тысяч вольт, но и этого мало, поскольку облучение длится очень долго. Таким образом вы можете себе представить, какие это издержки. Всё было бы невыполнимо, если бы не удалось заменить альфа-лучи с тем же результатом очень высоким давлением при использовании соответствующих катализаторов. Оно должно достигать от семисот до девятисот атмосфер.

— Вы провели калькуляцию своего каучука в массовом производстве?

— Да, пан директор. Он был бы на двадцать — двадцать пять процентов дешевле натурального, но обладал бы тем большим плюсом, что был бы произведён на родине, из отечественных продуктов...

— Всего двадцать пять процентов? — наморщил лоб Павел, — Это очень мало... Это очень мало. Всё же терпентин и казеин необычайно дешёвы?..

— Действительно, — развёл руками Оттман, — однако стоимость создания такого высокого давления, стоимость гидролиза... это должно влиять на удорожание продукта...

Павел встал и принялся ходить по лаборатории. Он чувствовал на себе взгляд потерявшего надежду химика. Наконец он остановился перед ним и спросил:

— Разве, чёрт, нет какого-нибудь более дешёвого способа?.. Разве вы не можете придумать что-нибудь значительно более дешёвое?

— Пан директор, — голос Оттмана дрожал. — Снижение цены хотя бы только на пятую часть, это уже много, а в дополнение — независимость от заграничных производителей...

— Да, да, признаю вашу правоту, однако это не убойный товар. Что бы конкурировать, его цена должна быть вполовину ниже, да! На три четверти ниже. Судя по дешевизне сырья, я ожидал, что ваш каучук мог бы найти применение в ряде совсем новых отраслей... К чёрту, тут необходимо что-то, что производилось бы гораздо более быстрым и дешёвым способом. Не могли бы вы над этим поломать голову?

На лице Оттмана отразилось огорчение:

— В течение десяти лет я работаю над синтетическим каучуком... Конечно, уже через пять лет я дошёл до создания субстанции, имеющей все свойства натурального каучука. Тогда я был убеждён, что нахожусь уже у цели. И у какой цели! Этот продукт был бы дешевле не на пятьдесят процентов, а на семьдесят! Он стоил бы буквально гроши... Достаточно сказать, что было бы дешевле заливать им улицы, чем асфальтировать или мостить их...

— И что оказалось?

— Что оказалось? — едва ли не гневно повторил Оттман, — Оказалось, что это никуда негодный хлам, мусор, труха. Вот, что оказалось...

Он выдвинул ящичек и достал из него горсть раскрошенных почерневших лоскутов.

— Оказалось, что мой дешёвый каучук выдерживает только три-четыре месяца, после чего полностью теряет свою эластичность, прочность и вообще всякую ценность...

Павел погрузил пальцы в кучу чёрных обрывков. Они были жёсткие и ломкие.

— Так, — произнёс он после минутного молчания, — этот каучук сохраняет эластичность, как вы утверждаете, в течение четырёх месяцев, — он вложил руки в карманы брюк и снова начал ходить.

— Четыре месяца, это большой промежуток времени, — бросил он сам себе. — Пан Оттман!

— Слушаю, пан директор.

— Сколько дней вам необходимо на производство этого крошащегося каучука?

— Его незачем изготавливать.

— И тем не менее будьте добры отвечать на мой вопрос.

— Хватит одного дня, — пожал плечами Оттман.

— Очень хорошо. Это в лаборатории, а в заводских условиях?

— В заводских?.. Час, три четверти часа.

— Вы в этом абсолютно уверены?

— Абсолютно, пан директор, но он никуда не годится...

Павел положил руки ему на плечо:

— Очень может быть, пан Оттман, что я профинансирую ваше изобретение. А пока что будьте добры приготовить несколько килограммов крошащегося каучука. Может найдётся какой-нибудь способ законсервировать его изначальную эластичность. Возможно найдётся применение для такой субстанции. Подготовьте мне это завтра. Одновременно просил бы вас составить план и смету этого дорогого аппарата для высокого давления. Я заинтересован в спешки. И думаю, что вы тоже. До свидания.

Он подал Оттману руку и вышел из лаборатории.

Павел вдохнул полными лёгкими свежий воздух. После кислой духоты лаборатории, где даже одежда пропитывалась назойливым запахом различных химикатов, запах влажной земли и нагревающихся на солнце деревьев был живительным. Однако Павел не обратил на это внимания, и если, идя вдоль штакетника, отделяющего территорию предприятия от виллы дядюшки Карла, он смотрел в эту сторону, то только потому, что мысленно взвешивал возможность выкорчёвывания деревьев и возведения на их месте новых заводских зданий. От тех, что с правой стороны, они отличались бы не только тем, что не были бы металлургическим предприятием, но и тем, что составляли бы собственность не братьев Далч, но только одного Далча, Павла.

В здании управления его ожидало несколько посетителей: владелец большого торгового дома из Гельсинфорса, советский агент «Внешторга», представитель одной из датских корабельных линий и чиновник из министерства промышленности и торговли. Каждый из них в сред-

нем занял у Павла по пятнадцать минут времени. Когда вышел последний, на пороге появился секретарь.

— Пан Холдер, — произнёс Павел, — будьте любезны записать. Приготовьте мне к завтрашнему утру статистические данные, касающиеся производства и потребления каучука, его рыночной цены оптом и в розницу, реестр биржевых котировок каучуковых акций и список фирм а также банков, работающих с каучуком в крупном масштабе. Это всё. Сейчас я выезжаю в город. Вернусь примерно через час. Вы ещё что-то хотели?

— Да, пан директор. Собственно... Не знаю, как должен поступить...

— О чём идёт речь?

— Я говорил ему уже неоднократно, что пан директор его не примет, однако он просто не даёт мне покоя. И сейчас сидит в секретариате. При этом ведёт себя провокационным образом. Даже позволяет себе глупые замечания о дирекции...

— Кто? — удивился Павел.

— Инженер Карличек.

Павел встал, запер бюро, спрятал в карман ключ и сказал:

— Я тотчас вас от него освобожу.

Прежде чем секретарь успел опомниться, Павел обошёл его и вошёл в его комнату. Под окном стучали на машинках две машинистки. Перед бюро сидел в пальто и с тростью в руке Карличек. Он окинул вошедшего угрюмым взглядом и тяжело встал со стула.

— Чего вы хотите? — спокойно спросил Павел.

— Хотел поговорить с паном директором, — хриплым голосом ответил Карличек и протянул руку, однако, видя что Павел своей руки ему не подаёт, сжал её в кулак и повторил:

— Хотел поговорить...

— Но я не хочу с вами разговаривать. Прошу немедленно выйти и больше не показываться, иначе...

— Иначе что?! — вызывающе спросил Карличек.

— Иначе полиция заберёт вас прямо в тюрьму, — холодно процедил Павел.

Примерно минуту Карличек сопел, наконец, вонзив ненавидящий взгляд прямо в глаза Павлу, он попытался придать своему голосу интонацию просьбы:

— Мне и без того не остаётся ничего другого. Хоть с голоду помирай... Пан директор должен принять меня назад. Иначе я отсюда не выйду...

— Напротив, выйдете, и при том добровольно, иначе я прикажу вас выбросить, — холодно ответил Павел.

Крупное покрасневшееся лицо Карличека стало почти синим. Толстые сарделеобразные пальцы сжались в кулаки:

— Меня, выбросить! Меня! Ах ты приблу...

Он не закончил. Рука Павла сделала в воздухе молниеносное движение, и увесистый удар в щёку лишил Карличека равновесия. Он взмахнул руками и упал на пол. В ту же минуту Холдер выбежал в кори-

дор. Испуганные машинистки соскочили со своих мест и спрятались за шкафом. Карличек, хрипя, поднялся и потянулся рукой к заднему карману. Однако в ту же минуту он получил сильный пинок в запястье и, воя от боли, схватился за руку. Тем временем двери в коридор открылись. В кабинет влетели пять или шесть служащих из соседних отделов, очевидно привлечённых шумом. Все одновременно бросились на Карличека, желая лишить его свободы движений. Однако тот схватил стул и закричал:

— Любому башку разобью. Прочь от меня!

— Прошу разойтись, господа, — начальственным тоном приказал Павел.

Расступились, но тут от двери раздался голос Холдера:

— Взять его.

Двое широкоплечих рабочих без слов подскочили к Карличеку. Минута борьбы, и атакованный лежал на полу. Несколько пинков, проклятий и стонов.

— Выбросьте эту падаль за двери, — повысив голос, сказал Павел.

— Пустите меня, — хрипел Карличек, — я сам выйду.

— Зачем пану инженеру утруждать себя, — учтиво улыбнулся один из рабочих, — мы вас и так достойно вынесем вшаей.

Он пытался снова сопротивляться и разбил себе нос о пол, а затем руку о двери. Громадное тело сотрясало рыданиями, что придавало сопротивлению видимость конвульсий.

— Мы ещё поквитаемся, пан Далч, ещё поквитаемся, — долетал из коридора его охрипший голос.

Вскоре всё стихло. Павел улыбнулся взволнованным машинисткам и велел водителю принести шубу.

— Весна уже в разгаре, — сказал он, выглядывая за окно. — Мне будет жарко.

Угрозы Карличка он не мог принимать всерьёз. Он знал людей настолько, что привык пренебрегать людьми, которые хватаются за такое оружие как угрозы. Впрочем, в данном случае можно было ожидать только нападения, а этого Павел не боялся. Он был достаточно сильным и ловким, чтобы постоять за себя с таким как Карличек, кроме того он не расставался с маленьким но надёжным револьвером. Наверное, он оставил бы и эту предосторожность, если бы не письмо матери. Она писала, что скучает в деревне, что опасается за своё здоровье. В приписке было известие о Яхимовских. Людвика пребывала в деревне и изливала матери жалобы на Павла. Из её слов мать заключила, что Яхимовский решил мстить Павлу, и что любой ценой хочет найти документ, который выдал Павлу по неосторожности.

Поскольку следовало считаться с возможностью, что такой глупец как Яхимовский в момент отчаяния может ухватиться за наиболее нелепые средства, что, наконец, прислуга могут впустить его в отсутствие Павла, он запирает свой кабинет, где прятал все бумаги за надёжными замками, ну и купил себе револьвер.

И вот вместо того, чтобы натолкнуться на Яхимовского, его ожидало другое, значительно более приятное столкновение. Вид разодетой и жеманящейся Ниты, которая ждала его в салоне, сильно удивил его.

До сего дня он лишь несколько раз видел эту девушку. Большую часть зимы она сидела в Крынице. У Яхимовских он бывал редко, а их дочь не относилась к типу домоседок. Он встречал её только в тех редких случаях, когда заглядывал к Галине. Нита, гораздо более младшая, дружила с ней к большому неудовольствию Людки, которая когда-то даже добивалась от Павла, чтобы он повлиял на Галину, с целью обезопасить Ниту от дурного примера, который подаёт ей дружба с разнузданной Галиной.

Тогда он сказал:

— Я не намерен вмешиваться в чужие дела. Впрочем, Нита так хороша, что никакая опека не мешает ей в приобретении возлюбленного.

Она и в самом деле была исключительно хороша. Она обладала тем задиристым типом красоты смелой, спортивной девушки с упругими мышцами и живыми, быстрыми движениями. Её ненакрашенные губы несмотря на всю их свежесть выглядели вызывающими, а каштановые с рыжим отливом волосы размашисто выбивались из-под зелёного берета. Она всегда производила впечатление только что искупавшейся в холодной воде, а её зелёный костюм вполне подходил, чтобы обнажать гибкие формы спины, ног, бюста и бёдер. На фоне старого, почтенного салона её фигура выглядела неожиданно, как рекламная афиша роскошной экскурсии, наклеенная на готический кафедральный собор.

Она сидела, забросив ногу за ногу, и просматривала какой-то журнал.

— Servus¹, дядюшка! — она свободно встала и протянула ему руки.

— Как поживаешь, Нита, — произнёс он, не скрывая удивления, — Чему обязан твоим притяным визитом?

— Могу ли я тебя поцеловать? — спросила она игриво и, не дожидаясь разрешения, приподнялась на носках и поцеловала его в губы.

— Я твой дядюшка, — пошутил он и положил руку ей на плечо.

— Сам ты этого не сделаешь, правда? Как хорошо быть такой высокой как я.

— Ты пришла для того, чтобы проверить преимущества твоего роста? — потешался он.

— Представь себе, что именно с этой целью.

Она смотрела на него почти иронично. Павел подумал, что она исключительно аппетитна, и что сразу выпроводит её за дверь.

— Я должна тебя соблазнить, дядюшка, — произнесла она свободно. — Как тебе нравится такая перспектива?

— Кажется, ты слишком много выпила за обедом, — заметил он.

¹ Servus (букв. — раб, слуга) — приветственное восклицание, принятое в некоторых странах, в частности в Венгрии, в значении «рад служить», «к вашим услугам». — Прим. ред.

— Я совсем не пью, — покачала она головой. — Я должна соблазнить тебя на трезвую голову. По крайней мере очаровать. Скажи, разве ты уже не чувствуешь первых пизнаков?

— Каких, к чёрту, признаков?

— Очарования. Видишь, дядюшка, ты сам виноват. Спровоцировал моё вторжение.

— Изволь оставить ребусы в покое, моя Нито, — сказал он серьёзно и с упрёком.

Она ударила перчатками по коленям:

— Ты знаешь, что это «моя Нито» прозвучало слишком сухо. Попробуй теплее. Например таким дрожащим от нетерпеливого вожделения голосом: «Моояаа Ниитоо»

Она разразилась смехом и с размаху села на канопе:

— Не бойся, дядюшка, я не помешалась. А в самом деле, это ты во всём виноват. Признайся: ты говорил когда-то моим родителям, что я чертовски хороша, или что-то в этом роде?

Павел пожал плечами:

— Возможно. Я не намерен отрицать твоей красоты.

— Так вот, они отправили меня, чтобы испытать её воздействие на тебе.

— На мне?

— Да.

— Кто тебя послал?

— Они. Мои почтенные родители.

— Ты глупости говоришь, — поморщился Павел.

— Тебе это кажется невозможным?

— Но с какой целью?

— Я должна вытянуть у тебя некий документ, обязательство моего отца или что-то похожее. Ты оказался глухим к его просьбам, к вздохам мамы, стало быть следует иметь надежду, что тебя тронет моя божественная красота, что ты соблазнишься на мои объятия, ну и что заплатишь мне этим документом.

Она говорила это совершенно бесстрастным голосом, но её глаза выражали такое безбрежное презрение, что даже спустя какое-то время он не мог всерьёз принять эту чудовищную жертву.

— Нито, — произнёс он, — ты разумная и порядочная девушка.

На её глаза навернулись слёзы.

— Но ещё недавно ты думал обо мне иначе. Быть не может, чтобы видя меня тут, ты не догадался, что речь идёт об обязательствах отца. Ну, что?.. Я предпочла ясно поставить вопрос. У тебя репутация человека, без промедления решающего дела.

— Да, — покачал головой Павел, — Я всегда считал твоего отца способным к сводничеству даже собственными детьми, но от Людвики этого не ожидал...

— О, очень верно. Она ни за что на свете не хотела бы такого позора. Всегда заботилась о моей нравственности. Я должна тебя только обмануть. Понимаешь, дядюшка?.. Впрочем, что о них... Они так долго

надоедали мне, что я решилась прийти к тебе и разом отделаться от постоянных приставаний.

Павел улыбнулся принуждённо:

— Не взваливай на меня ответственность за отвращение, с которым ты это сделала.

— Вот снова. Я люблю тебя, дядюшка, и даже должна признать, что ты мне нравишься...

— О!..

— Французы говорят, — она состроила ему глазки, — что кузены являются любовниками, данными природой.

— Я твой дядюшка, — произнёс он с несколько фривольной патриархальностью.

Нита улыбнулась, поправила волосы и внезапно вздохнула:

— Вы, старшие, все производите на меня впечатление своего рода баласта, который мы, младшие, постоянно, да ещё и с учтивостью, тащим на шее. Насколько жизнь была бы проще и легче, если бы мы сами управляли ею без куртуазных уступок в пользу ваших неискренних принципов и наивных предубеждений, не говоря уже о вашей своеобразной нравственности. Вы внушаете нам отвращение к миру. Если бы я поверила, что к старости человек должен обязательно превратиться в фальшивую свинью и наивного карманника, что на вашем языке означает «набраться опыта», я предпочла бы уже сегодня пальнуть себе в лоб.

— Дорогая моя, — равнодушно заметил Павел, — вера в то, что это не так, является одним из главных орудий Провидения в обеспечении продолжения рода. Стоит только утратить её, и ты уже старая свинья, которая чувствует себя в этой шкуре лучше всего.

— Но ты, дядя, не о себе ли говоришь? — спросила она с оттенком беспокойства.

— Почему?

— Прежде всего, ты ещё молод...

— Только поэтому? — он состроил разочарованную мину.

— А сверх того у меня о тебе вполне определённое мнение. Ты *par excellence*¹ современный и в своей силе характера, и в своей порядочности.

— Не твои ли родители убедили тебя в этом?

— Именно они. В каждом человеке, в котором они не могут обнаружить хоть капельку грязи, додумывается внутренняя выгребная яма. У них просто в голове не укладывается, что кто-то может добиваться успеха, не запачкав рук.

— Теперь понял. Я ангел, — он засмеялся.

— Нет. Ничуть. Видишь, дядя, — она с раздражением взмахнула перчатками, — и на тебе сказываются те несколько лет, на которые ты старше меня...

— Несколько десятков лет, — поправил он.

¹ *Par excellence* (фр.) — преимущественно. — Прим. пер.

— Тем хуже. Я не верю в ангелов. Вы знаете только два приговора: ангел либо подлец. Ангела ненавидят и избегают, а подлецу завидуют. Вот, например, ты. Деловой, цельный человек — и всё. И имеешь самое лучшее доказательство в том, что твой успех всех радует, всех за исключением, разумеется, любимой родни. Вчера я играла с молодым Колбахом в теннис. Его отец утверждает, что ты большой человек. У Косецких бывает весь министерский свет. Я не люблю этого общества, но в тот раз чувствовала себя там великолепно. Целый час говорили о тебе. Павел Далч это, Павел Далч то. Гениальный экономист, разум, порядочность, стена, бетон, железо и прочее в том же духе.

— И тебе это доставляло удовольствие? — искренне удивился он.

— Да.

— Но почему?

Она задумалась и молчала дольше минуты:

— Я люблю тебя, — сказала она рассудительным тоном, — испытываю к тебе уважение. Видишь, немного встречается людей, к которым можно испытывать уважение и любить их одновременно. Когда я разговариваю с тобой, или просто смотрю на тебя, я чувствую уверенность, доверие, что-то наподобие рекламы РКО¹.

— Осторожно, Нито, это звучит почти как признание.

Она замотала головой:

— Нет. Ты никогда не выбрал бы такую как я.

— Ты себя недооцениваешь. Ты очаровательна. И очень рассудительна.

— Осторожно, дядя, это звучит почти как поощрение!

Оба рассмеялись, и Павел сказал:

— Я хотел бы сделать тебе приятное. Будешь ли ты удовлетворена, если я уничтожу тот документ, подписанный твоим отцом?

Нита покраснела:

— Нет. Это было бы платой за мою... симпатию. Не хочу.

— И всё же, если бы, например, без причины я сжёг эту бумагу?..

— Это несколько другое.

— Итак будь уверена, что речь не идёт об оплате взаимностью. Я отплачу тебе взаимно тем же, то есть симпатией, а обязательство твоего отца не является для меня более ценным, чем возможность доставить небольшое удовольствие.

Он встал, прошёл в кабинет, открыл несгораемый сейф и достал из него два листка бумаги. На одном было написано заявление Яхимовского, на втором какие-то уже ненужные заметки. Он вернулся в салон и, стоя возле кресла Ниты, показал ей первый, говоря:

— Так выглядит то, что твоему отцу не даёт спокойно спать. Хочешь прочитать?

— Нет, — покачала она головой, — меня это никак не касается. Вероятно речь идёт о каком-нибудь свинстве, а у меня нет намерения...

¹ РКО — Всеобщая сберегательная касса. — Прим. пер.

— Ещё больше разочароваться в нравственности папы?.. Твоя правда.

Он приблизился к камину, легко отодвинул гобеленовый экран и зажёл спичку. Через минуту только чёрный бесформенный пепел остался от листка, содержавшего заметки. Второй, с заявлением Яхимовского, он незаметно, однако безошибочно сунул в боковой карман пиджака.

— Я не просила тебя об этом, — сказала Нита, и в её глазах Павел прочёл благодарность, — но это было так в твоём стиле.

— О, совершенно в моём, — с уверенностью подтвердил Павел.

— И это действительно доставило мне удовольствие. Не хотела бы использовать это слово, ибо звучит оно слишком патетично, но в этом всесожжении тоже было нечто патетическое. Ты... великодушен.

— Даже великодушен! — вторил он шутливым тоном.

— Вообще, дядя, ты безмерно мне нравишься.

— Может влюбишься в меня?

— Нет, — ответила она после секундной паузы, — ты для меня слишком большой, слишком чужой. Я не смогла бы дотянуться до твоих интересов. Я, видишь ли, более близка к этой простой жизни. А ты оперируешь в её наиболее сложных формах. Возле тебя я чувствую себя так, словно, сказала бы, одинокий моряк на гигантском корабле. Один не в состоянии управлять им, и даже изучить его.

Павел подумал, что у этой малышки очень интересный склад ума, что он не ожидал от неё таких оригинальных взглядов, и что стоит заняться ею поближе.

— Я создана для какой-нибудь скромной, маленькой лодочки, — говорила она, — и с ней, может быть, справилась бы даже в бурю. Так по крайней мере мне кажется сейчас.

— Во всяком случае, — подхватил он, — если бы ты на своей лодочке почувствовала угрозу, помни, что старый корабль всегда охотно поспешит по первому сигналу SOS!

Она встала и протянула ему руки:

— Как это хорошо, что мы любим друг друга. Правда, дядя?

— Правда, Нито.

Она не пользовалась никакой парфюмерией, и всё же после неё в салоне остался какой-то запах свежести. Павел сидел в бездействии и долго не закуривал папиросу. Когда в прихожей он просил её время от времени приходить к нему поболтать, в её ответе явно прозвучало удовлетворение, нет, это было не удовлетворение, но — искал он определение, — может быть тепло?.. И вдруг он почти физически почувствовал холод.

— Я чертовски одинок.

В комнате было уже почти темно. Он встал и нажал клавишу. Несколько ламп большой жирандоли наполнили салон холодным искрящимся светом.

— Поэтому я сильный, — он вытянул руки так, что затрещали суставы. — Именно одиночество даёт силы. Одиночество даёт силы. Сила

есть ощущение ответственности только перед самим собой и более ни перед кем.

Он включил радио. Из палисандрового ящика раздались глубокие звуки увертюры Лоенгрина. Он прошёл по кабинету и засел за работу. Спустя час или два отложил карандаш и протёр глаза. Такая деваушка как Нита — это нечто совершенно иное, чем, например, Марихна. Та невыносимо глупая, невыносимо жадная, никчемная. Попросту аппарат для успокоения физиологических потребностей гигиеническим способом. Нита, несомненно, менее красива, но разве тут вообще может играть роль красота?.. Речь идёт о чём-то другом.

Женщины никогда не интересовали его. Он считал их существами, а скорее предметами, существующими для утилитарных целей. Если бы он умел чему-нибудь, что встречал в жизни, действительно удивляться, прежде всего удивился бы тем мужчинам, которые подвергались различным мучениям из-за женщины.

— Вы являетесь врагом женщин, — сказала ему как-то любовница одного из случайных парижских знакомых, когда он, сидя в кафе, старался примирить поссорившуюся пару и излагал свои суждения:

— Врагом? Нисколько. Я очень ценю их. Они дают нам ласки тогда, когда мы этого горячо желаем. Тем же способом мы получаем мёд от пчёл и молоко от коров. Всё дело в том, чтобы ни одно из этих полезных созданий не навязывало нам своих продуктов, когда мы не имеем на то охоты.

Такой и была его позиция в жизни: он мало потреблял молока, ласк, мёда. В диапазон его понятий с трудом помещалось мучение из-за недостатка этих вещей. К людям влюблённым или голодным он всегда присматривался с некоторой долей пренебрежения. И в своём ощущении одиночества не усматривал никаких связей с сентиментами. Те всё же имели своим источником неудовлетворение физиологических потребностей, а физиологические потребности удовлетворяли в достаточной мере визиты Марихны.

Таков, например, Кшиштоф, делающий для себя трагедию, или по крайней мере проблему из романа. Когда он уезжал с Марихной в Швейцарию, Павел хотел сказать ему, что он напоминает пса, который, украв кость, бежит за километр, чтобы съесть её. Какая-то мания придания самым примитивным функциям значения события большой важности. Особенно у Кшиштофа это раздражало его непомерно. Столько холодного рассудка, и вдруг какое-то священнодействие. Павел прикрыл глаза: как мог бы выглядеть акт «слияния двух душ Кшиштофа и Марихны?.. Этот соплук на ложе восходит словно на жертвенный костёр, её ноги для него едва ли не колонны ворот рая. Очень широкие бёдра — Сцилла и Харибда, и мистерия прогрессирующей ритмики. Великое жертвоприношение! А Эдвард VII, юный князь Валии, когда первый раз испробовал свои силы, высказал такое суждение: ощущение действительно великолепное, но движения невыразимо смешные... Праведная Марихна. Умела ли ты приспособиться к возвышенности настроя?

Было что-то злобно приятное в припоминании этой диспропорции между пафосом Кшиштофа и обыкновенностью этой девушки, которую он, Павел, имел столько, сколько хотел, имел в силу мимолётного каприза, ба, каприза, исходящего собственно из желания обладать той же женщиной, что и Кшиштоф.

— Хотя бы одна сфера настоящего сближения, — улыбнулся он сам себе и вдруг оборвал фразу, так как сам себе напомнил, что именно это притягивало его к Марихне. Он всё же был достаточно одарён способностью самоанализа, чтобы пригвоздить эту нелепость, констатируя её в себе. Он находил нелепое удовольствие в осознании занятия места этого патетичного молокососа в объятиях этой глупой девушки. В самом воображении их акта был как бы трепет необыкновенной сатисфакции

Кшиштоф стройный и гибкий... Какое выражение имели тогда его глаза?.. Губы, наверное, сжаты и становятся бледными...

Павел встал и движением колена с яростью оттолкнул кресло:

— К чёрту, это какие-то гомосексуальные порывы или чёрт его знает что такое!

Его пугало не это предположение, но сам факт обнаружения в себе каких-то отклонений. Всё, чем он был, составляло несокрушимую непосредственность. Даже вопросы не успевали появиться, как на каждый из них в следующее мгновение появлялся ответ, такой же последовательный и исключительно правдивый, как всё, что составляло конструкцию его мозга. Психологические вопросы, трагедии самопознания и т.п., как же он этим гордился! Удел мистиков, манеж для идиотов и ищущих адские машины в коробке от спичек. Проказы жеребят, изображающих из себя химеры.

В столовой он открыл буфет и налил себе большую стопку коньяку. За первой пошла вторая, третья, десятая. Он чувствовал себя выбитым, во вском случае пошатнувшимся в своём идеальном равновесии. Разумеется, снова благодаря этому неумному сопляку, с которым, собственно, следовало бы беспощадно разделаться. «Надо, — повторял он себе при нескольких очередных стопках, — надо!.. Почему, собственно, не заняться Нитой? Девушка решительно более привлекательна, чем эта гусыня. И кроме того, что говорила, со всей уверенностью ничего не будет иметь против него. Она назвала его великодушным. И в самом деле, относительно её он должен быть великодушным. Всё равно. Какая разница может заключаться в том, сжёг ли он тот документ, или что-то, что в её представлении является этим документом? Абсолютно всё равно. Убеждённость является самой правдивой действительностью».

Он наклонил бутылку. В ней оставалось едва ли несколько капель. В голове ощущался лёгкий хаос.

«Что значит утратить навык!» — подумал он.

Действительно, с момента приезда в Варшаву он не пил вовсе. Несколько стопок на протяжении нескольких месяцев можно не принимать в расчёт в сравнении с прежним неустанным пьянством. От этого пьянства не потребовалось отучаться. В сто раз большее наслаждение

он находил в том, чем сейчас занимался. Там был только суррогат, скушный суррогат той страсти, в которой он давал выход своей энергии в настоящее время. В принципе он алкоголь ненавидел. Он начал искать забвения только тогда, когда поверил, что не получит места за большим игорным столом. Это было в Париже. Он хорошо помнил пьяную, затуманенную дымом роскошную пивную возле дворца Пигаль... Тогда он начал пить, а утром разбрасывал по залу розовые листки акций, которые двадцатью четырьмя часами ранее имели ценность банкнот, а сейчас были бесполезной запечатанной бумагой. «Compagnie Internftionale de Navigation» уже давно была банкротом, однако Павел умел в течение ряда месяцев не только скрывать это, но даже поднять цену акций до шестидесяти четырёх франков за штуку. Ещё три, четыре недели удачи, и он вышел бы с толстым барышом. Маленький недосмотр, пустяк, одно неосторожное слово, произнесённое в разговоре, и всё рухнуло. От дворца Пигаль до последнего кабака на Монмантре, вплоть до Сакре-Кёр¹ он опускался всё ниже, наливался алкоголем, пил сознательно, с упорством, с убеждением, что более ему ничего не остаётся.

Второй такой период пришёл после падения «Торгового дома Нокс», и длился значительно дольше, может и потому, что атмосфера Марселя, атмосфера пульсирующих больших прибылей без остатка лишили его желания начинать с чего-то малого. Он брезговал лавочничеством. Часто действительно попадались ему оказии, часто возникали у него мысли, но он не мог преодолеть в себе отвращение к предприятиям, которые гарантировали бы ему существование.

— Не знаю ничего глупее, — говорил он, — чем эти всеобщие хлопоты об обеспечении себе существования. Существование само по себе является чем-то совершенно безразличным. Речь идёт о его качестве.

Качество существования Павла после окончательного отказа от образцового ведения сельского хозяйства было всего лишь прозябанием.

Он припомнил долгие месяцы, проведённые в состоянии апатии в берлоге, в разваливающейся усадьбе. Как же притупились тогда его чувства, насколько стал он нечувствительным ко всему. Только отсутствие водки выводило его из равновесия, что часто заканчивалось приступами ярости. Как же далеко был он от этой, казалось бы, неправдоподобно далёкой эпохи... Он сам тогда верил в окончательность своего поражения, был убеждён, что не освободится ни от апатии, ни от алкоголя. Сегодня обе эти вещи были для него просто непонятны. Если он пил в тот вечер, то только из-за каприза, ну и в связи с Кшиштофом.

Впрочем, коньяк принёс ему пользу. Он уснул здоровым, крепким сном и проснулся утром со свежей головой, свободной от докучливых мыслей.

¹ Базилика Сакре-Кёр или просто Сакре-Кёр, буквально «базилика Святого Сердца» — католический храм в Париже, построенный в 1875—1914 гг., расположенный на вершине холма Монмартр, в самой высокой точке города. — Прим. ред.

Аккуратный и пунктуальный Холдер представил Павлу ясные и подробно собранные данные, касающиеся мирового каучукового рынка. В одиннадцатом часу явился Оттман. Он положил перед Павлом большой свёрток, обёрнутый газетной бумагой.

— Вот результат напрасной работы, — сказал он с недовольным выражением лица.

— Вы так думаете? — с полуусмешкой произнёс Павел.

— Не думаю. Убеждён.

— Сейчас посмотрим.

Он вскрыл упаковку. Перед ним лежал большой коричневый кубик.

— Выглядит великолепно, — он нажал на каучук пальцем, — и ска-
зочно эластичен.

— На три месяца, пан директор, — скривился Оттман.

— Чёрт с ним, на вид он ничем не отличается ни от того дорогого, ни от натурального.

— Ничем кроме стоимости.

Павел улыбнулся:

— Вы правы. Этот для нас представляет значительно большую ценность.

— Не понимаю, пан директор.

— Пока что это лишнее. Скажите мне, этот каучук в случае передачи его на анализы может обнаружить свою тайну.

— Нет, но зачем отдавать его на анализы?

— Далее, профессиональный химик, знакомый с каучуком, не раскроет, например, способ вашего производства?

— Очень сомневаюсь.

— Стало быть, порядок. Превосходно, — Павел потирал руки. — А теперь как выглядит план аппарата для производства того, лучшего каучука?

Оттман открыл принесённый с собой портфель и достал из него несколько схематических эскизов. Павел с трудом скрывал оживление, в которое привела его внезапная перемена настроения химика. Пока речь шла о трёхмесячном каучуке, он был недоброжелательным и нетерпимым. Сейчас даже обрёл румянец.

Из сметы следовало, что цена оборудования для производства достаточно значительного количества ни в коем случае не превысила бы на удивление низкой суммы в сто тысяч злотых, и, вероятно, её удалось бы значительно сократить.

Он детально расспросил Оттмана о подробностях конструкции и объяснил необходимость усложнения аппаратуры для того, чтобы специалисты при её осмотре не смогли сориентироваться в системе производства и в существе изобретения.

— Но такие усложнения удорожат производство, — пытался протестовать Оттман.

— Пан инженер, — прервал его Павел, — это уже моё дело. Извольте сейчас внимательно выслушать, о чём идёт речь. Мы поставим неболь-

шую фабрику. В одной части здания установим аппаратуру для производства этого лучшего каучука...

— Я назвал его «Оптима».

— Очень хорошо. Так вот, этот отдел будет строго изолирован и абсолютно никому не доступен за исключением нескольких доверенных мастеров. Он должен быть рассчитан на небольшое производство. Скажем, тысячи килограммов...

— В день? — удивился Оттман.

— Нет, дорогой изобретатель, тысячи килограммов всего. Поэтому аппаратура не должна быть дорогой, поскольку речь не идёт о её прочности. Хм... впрочем, на всякий случай рассчитайте на три тысячи килограммов. Надо принять во внимание возможные непредвиденные обстоятельства. В другой части здания будем производить каучук менее прочный...

— Совсем не прочный, — не в силах сдержать раздражения, поправил Оттман.

Павел встал и наклонился к нему:

— Пан Оттман. Мне более нечего вам сообщить кроме одного заявления: я отказываюсь от финансирования вашего изобретения.

— Однако, пан директор!..

— С человеком, не имеющим понятия о делах, можно работать только в том случае, если тот отдаёт себе отчёт в собственном невежестве в этом направлении и способен решиться на полное доверие компаньону.

— Но у меня есть полное доверие...

— Нет, — хмуря брови отвечал Павел, — я в сотый раз вам повторяю, что менее прочный каучук значительно важнее и без сравнения стоимости. Извольте раз и навсегда забыть о своей антипатии к нему. Это не ваше дело. Понимаете? Либо вы соглашаетесь с этим, либо вы ищите кого-нибудь другого. Я хотел вам помочь в реализации вашего изобретения, и могу сделать вас богатым человеком. Однако я не заинтересован в этом до такой степени, чтобы выносить ваши постоянные гримасы. Искренне говорю, что сомневаюсь, найдётся ли кто-нибудь, по крайней мере в Польше, кто бы имел достаточно времени, охоты и денег для занятия вашим каучуком. Вы сами это хорошо понимаете. Однако вам открыта дорога за границу. Не хочу вас ничем стеснять, и поэтому, если у вас есть намерение искать там счастья, готов немедленно освободить вас от заводских обязанностей. Это всё.

Оттман покраснел и когда начал говорить, в его голосе звучало чувство собственной вины и раскаяния. Разумеется, он имеет полное доверие к пану директору, и разумеется, признаёт, что в делах он не разбирается. Обещает также строго относиться к любым распоряжениям.

Спустя полчаса в кабинете Павла появился руководитель одной из конструкторских фирм, через час после него — агент компании, торгующей участками в заводском районе. Оба вышли с самыми подробными инструкциями.

Павел посмотрел на часы. Каждый из последующих дней казалось насчитывал меньше часов. В четыре было заседание металлургической промышленности, в пять — конференция с делегатом голландской транспортной компании, в шесть собрание союза заводов, в семь он должен был присутствовать на фэйфе¹ в румынском посольстве и встретиться с директором румынских железных дорог, позже перед окончанием заседания пленума Сейма должен успеть на Вейчскую, чтобы увидеться с послом Крентцем, чиновником таможи. Вечером должен был произнести речь о перспективах польской металлургической промышленности на банкете Союза Техников.

При всём этом следовало найти время на изучение материалов, касающихся каучукового рынка, и это время нужно было найти сегодня, ибо каждое утро ни чем в своей «вместительности» не отличалось от текущего дня, а ускорение этого дела нынче было самым важным пунктом его забот.

На изучение материалов он урывал каждую свободную минуту: в авто, в лифте, во время неинтересующих его выступлений, во время докладов, представляемых подчинёнными. Сейчас он во всей полноте использовал свою способность одновременно читать об одном, слушать о другом и обдумывать третье. Спал не более чем шесть часов в сутки, и всё же совсем не чувствовал усталости. Напротив. Работа затягивала его всё больше. Сам себя он сравнивал с человеком, который начал идти, идёт всё дальше, всё лучше, наслаждается своей дорогой, вовлекает её в себя и с каждым разом чувствует не утомление, а новый прилив сил. Всё реже виделся он сейчас с Маришной. Сколько её дословно получасовых визитов состоялось ценой сна Павла. Девушка была печальна и встревожена. Павел подозревал, что она тосковала о Кшиштофе и не верил в искренность её опровержений. В то же время дважды навестила его Нита, однако он был так занят, что разговаривал с ней, одновременно отвечая по телефону, либо делая заметки или подсчёты. Однажды она сказала, что если уж суждено преодолеть своё анти-семейное предубеждение, то интересуется её скорее дядюшка Кшиштоф. Это удивило Павла:

— Ты хорошо его знаешь? — спросил он.

— Откуда. Видела его не более трёх раз и не обменялись более чем десятком слов.

— И что ты о нём думаешь?

Нита пожала плечами:

— На основе тех данных, которыми располагаю, я думаю, что он интересный. У него странный образ жизни и трагические глаза. У меня сложилось впечатление, что он влюблён без взаимности.

— Уверяю тебя, что с полной взаимностью. Я знаю одну блондинку, которая может присягнуть в этом.

— Ах, знаю, — кивнула головой Нита. — Это его секретарша, зовётся Яршувна, или что-то в этом роде. Недооцениваешь, дядя, увлечённость

¹ Файф — «faif o'clock», вечернее чаепитие.

сплетнями моего отца. Они вдвоём выезжали за границу, на обратной дороге дядя Кшиштоф похоже остался в Вене. А что ты о нём скажешь?

Павел отложил карандаш и вытянул губы:

— Он ещё сопляк, но признаюсь тебе, хотя с точки зрения конкуренции я не должен этого делать, — засмеялся он шутливо, — что он интересный. Удивляюсь, что у прекрасной половины в общем не пользуется успехом. На заводе его не любят...

— А ты, дядя?

Павел рассматривал алебастр на софите и сделал несколько раздражённых движений пальцами:

— Чёрт его знает. Он кажется мне человеком рассудительным и экзальтированным романтиком. Впрочем, он меня ненавидит.

— Семейные традиции?

— Нет. Скорее личная антипатия.

— Хотела бы узнать его ближе, — сказала, прощаясь, Нита. — Временами меня разбирает охота расшевелить этого молодого человека.

— Думается мне, что намерение это запоздавшее, — усмехнулся Павел. — Я предполагаю, что из-за границы Кшиштоф вернётся вполне расшевелённым.

— Что же могло повлиять на его расшевеление?

— Потеря невинности, дорогая моя Нита, бывает переломным моментом в жизни, — Он наклонился над ней и шепнул почти в самое ухо. — Разве твои личные наблюдения не подтверждают этого?

Она рассмеялась, легко коснулась губами его щеки, ничего не ответила и сбежала по ступенькам.

Павел ошибся. Кшиштоф вернулся не только не расшевелённым, но едва ли не ещё более печальным и молчаливым.

О его приезде он узнал уже из вечернего звонка Марихны. Она сообщила об этом Павлу голосом словно бы испуганным, говорила, что он похудел и что очень расстроен. Телеграмму она получила так поздно, что едва успела к поезду.

На следующий день Павел был приятно удивлён тем, что Кшиштоф посчитал уместным явиться в его кабинет и лично сообщить о своём возвращении. Первая реакция Павла была вполне обоснована его видом:

— Отдых, кажется, хуже повлиял на тебя, чем работа.

— Меня немного утомила дорога, — холодно ответил Кшиштоф.

— Состояние дел на предприятии не требует твоего немедленно-го возвращения к занятиям, дорогой Кшиштоф, — произнёс он может быть слишком мягко, и добавил, — Мог бы ещё несколько дней побездельничать.

Кшиштоф побледнел и ответил прерывающимся голосом:

— Это должно означать, что я не являюсь слишком необходимым, либо также, что попросту мешаю на предприятии?

— Однако, Кшиштоф, — почти с возмущением произнёс Павел. — Я вовсе этого не говорил. Таким образом самые добрые замечания можно истолковать как проявление злобности. Видимо либо я не умею до-

статочно убедительно выражать мою к тебе симпатию, либо ты меня так ненавидишь, что все выражения симпатии с моей стороны наполняют тебя негодованием.

Павел сам был в высшей степени возмущён, однако он не мог не заметить, что Кшиштоф овладел собой на остатках силы воли, коль скоро губы его дрожали и были бледны как полотно.

Он неожиданно сорвался с места и быстро вышел. Павел большими шагами ходил по комнате. Он был в ярости на себя. Сколько раз обещал себе окончательно, раз и навсегда изменить своё отношение к этому сопляку, и ещё раз удостоверился, что испытывает к нему какую-то идиотскую слабость. Сейчас это выглядело смешнее, чем раньше, тем смешнее, что благодаря Феликсу он держал Кшиштофа в руках и в любую минуту мог попросу усадить его в тюрьму, во всяком случае избавиться от него на предприятии, раз и навсегда освободить себя от его оскорбительных дерзостей. Уже завтра он решит этот вопрос. Вот тогда и выяснится, на какой ноте запоёт этот гордый молокосос... Сейчас уже поздно взывать к милости!

Несмотря на принятое решение, Павел не мог успокоиться. Настолько хотелось ему разбить Кшиштофа в пух и прах. Он просто жаждал услышать его крик боли и мольбу о сострадании.. Он решился: это может было бы даже лучше, чем оружие шантажа. Однако он почувствовал буквально невозможность применения физической силы для мести этому стройному и раздражающе деликатному сопляку. Одним не слишком сильным ударом кулака он убил бы его на месте. Нет, не то, но, например, выкрутить ему руки и прижать к себе так, чтобы он лишился дыхания... обессилить его полностью, чтобы даже дёрнуться не мог, вот это было бы настоящее наслаждение...

В этот день Павел не выезжал с завода. Он даже обедал в своём кабинете. Среди вороха дел его постоянно тревожила мысль о том, что надо ещё сегодня пойти к Кшиштофу и расправиться с ним тем или иным способом. Он постоянно находился в том повышенном раздражении, которое не мог себе объяснить. Не только девизом его жизни, не только глубоким убеждением, но самой натурой Павла был холодный контроль за своими поступками, мыслями, ба, даже настроениями... И тут он узнаёт, что Кшиштоф работает в своём кабинете, отстоящем всего в нескольких десятках шагов. Наверное что-то диктует, а может попросту зацеловывает Марихну.

Заводской гудок давно отзвучал, и все служащие — даже секретарь Холдер, — уже ушли. В коридоре остался только старый Йозеф, беседующий со швейцаром. В полной тишине Павел отчётливо слышал их голоса. Они спорили на тему преимуществ городской жизни. Около восьми часов в коридоре раздались лёгкие шаги Кшиштофа. Он узнал их, затем услышал его голос, и почувствовал как бы беспокойство.

— Что, генеральный директор один?

— Да, пожалуйстра, пан директор, — отвечали швейцар и Йозеф одновременно.

Кшиштоф постучал и, услышав «прошу», вошёл. Он приблизился к бюро. В зелёном отблеске лампы он показался Павлу ещё более худым и раздражённым. Его глаза приобрели какое-то странное выражение. Павел с кажущимся спокойствием отложил перо. Подумал, что вот Кшиштоф почувствовал угрызения совести и пришёл извиниться. Он ещё не знал, какотреагирует на это, но само появление этого парня наполнило его чем-то, чего ни за какую цену он не захотел бы назвать волнением.

— Чем могу тебе служить? — спросил он бесцветным голосом.

— Павел... хотел бы... — Кшиштоф опёрся о стол и болезненным спазмом сдвинул брови.

— Сядь, Кшись. Я в твоём распоряжении.

Кшиштоф вытирал пот, однако тут же сжал губы и прикусил их. Видимо он хотел что-то сказать, на что ему было трудно решиться.

— нет... я ничего... хотел бы только спросить, могу ли я на полчаса взять твой автомобиль?..

Павел ответил тихо:

— Да, Кшись, пожалуйста... однако мне кажется, ты хотел мне ещё что-то сказать?

— Нет, нет, Павел, нет. Павел... Благодарю тебя.

Он протянул ему руку, которая так дрожала, что Павел попытался её придержать в своей руке. Однако Кшиштоф вырвал её и очень быстро вышел из комнаты.

Спустя пять минут под окнами раздалось урчание мотора, Кшиштоф уехал. Поехал отвезти Марихну... Павел оперся головой на руки и задумался. Он тщетно пытался вернуться к работе. Читал, однако перед ним была только череда букв, не связывающихся в слова и предложения. Нет. Он был совершенно выбит из равновесия. Он принялся ходить по комнате, а точнее метаться по ней во множестве незакономерных направлений. Остановился перед чёрным стеклом окна и снова вернулся к бюро. Нехотя, почти с отвращением складывал бумаги и вопреки обыкновению засовывал их в ящики бюро, не соблюдая никакого порядка. Неоднократно проверил, запер ли всё на ключ. Наконец нажал на звонок и приказал подать ему пальто.

— Пан директор не будет ждать возвращения авто? — спросил удивлённый швейцар.

— Нет. Тут душно. Я устал.

— Может пан директор прикажет вызвать такси?

— Нет, Йозеф. Я пойду пешком. Прогулка мне поможет.

Его овеивал тёплый весенний ветер. Небо было усеяно звёздами. Над городом розовела луна. Он распахнул пальто и полными лёгкими вдохнул воздух. Улица была пуста. Он миновал железнодорожный переезд, прошёл вдоль шеренги низких домиков. Дальше был маленький, почти деревенский костёльчик среди деревьев, ветви которых едва покрылись зелёными почками. Два молодых человека стояли вдоль ограды и разговаривали вполголоса. Издалека долетали монотонные отзвуки города, ближе была слышна работа машин: на «Лилпона» а также у

«Герлаха» работала ночная смена. Эти звуки в сознании Павла в конце концов сплетались с чем-то позитивным: в дирекциях этих предприятий царит хаос. Несколько месяцев в году они могут бездельничать, а потом платят за ночную работу. И у Далчей когда-то так было. Сейчас всё идёт словно по часам. Всё идеально распланировано... В этом, безусловно, тоже есть большая заслуга Кшиштофа...

Он не мог отбросить мысли о нём. Тщетно пытался сконцентрировать внимание на какой-нибудь проблеме. Вновь и вновь представлялось, что это связано с тем, а то с этим, а это уже непосредственно касалось Кшиштофа, который сегодня вёл себя так странно, которого следует безжалостно убрать, уничтожить, но которого невозможно выбросить из своего сознания...

Тут начиналась Дворская улица. Собственно, это была не улица, но бесконечно длинный коридор между двумя высокими оградами из почерневших досок. На протяжении от Сперневицкой до Бема в оградах было лишь несколько калиток и редко открываемых ворот. С правой стороны размещались предприятия Газового завода, слева тянулась незастроенная территории бездействующего в течение нескольких месяцев кожевенного завода. Посредине шла земляная незамощённая проезжая часть, местами хрустящая шлаком, местами липкая от грязи, которая тут никогда не высыхала. Это не удивительно. Забобры были так высоки, что только в случае длительного зноя солнце имело достаточно времени, чтобы высушить дно этого коридора. Тогда под колёсами грузовых автомобилей грязь превращалась в мелкую, чёрную пыль. Однако сейчас следовало идти осторожно и не раз лавировать между лужами, на отрезках же более грязных пользоваться разбросанными тут и там камнями, перескакивая с одного на другой.

Ограды были однотипные, вытянутые в ровную линию. Однако в тех местах, где находились калитки, на протяжении нескольких метров они углублялись в довольно глубокие ниши. Всякий раз когда по какой-либо причине улица Бема была закрыта, шофер возил Павла здесь. Павел помнил, что немногочисленные прохожие пробегали стремглав, чтобы достичь одной из таких ниш, спасаясь от брызг грязи из под колёс автомобиля.

Возможно если бы его голова была менее занята другими делами, он не доверял бы излишне пустой тёмной улице, и особенно этим нишам. Тогда он переложил бы револьвер из заднего кармана в боковой, а может держал бы его в руке.

Происшествие развивалось так стремительно, что на любое размышление не оставалось времени, так же как и на оборону.

Посредине разлилась большая лужа, сбоку же, прямо возле ниши, были разложены камни.

Большая чёрная тень вдруг отделилась от ограды.

В воздухе просвистел замах какого-то большого предмета. Одна рука Павла молниеносным движением заслонила голову, другая потянулась за револьвером.

Одновременно страшный удар обрушился на руку и едва не раздробил её на части.

Павел закачался на ногах, но второй удар свалил его на землю.

Он совершенно не чувствовал боли. А также не потерял сознания. Ему казалось, что он находится на какой-то огромной качели, движущейся с чудовищной быстротой.

Невозможно было поймать дыхание, невозможно было остановиться ни на секунду, ни на долю секунды. Все внутренности свернулись в клубок, подступающий к горлу невероятной судорогой.

По лицу и по шее обильно стекала густая тёплая жидкость.

Это был конец.

Со спокойствием ум его констатировал умирание, со спокойствием тем большим, что он не владел ни одной мышцей, чтобы мог хотя бы вздрогнуть, чтобы вздрагиванием этим дать себе по крайней мере иллюзию надежды.

Он умирал, и если чего-то желал сейчас, так это возможности выбросить из себя отвратительный балласт собственных кишок... Как же уродливы, как же ужасны были эти маятниковые движения и эта липкая субстанция, стекающая на глаза... Серая мозговая масса...

Время перестало существовать. Сейчас он не мог его измерить даже биением сердца, ведь сердце молчало. Всё молчало. Видимо смерть является молчанием...

Он знал, где находится, знал, что лежит на мокрой грязной земле, знал, что сейчас ночь и что над ним звёздное небо. Однако это было только клише памяти, коль скоро ни взглядом, ни касанием, ни слухом он не мог этого проверить. Он был как бы выделен из совокупности мира.

Он не знал, как долго это продолжалось, но вот показалось ему, что его слух поймал какие-то отдалённые звуки. Возможно, что это был лязг трамвайных рельс, а может только иллюзия... Но нет. Скорее всего это был лай собаки... Да... А это урчание автомобиля. Всё ближе ворчание автомобиля... и вдруг сигнал, резкий, пронзительный сигнал. Автомобиль должен был где-то поблизости остановиться... Хлюпанье ног по грязи... Люди... И вдруг изумлённый шёпот:

— Иезус! Это пан директор!

Минута тишины и дикий, испуганный, нечленораздельный крик женщины...

Он знал голос, точно знал, и если бы не эта отвратительная качель, не это убийственное маятниковое движение, он точно узнал бы... Кто же это кричит над ним так отчаянно:

— Павел!.. Павел!.. Ты жив... Павел... любимый.

И мужской голос:

— Он жив, поскольку кровь не застывает, пока течёт, до тех пор знай, что жив.

Да, это шофёр, его собственный шофёр, но кто эта женщина... Маятник повернул новый ошеломляющий виток, он упал в какой-то невероятный вихрь. Голоса перепутались, а затем снова раздалось урчание

автомобиля. Уезжает. Убедились, что я труп и оставляют его тут. Он ни чем не может дать им знак, что слышит их, что думает, что живёт... А может, собственно, это и есть смерть?.. Мотор автомобиля урчит, но не удаляется... Постоянно урчит очень близко. Теперь он понял: его везут, однако почему он не чувствует боли, ни движения автомобиля, ни касания подушек?.. Словно подвешен в вакууме.

Урачние прекратилось, и снова прозвучали голоса:

— Осторожно, за углы плаща...

— Поддержите голову!

— Не дышит...

И снова этот голос женщины, голос дрожащий от ужаса:

— Тише, доктор, тише! Он должен ужасно страдать.

И низкий баритон:

— Об этом пан директор может не беспокоиться. Наверное он не чувствует боли, поскольку полностью без сознания. Если вообще жив...

— Жив, наверняка жив, — прозвучал голос женщины.

Топот множества ног, лязг открываемых дверей и распоряжения, отдаваемые низким баритональным голосом:

— Положите сюда. Осторожно. Убрать эти подушки. Тёплая вода и полотенца. Позвоните доктору Луковскому. Найдёте в телефонной книге. Скажите: трещина черепа, немедленная операция. Пан Качковский, камфора, два укола...

Снова топот ног и какой-то другой голос:

— От пульса ни следа. Зеркало к губам.

— Есть. Что есть? Лёгкий след на стекле. Дышет...

Невыносимая качель начинала замедлять свой бешеный темп, но одновременно неопиcуемая боль пронзила спину вдоль позвоночного столба.

Это длилось секунду, однако через определённое время снова отозвалось с ещё большей силой. Спустилось к горлу и уткнулось в череп.

Павел осознал, что это, вероятно, делают операцию... Треснувший череп... Боль возвращалась бешеными приступами, однако по мере того, как они повторялись, с каждым разом казались более тупыми, так что перешли в шум, грохочущий шум, среди которого до его ушей едва доходили голоса снаружи.

Теперь он уже знал, что его переносят, что двигают его руками, что обмывают ему раны. Он давал себе отчёт в том, что не чувствует касаний. Потом вокруг снова было много движения, пока всё не утихло.

Осталось только быстрое, лихорадочное тикание часов, но и оно растаяло в тишине.

Должно быть, он провалился в сон или в бред, если тишина начала звенеть, а в ней какой-то очень знакомый голос шёпотом повторял:

— Будешь жить, Павел. Будешь жить... — и снова повторял: — Будешь жить...

Конец первого тома.